



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

11-12 (519)

2025

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Дмитрий Брисенко. В начале в конце ноября. <i>Стихи</i>	3
Каринэ Арутюнова. «Скажи мне так, чтобы я тебя увидел».....	16
Михаил Вистгоф. «Вот оконные соты. Пузырьки желтизны...» и др. <i>стихи</i>	28
Сергей Дигол. Будь по-моему. <i>Повесть</i>	32
Люба Макаревская. Мертвые не пишут стихов. <i>Стихи</i>	63
Михаил Москалёв. Гаджо. <i>Рассказ</i>	67
Егор Мирный. Третичные и четвертичные тексты. <i>Стихи</i>	88
Никита Ларионов. Модератор. <i>Повесть</i>	94
Наталия Черных. Лето любви. <i>Стихотворения 2025</i>	119
Никита Удачин. На север. <i>Рассказ</i>	127
Ирина Гумыркина. Состояние маятника. <i>Стихи</i>	138
Иван Гобзев. Окно. <i>Рассказ</i>	142

NON-FICTION

Герман Лукомников. Анекдот и два воспоминания, последнее из которых пока не окончено.....	146
--	-----

ПЕРЕВОД

Октавио Пас. Стихи из сборника «Восточный склон» (1969). <i>Перевод, вступление, комментарии Кирилла Корчагина</i>	152
--	-----

В СВОЕМ ФОРМАТЕ

Николай Болдырев. Между адом и раем.....	165
Юрий Китаев. О монументальном искусстве.....	180

ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА

Александр Марков, Оксана Штайн. Полимерный век: химический синтез 1980–1990-х.....	184
Сергей Морейно. Куда идем мы с пятачком.....	190

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Александр Степанов. Событие в литературоведении: на выход книги П. Казарновского о поэзии Леонида Аронсона <i>О кн.: Петр Казарновский. «Изображение рая»: Поэтика созерцания Леонида Аронсона</i>	196
Ирина Муравьева. «Нельзя не жить...» <i>О кн.: Владимир Гандельсман. От фонаря</i>	202
Александр Марков. Анатомия идет лесом, или о растущих стихах и картинках <i>О кн.: Пётр Кочетков, Ника Третьяк, Кирилл Шубин. Лес растёт</i>	204
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРОВ ЗА 2025 ГОД	208

Дмитрий БРИСЕНКО

В начале в конце ноября

Зачем те следы за окном,
Зачем накренившийся дом
И этот за окнами снег,
И красный фонарь снегиря.

Стоит у окна человек
В начале, в конце ноября.

И мелочь в кармане пальто,
И люди в вагоне метро,
И росчерк неона в ночи,
И бурые те кирпичи,
И голые тополя,
И в листьях уснувшая тля.

Стоит у окна человек,
Сквозь мутный кристалл ноября,
Как будто всё было не зря,
А может, и правда, не зря.

Новости для мамы

«Люба сообщила: в ноябре и марте чабрец пахнет грибами,
Лёха рассказал, что его родители клали шпалы на БАМе,
Женя потерял мизинец, поднося дары пилораме»,
Я сижу на кухне и рассказываю новости маме.

«Аллигатор в цирке марширует под тему из “Звёздных войн”,
Миллионы зрителей подтвердят это лайками в Инстаграме,
Чтобы уравнивать людей, как когда-то Кольт, Бог придумал биткойн»,
Я сижу на кухне и рассказываю новости маме.

«Чёрный вихрь воздушный деревни взмывает вверх,
На мосту бараны снова дерутся лбами,
За плечом то ли сизый нос, то ли красный смех»,
Я сижу на кухне и рассказываю новости маме.

Дмитрий Брисенко родился в Великих Луках. Жил на Урале и в Подмоскowie. Публиковался в журналах «Волга», «Урал», «Новый мир», «Русская жизнь» и др. Автор книг стихов «Из всех орудий» (2019) и «Небесная Электросталь» (2023). Живет в Москве.

Пересказывать новости всё-таки как-то тупо,
Особенно если учесть, что мамы на кухне нет.
Только тонкий старый запах давно остывших котлет,
Только голос в ухе: жалко Женьку,
Съешь хоть немного супа.

Тётя-мотя

К нему подходит тётя-мотя,
Он говорит ей, здравствуй-здравствуй,
Бери меня и властвуй, властвуй,
И в ласты старые мои
Налей немного суперклея,
И жди момент, пока сомлею,
Пока надёжно захмелею.
Затем звезда наметит путь,
И лунный луч упрётся в грудь.

«Пошли. Здесь есть одно местечко.
Вот конь мой. Вот к нему уздечка.
Смотри – вон смотрит под луной
На нас безглазая овечка».

Хотя постой,
Я что-то расхрабрился.
Хочу домой.

«Уж поздно. Мысль мертва.
Цепляет ноги мёртвая трава.
И путешествует среди извилин
Готовый убивать пустынный филин».

Да, что-то не срослось. Хрипит тревожно в чаще лось. Но, может,
надо нам почаще? Привычка свыше нам дана и всё такое. Тебя увидя вдругорядь,
лицо рукой уж не прикрою.

«Согласна. Завтра здесь же, в тот же час».
О, Боже святой, сохрани, помилуй нас.

Так говорили оба в темноте.
Шумел камыш, шептал Иртыш,
Седой ковыль к земле клонился,
И лаз в земле кому-то снился,
И шли поодаль те или не те.

Пробуждение

Когда я слышу Bitter sweet symphony,
Её самые первые звуки,
То это как будто труба,
Которая пробуждает меня
Из мёртвых.

Как будто это новая жизнь,
Новая прекрасная жизнь,
И я в неё пробуждаюсь
После долгих лет
Тяжёлого мёртвого сна.

И всё было не напрасно,
И 90-е не до конца оттремели,
И надежда не до конца умерла,
И всё, что происходит сейчас,
Как будто бы снова сон,

Тяжёлый кошмарный сон,
Который снова прервётся
Ранним солнечным утром
Под звуки Bitter sweet symphony,
Прекрасной, но всё-таки не самой
Выдающейся группы The Verve.

Но нет, но нет,
Кажется, это обычный сон,
В котором мне снится,
Как что-то мерцает неоном,
Просто мерцает в памяти,
То, что когда-то было,

А сейчас просто длится
И будет сегодня и дальше,
Будет вечно стоять,
Как догорающий день,
Как злые сумерки
Бесконечного дня.

И как будто звуки
Уже другой песни,
Тоже как из трубы,
Постепенно нарастают,
Снова будят меня.

Как в диджейском миксе,
Трек плавно сменяет трек,
И вот уже слышится:

На семи продувных сквозняках,
По болотам, по пустыням, степям,
По сугробам, по грязи, по земле...

И я вижу – да, оно наступает,
Утро нового дня, нового мира,
В котором новая прекрасная жизнь,
Такая долгая прекрасная жизнь,
Такая долгая счастливая жизнь,

Каждому из нас.
Каждому из нас.

Каждому из нас.

Каждому из нас.

Звёзды сияли в вечернем насте,
Сверкали иглами в сердце Насти.
Кто-то эон разобрал на части,
Потом собрал, и остались детали.

Пустые заводы без стали,
Сухая земля без воды,
Чувства без адресата,
Всадник без головы.

В лугах взошла стекловата,
Судьба без вины виновата,
Сапожник бухой без вина.

Ты спросишь: что происходит,
Зачем меня мать родила?
Зачем нас мажет по миру
И прёт, закусив удила,

Та сила, что хочет мира,
Но вечно желает зла?

Мой друг, все эти напасти
И беды, и колкий рай,

И дом, и далёкий край
Живут в голове у Насти.

И все эти грязные штучки,
Все эти Nasty things,
Как железный дождь
Из свинцовой тучки,
Как стеклянный взгляд
Lord of the rings.

И Настя сидит, поджав ноги,
Смотрит в плёнку окна,
Зимние боги стоят на пороге,
В небе плывёт луна.

Стол придавила тяжёлая чарка,
Выпьём её до дна.

На золотом крыльце
В пушку рыльце.

А зори здесь тихие,
Поднадзорные,

Удары ловкие,
Под опорную.

Эники-беники,
Неврастеники.

Кто шагает дружно в ногу,
Это мы шагаем к Богу!

Камень, бритва, цуефа,
Зона, тьма, Тотьма, Уфа.

На золотом крыльце
Позолота с крыльев,

Тишина и след от тени,
Стёртые ступени.

Вниз по ним шагает в ад
Пионерский наш отряд.

Говорит молодому старый:
Я ведь был всегда хорошим,
А теперь подо мною нары,
А теперь я Богом заброшен
За последнюю мутную речку.
Я трава для тучной отары,
Я гнездо для транспортной тары,
Я сверчок, угодивший в печку.

Говорит молодой в ответ:
Загляни в хранилище бед,
Отыщи свою среди всех,
Знай, уныние – смертный грех.
Не убойся ржання коней,
Посмотри на цифры на ней,
Ведь срок годности у несчастья
Истекает, как кровь с запястья.

Так сидели лицом к реке,
И один утешал другого.
И тепло от руки к руке
Как забор из прута стального.
И плеск волн то дальше, то ближе
От весла на мутной реке.
И сознание то гуще, то жиже
В старом доме на чердаке.

Когда меня последний гунн
В бараний рог согнёт,
Движение небесных лун
И чёт или нечёт,
А с ними дядька Черномор,
Затем вопрос такой:
Укладывал ли на пробор
Мозолистой рукой
Волос немьтую копну
Товарищ Гостомysl?
Ну, если глубоко копнуть...
Тогда и всякий смысл
Вопросы, тезисы и проч.
Утратят, как к заре задор
Утрачивает ночь.
Вперёд прямого нет пути,
Но с трёх до девяти

Откроет чрево тайный лаз
В доступности магаз.
Напитки с полок собираю
Бестрепетной рукой.
Необратимость обрету,
Надмирность и покой.

Саморазвивайся!
Подсказали Васе.

Самораз-
Самодва-
Самотри-

Смотри!

И вот уже совсем другой Василий
Идёт по улице. Без видимых усилий
Вот он уже по воздуху летит,
И тень, как полупризрачный петит,
Скользит за ним по зебре и кустам,
По крышам, голубятням и мостам.

Чувство, как будто дали
Поддержать что-то, от чего шёл свет,
А потом забрали,
Сказав, что его больше нет.

На промозглом январском ветру
Слеза из глаза, след на щеке.
Завтра, ближе к утру
Из дома выйти к реке.

На льду утиное стадо,
Из снега торчит трава
Сухая. Как так и надо,
Стеклянная голова

Решает секретный ребус,
Глядит на застывший пазл.
Скрипя, уходит автобус,
Доброе утро, шлимазл!

Куда же ушёл этот свет,
Ладонь ещё помнит его.
И кажется, есть ответ.
И кажется, нет его.

Возвращение

Дьявол скользит на коньках по замёрзшему аду,
Пейзаж морозный являет глазу усладу,
И жёлтый глаз, будто застывший мёд,
В ночи сверкает, и лезвие режет лёд.

В театр ходить – это дело совсем уж лишнее,
Зачем мне театр, когда все актёры тут,
Под слоем льда стоят, как цветущие вишни,
Думает дьявол, и мысли его ведут

В далёкие области, в карстовые пещеры,
Где детство звонкой монетой падало в водосток,
На крышах плоских «Астру» вдыхали химеры,
И жизнь текла преимущественно между строк.

Дьявол давно здесь, круги нарезает годами,
И кроме него на этом катке никого.
И кто его знает, чьими тут всё трудами
Устроено. Всё это хрупко-снежное рококо.

Но вдруг полынья, и дьявол уходит под воду,
Мечутся тени, то Кракен и Левиафан
Как будто? Но нет, это чей-то чёрный кафтан,
Внизу купола, шпили башен и тьма народу.

И дьявол решает было, что дело табак,
Но чьи-то сильные руки хватают
И втаскивают его в кабак.

Внутри огни, жара и плотный упругий пар,
И стойка бара ломится от коктейлей,
Повсюду царствует чад кутежа и угар,
И ночь расцвечивают огни отелей.

Дьявол радостно потирает руки,
Давай-ка, бармен, плесни мне зелья от скуки,
Я снова дома, какое счастье, какие лица!
Как хорошо, что здесь никому не спится!
Я снова дома. Налейте рома! Я снова дома!

Мысль пульсирует в глубине,
Как пульсирует гнойничок
В ожидании прорыва,
Как вальсирует старичок
В предвкушении телеэфира.
Мы живём в отражении вечного взрыва,
Нас ласкают движения сумрачных масс,
Мы дрожим в глубине,
Мы танцуем на дне:

Три-два-раз,
Три-два-раз,
Три-два-раз.

Просыпаясь в потёмках, оплачивая проезд,
Задерживая дыхание, заходя в подъезд,
Опаздывая на работу, подтирая чужую рвоту,
Приём отсчитывая по часам, рыдая по волосам,
Потерявши голову,
Прикипев друг к другу, как железо к олову,
Любую мелодию угадывая на раз,
Стоя в «Пятёрочке» подле касс:

Три-два-раз,
Три-два-раз,
Три-два-раз.

Отгул

1

Не пустили в рай,
Не пустили в лимб,
Не печалься, зай,
Не штурмуй олимп,
Не пустили в ад,
Жёсткий фейс-контроль,
Помоги, камрад,
Прекратить гастроль.

2

Галя, у нас отмена,
Дрова сырые, коптит геенна.
Лена, нужны поддоны,
Для сбора павших в Армагеддоне.

Сделки открыты, бизнес-цепочки рвутся,
Красный луч озарил fields of rare,
В этих жёлтых полях сурепки,
Прут насилия чёрные репки,
Галя, помнишь тот лютый рейв?
Лена, мы засиделись, эпохи
Сменились, взошёл новый эон.
Примите вызов, давите вздохи,
Не ведите себя как лохи,
Когда лопнет последний аксон,
Когда вдруг зазвонит телефон.

3

Пока суть да дело,
В прокате выдали новое тело,
Всё, как писал епископ Даремский:
Вот работник мужской, вот работник женский,
Вероятно, собирали по китайской инструкции,
Но не суть, нам важны не нюансы конструкции,
А то, что приходится снова и снова,
От зари до зари,
(Вот она, *vita nova*),
Идти работать, лишь зажгут фонари.
Проекты, дедлайны, большая ответственность,
И новая искренность,
И старая выпренность,
Слышишь этот приятный гул?
Пришло сообщение: ты славно трудился,
Ты заработал себе отгул.

4

На паркете зайчик,
За окном листок,
Капает из крана
Вкусная вода,
Погоди немного,
Погоди чуток,
Это навсегда.
Навсегда запомнишь
Этот летний день,
Бабушки олады,
На асфальте тень,
На углу афиша
Новый кинофильм,
А в кладовке лыжи,
Память долгих зим,
В парке мама с папой,

Карусель летит,
Котик толстой лапкой
Мышку шевелит.
Всё это запомнишь,
Это навсегда,
В этот день отгула
Эти провода
Оживили память,
Растрепали сны,
Разбудили эхо
Будущей весны.

С недавних пор в моих друзьях Левиафан,
Чуть отвернулся, он уж шаст ко мне в карман,
Уже зашёл в сенцы, залез ко мне в постель,
А за окном сугроб бетоном лёг на ель,
А между небом и землёй заката догорает полоса,
И тишина, и шепчут голоса:
«Молчи, глупец, в словах спасенья нет,
Слава лишь умножают бремя бед».
И я молчу как партизан, как онемевший Фет.
Обжегшись молоком, на воду дую,
Но сколько бы ни дул, архангелы
Не снизойдут, лишь только Азazel и Вельзевул,
Как Трус, Бывалый и Балбес – Левиафан,
Согреют, покурить дадут
И соль отмоют с ран.

Дачная история

После того как убил, надо ополоснуть руки,
Учил меня мастер этой науки
Данила Багров.

Неба не было видно,
Будто кто-то запер его на засов.

Я ехал в метро,
В стволе был один патрон.

Диктор сказала: станция «Уроборос»,
Я вышел. Там меня ждал матрос.

Мы побежали брать Зимний,
Но Зимний растаял, пришла весна,

Кто-то выбил решетки в одиночной камере,
Расцвела сирень. Я сдвинул берет
Набекрень,

Выстрелил в небо, не ощутив отдачи.
Скинул ствол
И поехал на дачу,

На станцию при заброшенном храме,
Вскапывать грядки маме.

Нет, я не Байрон,
Я нейрон,
Я не Наталия Орейро,
Я онейро.
В моих виденьях
Телевизор черно-белый
И старый тополь до седьмого.
В какой-то жизни тонкой
Посторонней и прозрачной,
Где нет всеядности наждачной,
Где междометья метят двор,
Где угасает давний спор,
Где многовольтовых опор
Согласное гуденье вдоль канала,
Печальная юдоль,
Удар кимвала,
И улыбается загадочно отец,
Звучит биение сердец,
Нет, то не боль и не конец,
То лишь начало.

Он взял звезду и положил в тарелку,
Она лежит, блестит, как леденец,
Одной звездой на ёлке стало меньше,
Гирлянда как созвездие Кота.
На кухне за столом сидит отец,
Снаружи расплескалась темнота,
Он говорит (отец): О, scheiße!
Смотри, как светит в небе Бетельгейзе!
Горит огнём, как бриллиант в подвеске,

Жуть как скучаю по небесным фрескам.
Настал момент – кукушка бьёт в часах!
Корабль на стальных тросах
Дрожит, рычит на космодроме.
Прикрыты плотно двери в доме?
Погашен свет, и спит ли кто-нибудь?
Меня манит, мне внемлет Млечный путь.
В глубинах космоса таинственный сигнал
Налобный мой радар расшифровал.
Десяток долгих лет от звёзд вдали
Провёл я. Лишь следил, как корабли
Взрыхляют звездный ворс.
Но хватит. Рву с землёй все нити.
Ионные костры уже зовут.

- - -

И он ушёл. Я взял звезду
И прикрепил на ёлку.
Вот на окне узоры колосятся,
Снежинки за окном роятся,
И Дед Мороз в санях летит!
А звезды в небе как шары на ёлке,
И мир вмещается на книжной полке,
И чей-то свет в окне горит.
Отец вернётся лет через пятнадцать,
И снова будет снег и фонари,
Рассказы о неистовых стихиях,
Всю ночь, до первых проблесков зари.
Мне будет уже трудно наклоняться,
Я постарею, он – наоборот,
И вот уже мы говорим на равных.
Гирлянда на ветвях, на небе – Кот,
Пушистый и воспитанный, зевая,
Он лапой прикрывает рот.

«СКАЖИ МНЕ ТАК, ЧТОБЫ Я ТЕБЯ УВИДЕЛ»

Надежда все-таки есть.

На главной сцене главного театра идет безымянная пьеса Ионеску. Но и в театре абсурда свершаются рациональные действия. Ну, не целые действия, а хотя бы моменты.

Надежда есть. Она оживает, когда произносятся длинные, уводящие от сиюминутного смысла слова. Допустим, – «консультация». Или «совещание».

Это же хорошее слово. Консультация – это все-таки еще не война. Или – «разберемся». Пускай потихоньку разбираются, пускай не торопятся. И дадут нам немного пожить. И еще – то-нальность этакого отеческого увещевания нам по душе. Пусть лучше увещевают, пусть возмущаются, сетуют, топают ногами, разводят руками. Лучше пусть выпускают пар. Хотя, с другой стороны, они выигрывают время. Пока мы прикидываем, взвешиваем, изучаем интонацию на возможный процент реальной угрозы, процент бравяды, гнева, лукавства и вранья, минуты идут.

В общем, на слове «консультация» («прием», «совещание») некоторые приободрились. Все-таки, цивилизованные люди, воротнички, запонки, фурышеты, то-се.

И тут, как всегда, нехстати, в другом, параллельно открытом окошке, идет некий фильм. Знакомый фильм на знакомую тему. Только вместо планшета или ноута – массивный радиоприемник в углу. А там люди, допустим, семья. Пьют чай, шутят, обсуждают книжные новинки, цены на газ и молоко. Заедают тревогу галетами. У нее новое платье, от знакомой портнихи. Как же без нарядного платья, с такими, знаете ли, рукавичками, похожими на фонарики. У него неважный аттестат и невыученные глаголы.

Вслушиваются, улавливают слова, интонации. Облегченно выдыхают. Слово «консультация» их успокаивает. Или вот, допустим, «разберемся». Все-таки, это еще не оно, не сейчас, не с ними. Время еще есть.

2014

Собираясь в укрытие, я беру с собой (помимо коврика для себя и собаки, двух фонариков, глиняной свистульки (на определенный случай, вместо свистка), помимо воды и мисочки для собаки, воды для себя, зарядки и аккумулятора, я беру красного африканского жирафа.

Каринэ Арутюнова родилась в Киеве, жила в Израиле с 1994 по 2009 год. Автор нескольких книг прозы. Публикации в журналах «Интерпоэзия», «Новый журнал», «Иерусалимский журнал», «ШО», «Новый мир», «Знамя» и др. В «Волге» публикуется с 2013 года. Живет в Киеве.

Жираф крошечный, умещается в ладони. Вытесан из камня африканским умельцем, имени которого я никогда не узнаю. Камень этот прохладный становится теплым, он вбирает в себя мою тревожность, а отдает – безмятежность.

«Для того чтобы испытывать страх, человек должен испытывать некоторую надежду на спасение того, за что он тревожится; доказательством этому служит то, что страх заставляет людей размышлять, между тем как о безнадежном никто не размышляет».

Я беру с собой красного пятнистого жирафа и книгу. Кладу ее заранее в рюкзак.

Не то чтобы в момент обстрела можно сосредоточиться на чтении... скорее, нет.

Но что-то из «нормальной», прежней жизни.

Слово. Вещественное (материальное) его доказательство. По сути, доказательство того, что я человек. Не только тот, кто боится и бежит. Боится и прячется. Но и тот, кто мыслит. Читает. Впитывает.

Я выбираю книгу. Желательно, старенькую, ветхую, легкую. Самое сложное в этом деле – выбор. Диапазон, как вы понимаете, обширен. Есть где разгуляться.

От Сетона-Томпсона до Мандельштама, от Платона до Аристотеля.

Господи, ну и невежда же я! Кто знал, что жену Аристотеля звали Пифиадой. Пифией. Что он вообще был женат! Зачем философу жена, я вас спрашиваю?

Александр Македонский, оказывается, был нерадивым учеником Аристотеля. Македонскому было не до того вообще. Не до философии. Он мыслил явно не философскими категориями.

Вообще, книжка эта, страшно сказать, моего года рождения. И карандашиком подчеркнуто. Пометки на полях.

Таким вот удивительным образом посредством греческой философии я вновь встречаюсь с папой.

«Случайное не есть ни то, что бывает по необходимости, ни то, что бывает по большей части, но нечто, происходящее вне пределов того и другого».

Подчеркнуто. Тонким карандашом. Папой, который в момент чтения годился (бы) мне сегодняшней в младшие сыновья.

А где при этом была я? Возможно, я уже существовала в виде спеленутого семимесячного младенца весом в 1700 г.

Аристотель и пеленки. Бельевая веревка, натянутая то ли вдоль, то ли поперек... Старый подольский дом, комната, какой-то прости господи быт. Выварка на плите, общая кухня. Ванночка детская. Цинковое корыто. Жалобный писк новоявленной.

У вас девочка, поздравляю! Долго еще в мамином шкафчике лежали эти скрученные прорезиненные бирочки для новорожденных, с фиолетово расплывающимися буквами на них...

Накануне моего рождения они (родители) довольно серьезно поссорились. Живые же люди, страстные, юные. Не знаю, что послужило причиной. Способствовала ли философия примирению? Либо, напротив, разжигала обиду? Этого мне уже не узнать.

Но, следуя подчеркнутым тонко заточенным грифелем строкам, я могу (по крайней мере) приблизиться. Не к формальному поводу, не к истинной причине.

«Каждый может разозлиться – это легко; но разозлиться на того, на кого нужно, и настолько, насколько нужно, и тогда, когда нужно, и по той причине, по которой нужно, и так, как нужно, – это дано не каждому».

В конце концов, возможно, мое рождение послужило не последним поводом для примирения.

«Природа ничего не делает напрасно.

Ни неодушевленное существо, ни зверь, ни ребенок ничего не делают случайно, так как у них нет предварительного выбора цели».

В «Никомаховой этике» Аристотель перечисляет вещи, о которых человек не может принимать решений.

«О вечном никто не принимает решения, например, о космосе или о несоизмеримости диагонали стороне квадрата».

Дойти до общего нельзя без способности, называемой памятью.

«Не любит тот, кто не любит всегда».

Я всегда сторонилась точных, выверенных формулировок. Как будто своей математической точностью они ограничивали беспредельность сознания. Полет фантазии, не скованной догмами. Иллюзорной, конечно же. Любая так называемая беспредельность имеет границы. Выверенные однажды то ли Платоном, то ли Аристотелем.

Беспредельность имеет адрес. Систему координат. Опирается на гласные и негласные правила, а также ряд исключений из них.

Находясь в укрытии, я испытываю что-то вроде тайной, невысказанной нежности. К кому, спросите вы? К невидимому собеседнику. К автору не требующих доказательств аксиом. К посреднику между папой и мной. К выверенности каждого умозаключения. К стройности и свободе высказывания.

Ах, отчего я, торопясь жить, так мало говорила с ним. Корешки книг, выстроенные в ряд, казались чем-то обыденным и даже скучным. Это были декорации домашней жизни. Платон, Аристотель, Гегель, – с одной стороны.

Шолом-Алейхем, Чехов – с другой.

Пишущая машинка посередине.

Мне было ближе второе.

Детство Темы, Каштанка, толстый и тонкий, дом с мезонином...

От Аристотеля веяло скукой. Ленивый мой ум отзывался на изящество и иронию чеховской фразы гораздо живей.

Сегодня, чтобы чуть-чуть приподняться над самой собой вчерашней, я выбираю Аристотеля. Нет, это лукавство. Не то чтобы приподняться, скорее, встать на цыпочки...

Абзац, подчеркнутый остро заточенным карандашом.

Меня утешает стройность сентенции. Благородная завершенность фразы.

Слово сильнее времени, оно переживает смерть. Оно, помеченное папиной рукой, становится выпуклым, видимым, явным.

«в промежутке между двумя точками на линии можно обозначить бесконечно много точек, в промежутке между двумя мгновениями – бесконечно много мгновений»

Любит тот, кто любит всегда.

Вечер опускается на Киев тихо, и хочется довериться этой обманчивой тишине. Хочется испытывать утерянное доверие к мирозданию, задуманному столь совершенно, столь многообразно, столь точно, столь продуманно. Хочется нежить и лелеять редкий момент тишины.

Собака распласталась на полу. Вздыхает. Это вздох полной отрешенности и абсолютного блаженства. Удивительная способность жить и принимать каждый момент существования, не подвергая его сомнению, не препарируя, не испытывая иллюзий и разочарований.

Каждый день и каждую ночь мы узнаем что-то новое, испытываем то, что никогда не предполагали испытывать.

Мы узнаем нечто новое о себе, об этом мире. О его жестокости и милосердии, о страхе, о его глубинах и оттенках.

Нам позволено приблизиться к аду на земле, то с одной, то с другой стороны. Познать его во всей полноте воплощения.

Я думала, что ад – это приемный покой районной больницы с замерзающими у ее ворот бомжами. Я думала, что ад – это последнее мамино сообщение в телефоне. Ее голос, который звучал и звучал. Он звучал, но я больше не могла ответить.

Я думала, что ад – это то самое воспоминание, которое никуда не уйдет, разве что только вместе со мной.

Ад – это чувство вины и способность прощения. Это умение прощаться и прощать.

Я думаю об этом часто, вспоминая потрепанную книгу, которую передала мне моя тетя Ляля. В нашу последнюю встречу.

– хочу, чтобы ты увезла ее с собой.

Непереносима была мысль, или просто предположение... что кто-то бездушными руками коснется и отбросит любимую книгу ее детства.

Я думаю, что ад начинается там, где все теряет смысл. Все, что ты любил когда-то. Книги, какие-то бесхитростные предметы...

Я помню наперсток из подольского дома моей тети. Я помню морду глиняной собаки, в которой он лежал. Я помню множество ушедших в небытие подробностей.

Ад – это забытьё. Забытьё – это конец. И в то же время свобода бесконечности.

Я думаю об этом, стараясь не упускать редкую возможность быть счастливой. Прямо сейчас. Сию минуту. Касаться предметов (я знаю их на ощупь), созерцать тривиальное и всякий раз новое. Листать забытую книгу. Забыть ее на подоконнике, позволив летнему ветерку перебирать и переворачивать страницы. Могу позволить себе читать. И не читать тоже.

Да, нам позволено приблизиться. Ближе, еще ближе. Нам позволено познать то, что доступно не каждому.

Нет, это не туризм. Не программа, в которой каждый день расписан по кадрам.

Когда-нибудь появятся слова, способные передать это внезапное знание. Когда-нибудь, однажды, мы будем вспоминать ад, называя его раем. Мы будем вспоминать ад, называя его разными именами.

Мы будем вспоминать его поминутно, не упуская деталей. Моменты редкой человечности в мире страха, жестокости и боли.

Потому что то, что причиняет боль, имеет отношение к любви. Значит, оно живо. В отличие от того, что больше не болит.

Эти ножки свисающие беспомощно. Детские. Босые.

Я их столько раз видела. Эти детские ножки. Покрытые летним загаром, со ссадинами и сбитыми коленками. Когда под мощными взрывами влетали в укрытие молодые женщины или мужчины с детьми на руках.

Совсем маленькие дети. Выхваченные из постелей своих детских. Во сне. В глубоком сладком сне...

Невозможно не видеть их. Невозможно забыть.

В почтовом отделении.

В очереди суетится очень пожилая женщина. Согбенная «крабиком» спина, интеллигентная, немислимая какая-то речь, немного заискивающая, как у всех старорежимных, упорно не переходящих на государственный язык, по привычке использующих старые, отжившие свое речевые обороты, абсолютно неуместные в этом наэлектризованном пространстве.

Служащая за стойкой терпеливо и в который раз разъясняет даме (почти ласково, с нажимом, что не положено, – шоколадки в посылке растают, жара, и почтовые отправления идут бог знает сколько, и что в эту страну нельзя, нужно разрешение министерства культуры... и еще какая-то бумажка...).

Пожилая дама бестолково возится с туго набитыми, выдавшими виды, перемотанными и заклеенными скотчем пакетами, в которых явно что-то дорогое ей, но абсолютно бессмысленное в том, другом, благополучном мире, в котором обитают ее дети и внуки... слава богу, далеко от всего этого.

– да какое разрешение, это же мое, моими руками создано, – умоляюще протягивая пакеты, заискивающе убеждает дама. Со спины – абсолютное одиночество и заброшенность.

Дрожащие руки, опрятная старенькая одежда, и что самое ужасное – эти пакеты, пыльные, с непонятно чем дорогим и абсолютно бесполезным, и этот испуганный неуместный язык, и терпеливый ответ, и молчащая небольшая очередь, состоящая из меня, из таксы на поводке (воспитанный мальчик), и двух женщин, одна с гневно сверкающими голубыми глазами на покрытом не курортным загаром лице, – ох, какая извечная усталость в них и привычка сражаться, отбивать каждую пядь своих прав. И еще пара – молодые, в мятой одежде, их старательно подбираемые слова, явно люди без дома, это по каким-то негласным знакам читается.

И эти две шоколадки – для внуков – в трясущихся старых руках, и терпеливое лицо служащей, в который раз разъясняющей, «що воно туди не доїде, не доїде, жіночка...»

Мысль. Наверное, банальная. А ведь мы живем в будущем.

В том самом будущем, в которое так сложно было поверить когда-то.

Вряд ли кто-нибудь из тех, никогда не слышавших этого холодного космического свиста (и сразу после него) взрыва, всерьез может поверить в вероятность его.

Такова природа человека.

После ночной атаки все разошлись по домам. Одни сразу, решительно, другие нехотя – несколько сомневаясь, понимая, что на этом не закончится, и что весь предыдущий опыт не даст усомниться в последовательности событий.

Но разошлись. С детьми, колясками, собаками и без.

Тишины хватило минут на сорок? Тридцать? Иллюзия спокойствия и защищенности в собственной постели так притягательна, что совершенно не хочется знать о каком-то там будущем, которое, увы, давно настоящее.

Это такая милая пожилая, очень пожилая дама с извиняющимся выражением лица. Голос у нее громкий, неожиданно визгливый, скрипучий. И вот этим своим голосом она комментирует все происходящее. Нет, она не заглядывает ежесекундно в телеграм-каналы, как это делает ее очень осведомленная соседка.

У нее, у дамы, похоже, нет этих самых каналов. И телефон старенький, ну, обычный такой телефон, по которому просто звонят.

И вот она входит с полиэтиленовым пакетом и удушающим запахом корвалола, садится на детский деревянный стульчик. И улыбается. Извиняющейся такой улыбкой. И комментирует. Похоже, ей по ночам и так не особо спится.

А тут как в театре. Или в кинематографе. Живые все-таки люди, целые семьи, коляски, младенцы, собаки, коты.

Грохот стоит такой, что все невольно пригибаются. Кроме вон той юной пары на надувном матрасе. Эта пара – начинающие родители, похоже, они здорово выматываются. И потому спят себе в обнимку, просыпаясь только от мяуканья ребенка.

Снаружи грохочет. Все невольно прогибаются. Кто-то нервно смеется. И эта дама... ну ладно, просто милая, милая старушка тоже. Визгливым своим скрипучим голосом.

От звука которого просыпается грудной младенец. И молодые родители этого младенца.

Сидящая рядом с милой дамой, видимо, ее соседка по дому, зачитывает вслух каждое выпрыгивающее сообщение.

«От советского информбюро».

Милая дама громко (визгливо и скрипуче) переспрашивает. Та, вторая, громко повторяет.

А еще одна дама пришла со своим стулом. Обычный такой задрипанный стул из квартиры. На котором, может, три поколения выросло.

Я ее понимаю. На своем стуле как-то спокойней. Всё-таки казенная обстановка тяготит.

Но не такая уж она и казенная. Некоторые люди, которые вначале казались, мягко говоря, малосимпатичными, мило улыбаются при встрече. Всех волнует одно. Когда же это, наконец, закончится. Не то чтобы в глобальном смысле. А в самом что ни на есть узком, в пределах этой ночи.

Вообще, эта противоестественная близость с посторонними людьми – удивительное явление. Теперь я знаю, кто из них храпит, у кого недавно родились дети...

Я знаю, какие цены на рынке. Чем был хорош старик Байден, и чем плох старик Трамп. Что жена Макрона, эта самая мадам Макрон...

И что на самом деле все давно predetermined. Заговор мировых элит. Ну, вы поняли. Масонская ложа, все дела.

Об этом я узнала от хорошо осведомленной соседки очень славной пожилой дамы с извиняющейся улыбкой и скрипучим голосом.

Счастливые дни

Чуть было не выбросила. Она алая, тонкая, невесомая, для счастливых дней кем-то создана.

Одно угнетало. Рукава. Слишком длинные, чрезмерные, – не рукава, а гуси-лебеди какие-то.

В бытовом смысле я безрукий, беспомощный человек. Уроки домоводства являлись для меня испытанием. Довольно тяжким. Выпечка хвороста, шитье, подшивание и вышивание – все мимо.

Какое, должно быть, глубокое отчаяние выражали мои глаза, если даже простоватая, мучнистая и почти уютная тетенька, училка по домоводству, не особенно допекала меня. В ее понимании я была пропащей. Безрукой. Никчемной. Бесперспективной.

С уроков этих я сбежала, пользуясь любым поводом, – подделывая объяснительные записки (от мамы и преподавательницы по классу фортепиано, сольфеджио и бог знает кого еще).

А если не сбежала, то присутствовала угрюмой тенью. С завистью наблюдающей за тем, как непринужденно игла скользит, вонзается в ткань, как тянется за нею нитка, каким вдохновением светятся лица будущих мам, жен, невест...

Так вот, я отвлеклась. У блузы этой, созданной для радостных дней, рукава оказались чересчур длинными. Что придавало ей бесшабашный, цыганский, карнавальный вид.

Рукава я решила подрезать. Нехитрое, в общем, дело. Резать это не шить, сами понимаете. Вооружившись ножницами, я лихо щелкнула... один раз, другой.

Получалось кривовато. Ну, ерунда. Еще подрежу. А потом еще. Рукава на глазах теряли свою лебединую форму. И смысл.

Блуза казалась безнадежно испорченной. И тут вмешалась мама. Она остановила меня буквально на краю пропасти.

И, преодолевая собственное, увы, тоже (доставшееся мне по наследству) отвращение к занятиям шитьем, терпеливо подшила эти самые рукава, в смысле, манжеты. И все. Ушла залихватская цыганщина, уступив место сдержанной алой красоте... И блуза горделиво повисла на плечах, дожидаясь своего радостного часа.

Увы, в то лето я отчего-то забыла о ней... а позже алый цвет казался неподобающе праздничным, вызывающим, неуместным. Не соответствующим внутреннему ощущению.

С ней, с этой алой блузой, нужно было идти в унисон. Потому что заложенный в рукавах карнавальный дух, хоть и обрезанный, тайлся в самой ее сути.

Но карнавала так и не случилось.

Алая блуза, зеленое платье. А с ними нега, неспешность... что-то из прошлого, неосуществленного.

Они, купленные однажды для жизни, так и не стали ее частью.

Вот эти стежки, они сделаны маминной рукой. Незаметные такие, аккуратные стежочки с внутренней стороны рукава. Училка по домоводству сказала бы – «рукавчика».

А я, далекая от прилежания, растрепанная ироничная девица, усмехнулась бы мрачно. И даже презрительно. Потому что если рукава от рождения цыганские, то обрезать их грешно. Наверное, есть такая примета.

Но я о ней не знала.

Что я могу сказать?

За окнами тривиальный летний дождик. Вспрыснул и замер, будто раздумывая...

Всю ночь шел дождь. В рывтинах асфальта – темные лужицы.

Колкая, сухая, безжизненная трава. Тут и там мелькают желтеющие листья. Шелест деревьев создает иллюзию уюта. Иллюзию защищенности и спокойствия.

Как в детстве. Запах влажной древесины, сухой травы и теплой, парной, ненасытной земли.

Что я могу сказать? Война отнимает время, силы, жизнь. Рано или поздно она настигает тебя, все еще бодро стоящего на ногах. Рано или поздно она меняет тебя до неузнаваемости.

Война питается тобой. Страхом, тревогой, отсутствием какой бы то ни было надежды.

Война отнимает жизнь. И у того, кто уцелел (в эту ночь и предыдущие) в том числе.

Исчезла утренняя эйфория. На нее просто нет сил. Исчезли эмоции. Как будто кто-то стер их ластиком, а потом (для верности) проехался катком, оставляя единственное.

Опустошение и усталость.

Отныне приходится учитывать этот фактор. Глобальной, предельной, почти несовместимой с жизнью усталости. Осознать, что «от сих и до сих» ты сможешь, а дальше – не очень.

Вот это «сможешь» – оно тает с каждым днем и часом. И ты убеждаешься в этом, натываясь на собственное отражение в зеркале. Этот тусклый оттиск, отдаленно напоминающий тебя. Но с каждым мгновением все меньше и меньше.

Этика

Времена и обстоятельства диктуют новую этику.

Почти неприличным стало говорить (писать) о том, что тебе страшно. Что иногда ужас осознания и трезвость понимания захватывают тебя целиком, не оставляя места для сомнений и, увы, фальшивого оптимизма.

Стало неприлично говорить и слабости, о страхе...

Ты же еще жив, возьми себя в руки, не теряй остатки самоуважения.

Все самоуважение летит к чертовой матери при звуке первого взрыва. Который миглом сдувает (выдувает) тебя из логова, в котором ты худо-бедно, но как-то согрелся...

И выносит в коридор. Заставляя считать каждый последующий взрыв, фиксируя степень опасности (близко, еще ближе, еще...).

Дом дрожит, двери болтаются в петлях, а окна в рамах, собака поскуливает в ногах, а ты все считаешь эти проклятые взрывы. И удары сердца между ними.

Хотя что это? Как-то неловко, неудобно писать о том, что стало рутиной...

И подсчет нескольких секунд до взрыва, и мелочное пересчитывание минут (сколько там на «добежать до подвала близлежащего учреждения, который гордо именуется укрытием»).

И вот ты добежал. Гремя рюкзаком, бутылкой воды, зарядками, проводами, поводком от собаки (собака, слава богу, на нем)...

И вот ты добежал. Прекрасно понимая, что все это самообман, лживое утешение...

И что ближайшие часы (до самого утра, включая утро) тебе придется все так же сидеть, считая удары собственного сердца, чередующиеся взывы разной мощности, соотнося звук и скорость полета, хорошо отличая звук кинжала от баллистики, баллистику от реактивного шахеда.

Но об этом стыдно, неловко. Не принято. Моветон.

Послушайте, эта ваша война вместе с вашими страхами... Честное слово, давайте уже настроимся на позитив, а имени неизвестной, которая погибла не от разрушительного взрыва, а от многочасового изматывающего ужаса (то ли месяц назад, то ли полтора), завтра никто и не вспомнит.

Давайте перешагнем кучи щебня и пыли, – и всего того, что остается там, где раньше была какая-никакая, а жизнь...

И возрадуемся нежным лучам солнца, которые (ты знаешь уже) не успеют прогреть эту землю до вечера.

Который уже близко.

Нужно быть мужественным, – говорят тебе, – даже если совершенно случайно ты родился женщиной или мужчиной со слабым сердцем.

Прайм-тайм

Я хочу остановиться на том самом кадре.

Сомс впервые видит Ирен. Бесхитростное время жизни.

За окнами догорает беспечное киевское лето. Этажерка с книгами (их количество пока еще соразмерно пропорциям нашей старой квартиры), раздвижной диван (я помню долгий пружинный стон из недр его), выдвигающийся из него, дивана, сундук с сокровищами, волшебный грот Али-Бабы. О, сколько чудес таится в нем, – старая юла, любимые книжки, потрепанные жизнью куклы. Маруся, пеликан, потерянная в некоторых местах плюшевая обезьянка...

Этот мир пока еще надежно защищен несущей стеной вытянутого вдоль шоссе и бульвара типового пятиэтажного дома.

Нас все еще трое, – мама, папа и я.

В углу мерцает черно-белый, выпуклый экран неоднократно воспетого «Волхова».

Вечерний прайм-тайм. Улица стремительно пустеет. Слышно, как гулко хлопает соседская дверь. Как, останавливаясь перед каждым пролетом, медленно поднимается старуха «тетя Паша» в черном, вдовьем платке и со свисающим над безгубой прорезью рта носом – темной перезрелой сливой. Тетя Паша – алкоголичка. Это известно всем, и даже мне, семилетней. Меня страшит ее плотно прилегающий к голове платок, темная одежда, мятое, иссеченное глубокими бороздами лицо. А, главное, этот странный, тяжелый душок. Он неопределим. Его сложно соотнести с какой-нибудь известной мне категорией. Что-то пугающее, безжизненное, точно покрытая плесенью стена подвала.

Не так давно (сидя в подвальном помещении во время очередного обстрела), я отчетливо вспомнила тот таинственный душок.

Но я отвлеклась.

В углу комнаты, как я уже сказала, мерцает экран. По нему ползут темные полосы, зигзаги. И вот, наконец, заставка, уютный голос за кадром.

Какие-то дамы в шляпах, джентльмены в смокингах... Чайные сервизы и церемонии, лошадиные бега, черепаховые гребни, кружевные чепцы, трости, кресла с подлокотниками, тяжелые гардины...

Итак, Сомс впервые видит Ирен. И в этой точке мне хочется остановиться.

Книгу я прочту потом, несколько позже, и тогда образ красавицы с волосами «цвета опавших листьев» затмит тот, экранный, холодно-светский.

Мне искренне жаль Сомса.

Мне жаль его отвергнутой любви, абсолютно наивной, всепоглощающей. В этой точке, в которой он, сильный, молодой, успешный отпрыск форсайтовского клана, смотрит на загадочную юную бесприданницу, он безусловно счастлив. Как может быть счастлив любой в предчувствии жизни.

То есть судьбы. Ах, если бы можно было остановить. Нам-то, сидящим в зрительном зале, все предельно ясно! Вот здесь, здесь, и еще вот здесь. Хотя, кто его знает, каков, собственно, глубинный замысел.

Мне, семилетней девочке, жаль Сомса. Жаль его (так и не востребованного) темперамента, безудержной жажды жизни. Его необузданного стремления к обладанию.

Нет, конечно, тогда, в «прайм-тайм», я не столько понимала, сколько впитывала.

Скудость черно-белого изображения отнюдь не мешала восприятию, – напротив, именно она, эта скудость, питала его, оставляя простор для воображения. Вот этот таинственный «зазор» между видимым и незримым.

Я помню гостиную, ломберный столик, ростбиф с крошеном. Лобмард. Цилиндры, пролетки. Бумажные обои на стене. Сюжетные линии сплетаются, расходятся, будто ручьи, потом опять сходятся. Чуть позже я пойму, зачем нужно было избавиться от того или иного действующего лица. В угоду коллизии. Его величество сюжет, способный перемолоть сотни судеб, и выдать единственно точный непогрешимый результат.

Выросший на наших глазах кудрявый малютка уйдет на войну. Монти, проиграв в пух и прах состояние, сбежит в Аргентину.

Только в романе, прописанном столь тщательно, – в лучших традициях добротной британской прозы, – можно увидеть зарождение жизни, наблюдать все значимые и незначимые события, предшествующие драматической или счастливой развязке.

Я вижу немыслимую нежность, заключенную в жесткой и подчас жестокой оболочке. Выпуклый, фирменный форсайтовский подбородок с глубокой ямочкой, расщепляющей его. Бедный Сомс, обделенный в главном. Его нежность обрушивается на дочь. Как будто именно дочь и становится воплощением скрытой форсайтовской уязвимости.

«Туман был не такой уж и густой».

Колышутся страусиные перья на замысловатой дамской шляпке, уходят вглубь декорации. Ирен с саквояжем в руках спешно покидает дом.

Невинные обои форсайтовских комнат, темные картины в тяжелых рамах.

Жизнь развивается по кем-то прописанным канонам в рамках заданных декораций.

За первой главой следует вторая, за второй – третья. Те двое должны были погибнуть (либо под колесами кэба, либо от чахотки), чтобы уступить дорогу более значимым (в контексте истории) героям. Герои должны стать счастливыми. Что-то их должно к этому счастью подвести.

Вот так начинаешь познавать безжалостную, неумолимую диалектику бытия.

Не «Авраам родил Исаака», а Форсайт родил Форсайта. Герои вырастут, состарятся, и война станет естественным продолжением сюжета. Она придаст ему, сюжету, новый смысл и невиданный размах. Погибнут те и эти. Не вернутся другие.

«В любом случае, я на стороне буров, они имеют право на свою землю».

Любовь Сомса переживает все. Возможно, именно она (как неосуществленное, эфемерное, но торжествующее над всем) и останется главным итогом и вершиной авторского замысла.

Возможно, именно это и увидит, не столько увидит, сколько услышит сердцем та самая девочка, живущая в унылой (на самом деле залитой густым, будто абрикосовый джем, августовским солнцем) пятиэтажке.

Она запомнит взгляд Сомса в момент наивысшего откровения, изменившего всю его жизнь.

Все прочее (как и война англичан с бурами) окажется не более чем сюжетной линией. Гораздо менее значимой, чем любовь.

Если не всматриваться

Все сложнее верить в то, что в промежутках «между» существует жизнь. За нее хочется держаться.

А потом наступит ночь. И характерный звук дронов. И оповещение о баллистике. И попытка хоть куда-то добежать за эти пару минут.

И спасительная мысль о том, что наступит (должен наступить) следующий день. За эту мысль хочется держаться. И не отпускать ее.

Когда я смотрела фильмы (или читала книги) о войне, меня поражало, как буквально на близлежащих улицах в одно и то же время люди ходили в кино или в театр, в кафе или ресторан, тогда как рядом... совсем рядом...

Сейчас я вижу это не в кино и не в книге. Все слишком явно, слишком...

Человек, так уж он устроен, – если проснулся, то вынужден как-то всё-таки жить. Переступая и отворачиваясь. Или не отворачиваясь.

Жизнь огромного города. С играющими до позднего вечера мальчишками, с чьим-то смехом за окном, с опрокинутым в высокую траву самокатом. Если идти, не особенно всматриваясь в темные провалы там, где когда-то была жизнь, то обычное киевское лето.

Если не всматриваться.

Я укрываю собаку, стараясь не замечать ее вопросительного взгляда, – сегодня мы будем спать? Как раньше? Или?

Вот это «или» вливается в твой мозг, не отпуская его. Теплый летний вечер переходит в ночь. Рядом со мной телефон, зарядка, рюкзак. За окнами – условная тишина. В этой тишине таится многое. Многое, о чем не хочется помнить. Провалы, пустоты, шрамы. Все это знают и видели. Как лучезарная картинка разлетается вдребезги, как свет обращается в тьму, как меркнут цветущие сады, как падают птицы.

В конце концов, из всех сложносочиненных задач остается единственная.

Дожить до утра.

Лимонадный Джо

Бежать, прямо скажем, особо некуда. Любое бегство «от» – не более чем иллюзия. В нее (точно в стеклянный куб) можно погрузиться на некоторое время, но, подобно жене Лота, остаться на месте, ощущая тысячи натянутых нитей. Они тянут и тянут, и от этого сложно вдохнуть и выдохнуть.

Место еще до твоего появления на свет особенно тебя не приветствовало. Тебе еще только предстоит весь этот бессмысленный путь, начиная с прививки от оспы и гепатита А, с навязанного «аз, веди»...

Весь твой мир – такой огромный и такой крохотный – ушел, точно Атлантида, в эту беспредельность и абсолютное беспамятство. Нет тех и нет этих. Нет слепого музыканта, и маленького Темы нет. Нет мальчика Мотла и лимонадного Джо. Остался солнечный блик, бегущая по склону собака. Осталось нечто, что по инерции называется домом. Хотя им, конечно же, давно не является. Его, дома, на самом деле не существует. Блочно-панельный мир. Прошлое больше не отбрасывает тени. Некому ворошить карточки в семейных альбомах. Некому читать книги, стоящие на полках.

Единственная надежда – голос. Осталась еще зыбкая надежда на то, что книги, будучи запрещенными или «не рекомендованными к прочтению», написанные в эти безусловно страшные времена, однажды будут услышанными.

Кем и когда, не столь важно.

Мое дело – бросить бутылку в открытое море. Пусть себе плывет.

2025

Михаил ВИСТГОФ

Вот оконные соты. Пузырьки желтизны
Вот светила-таблетки шипучие над Москвою
Деревянный музей. Говорящий узор сосны
И шкворчащая речь. Облака грозовые с персидским кроем

Зонтик почти забытый. Щупальца узких рельс
Каменные треугольники, вкрученные в сетчатку
День, сквозь перила выжатый. Черный пружинный лес
Черный младенец июньской ночи ворочается и качает

Хлипкую электричку, щучьи ее бока
Аквариумные глаза плавают в жирных стеклах
Сквозь любой потолок черного языка
Чувствуешь прикосновение. Давящее и теплое

На земле – кресты
Над землей – часы
И свистят хвосты в подмосковной темени
И в дубовых клоках клювы стучат размеренно
Повторяя трости-зонты
Треугольные стенки-листья – в них застревает свет
Вытекающий из тусклых наддверных ламп
Травянистый хобот дороги меня несет
К тому полю где
Опрокинуты корни молниями наверх
Из чешуйчатой тучи выткался черный глаз
Мотылек огромный заблудившегося укусил
И от крови его аэростатом стал
Прилепился светиллом к небу

Михаил Вистгоф родился в 2003 году в Москве. В 2021 году поступил в Литературный институт им. А.М. Горького. Публиковался в журналах «Формаслов», «Прочтение», «Волга», альманахе «Артикуляция» и др.

Раздвоилось солнце в воде:
Ребенком с тремя головами
Распались бутылки, листья, витражи
На дыханье зеленое –
На стоп-кадр «Звонка»
И взлетели зарослями крапивы свежие татуировки

На плечах у земли
Их набили машинкой, похожей на перевернутую башню

Живущие в домах, чьи стены похожи на кожуру мандарина
Иногда выходят и просят огня у терракотовых зданий
Просят черноты у неба шарообразного, но такого длинного
И вдыхают бумагу воздуха, разлинованную поездами

Им не видно, где тень ладони, а где – крестовик-паук
Перила становятся стрелками, отбивают полночь
И ползет по миру хитиновый членистоногий звук
Канатоходцем бродит между бетонных кольев

Когда подведут капилляры карт, отключится GPS
Все четыре дороги рыцарский клевер покажет
Только лес окраинный говорит оставаться здесь
И за ним атом воздуха повторяет каждый

Человек, достающий до восьмого этажа
Глядит мне в окно
Его рот полон коронок-звезд
А другой его рот – птица клест
Он трещит бетонными, железными, полимерными руками
Он стоял здесь всегда

Так почему же я до сих пор
К нему не привык?

Почти безлюден подмосковный пляж
Кишечник трассы здесь едва ли слышен

Песчаный ноготь дотянулся аж
До черепичной земноводной крыши

Пригнали стопку тучевых пластин
На неба бледноватую расцветку
Пригнавший хочет молнию включить
И надевает сварочную маску

Белые цветы в крафтовой бумаге – кристаллы ожидания
Шаровой молнией путь прокладывают
Сквозь кварталы – ребром поставленные спичечные коробки

Под черным, под шершавым
Кимоно июльской Москвы

Жабры штор сокращаются, задевают столы
И, как улыбчивый топор
Качается часовой маятник

И не видишь больше своего контура:
То ли потянулся за упавшими ключами
То ли руки фонарные
Скользят к воде

Белая линия ЮБК
Выгибается огромной улыбкой
Молочный зуб маяка
Никогда не выпадет

Бумеранги чаек
Никогда не вернутся к тому
Кто запустил их

В деревянных, неловко пристроенных решетчатых балконах
Застаивается свет
В голубой траве богомол поднимает свои крюки
И прислушивается
К шуршащему сигналу вьюнка

Белый берег отпускает листовидную лодку
И она приближается
К хорде горизонта
Едва прочерченной

Утопает в детенышах – белых огнях паучиха-Москва
И оленье ребро полумесяца над головою
Сотни тонких салфеток ночной ураган разорвал
Облаками пустил над кленовым прерывистым воем

И зациклен весь мир на концах саблезубой травы:
Умещает листок заостренный, как лодка
В своих жилках фасады, беседки, гранитные львы
В них искрятся созвездия сломанной старой проводки

И на черной руке золоченый браслет пустырей
Еле слышно качается он, гравировкой бурьяна играя
Гравировка от ветра плывет – неразборчивы надписи в ней
На разбитую землю ложится травинка косая

Сергей ДИГОЛ

БУДЬ ПО-МОЕМУ

Повесть

1

Заговорив с шофером на скорости всего-то шестьдесят километров в час, я едва не становлюсь виновником аварийной ситуации. Сидящий за рулем Виктор – образец личного водителя, и мне становится не по себе, когда я понимаю, насколько он не готов к неожиданным поворотам – не то что судьбы, а всего лишь движения по трассам родной для нас обеих Молдавии. Я не выдерживаю, брезгливо морщусь, глядя на его взмокшую шею, туго перетянутую белым воротничком, привычно застегнутым на верхнюю пуговицу.

А как хорошо и обычно начинался для Виктора этот день! С вечера он спокойно составил маршрут, точно зная время выезда из Кишинева и цель поездки. Полдесятого утра, районный центр Чимишлии, офис фирмы «Джомерт Ага». Могу поспорить, он даже знал, с поправкой максимум в полчаса, точное время возвращения в Кишинев. За двенадцать лет работы мой водитель обрел талант провидца, по меньшей мере в том, что касается способности его босса, то есть меня, вести переговоры с клиентом так, чтобы даже из самых муторных «терок» выходить с честью и в худшем случае через час-полтора.

Но сегодня я озадачиваю его уже на развилке, на самом выезде из Чимишлии.

– Поедем через Каушаны, – говорю я, и от неожиданности Виктор бьет по тормозам.

И хотя решение я принимаю спонтанно, в его основе – обоснованные эмоции от как нельзя кстати заключенного контракта. Официального договора между нашими компаниями, в двух экземплярах, один из которых, облегаемый пленкой канцелярского файла, лежит слева от меня, на заднем сиденье служебного «Ауди».

Я обожаю переговоры с клиентами. Деньги, разумеется, важны, но в момент достижения сделки главное для меня – это фиаско клиента. Именно так: не столько моя победа, сколько поражение соперника на грани унижения. Это ведь унижительно – осознавать, что заключаешь контракт с типом, которому не просто отвалишь уйму денег, но и вынужден выслушивать его безапелляционные нравоучения, которые он оборачивает в слова и фразы, смысла которых мои любимые клиенты не в силах понять. Да и смысл этот еще надо поискать, и в его возможном отсутствии я совсем не чувствую своей вины. Виноват ли я в том, что так устроен мой мозг? Добывая клиента, я начинаю сыпать фразами, которые рождаются сами собой, без моего ведома, и я не всегда успеваю понять, уместны ли они и есть ли в них хоть какой-нибудь смысл? Главное – звучат они обезоруживающе, и все потому, что никто не ждет подобных оборотов от директора строительной компании.

«Технологическая неизбежность», «логистическая беспринципность», «календарная энтропия» и даже «финансовая червоточина». Черт, да я сам понятия не имею, что это за червоточина

Сергей Дигол родился в 1976 году в Молдавии. В 1998 году окончил исторический факультет Молдавского государственного университета. Публиковался в журналах «Нева», «Москва», «Дружба народов». Живет в Кишиневе. В «Волге» публикуется с 2010 года.

такая. Обычно после подобных виражей я быстро перехожу к практической части и вижу, как лица клиентов благодушно округляются: ну наконец-то, он не чокнутый, с ним можно иметь дело. Все-таки не зря «Фортус Констракшн» считается одним из лидеров строительного рынка. Где, вы говорите, поставить подпись?

Молдавского болгарина Александра и его фирму «Джомерт Ага» мне подбросила Корнелия, и это восьмой проект за год, которым я ей обязан. Любовниками с Корнелией мы стали не сразу, – сначала наши компании просто сотрудничали, моя строительная и ее дизайнерская. Точнее, компания ее мужа Романа, ведь официально именно он – учредитель и единственный владелец «Винтериума», агентства, создающего дизайн интерьеров. Впрочем, мое положение не лучше, ведь по документам владельцем «Фортус Констракшн» числится моя супруга.

Дипломированный специалист по дизайну интерьера, Роман основал свою компанию сам, Ребекка же унаследовала строительный бизнес от Валентина Казаку – своего отца, бизнесмена и, разумеется, моего тестя. Роман ни шагу не делает без одобрения Корнелии, моя же суженая понятия не имеет, какое количество объектов мы строим в течение календарного года.

И все же, несмотря на регулярность совместных проектов наших компаний, ни Роман, ни Ребекка до сих пор не в курсе истинных причин столь стабильного сотрудничества. Выходит, нам с Корнелией удалось неплохо наладить личную жизнь через бизнес – без ущерба как для дел, так и для нашего продолжительного романа. Обычно инициатива исходит от Корнелии – я имею в виду не только постель. Роман разрабатывает дизайн интерьера, дальше в дело вступает Корнелия, убеждающая клиентов в том, что для воплощения в жизнь шедевра ее супруга лучшего подрядчика, чем «Фортус Констракшн», им не найти.

Но в этот раз инициатором разговора стал я, лицо же Корнелии моментально окаменело. Впрочем, так происходит при любой ерунде, которая ей не по нраву. Благодушие не изменило ей лишь по одной причине: мы едва вынырнули из водоворота страсти, и медленно остывали, перетягивая, каждый на себя, узкое и тонкое одеяло.

– Что-то случилось? – она повернулась ко мне. – Что с тобой?

– Да, в общем, все как обычно, – сказал я и потянулся к бутылке с водой. – Кредиты, мать их.

Сушая правда. Кредиты – это то, благодаря чему мой бизнес считается одним из самых успешных в строительной отрасли Молдавии. А еще из-за этих чертовых кредитов нам с Ребеккой и детьми однажды придется искать спасение на самом краю земли, как делают все безнадежные должники. Мы берем кредиты, чтобы строить, и отдаем кредиты с денег наших клиентов, которые выбирают нашу компанию из-за одного-единственного конкурентного преимущества – возможности оплаты в рассрочку. Нам же, само собой, никакие рассрочки никогда не светят. Приходится брать новые кредиты и продолжать крутить колесо этой рулетки, пока однажды не выпадет «зеро». По текущему кредитному плану «зеро» выпадет как раз в конце месяца.

– Там по частному детскому саду огромное тело кредита, а клиент полностью расплатится только к концу года, – сказал я Корнелии. – Кредит нечем закрывать, и это при том, что в работе у меня одновременно пять объектов. К маю вроде появится новый крупняк, но пока одна мелочь. Ремонт кофейни, частный медицинский кабинет, да по электрике три объекта. На зарплаты хватило бы.

Корнелия отвернулась, не отрывая головы от подушки.

– Я не хотела тебе давать его, – сказала она.

– Кого его?

– Болгарина этого, – теперь Корнелия смотрела мне в глаза. – Торгует зерном, но кажется не своим. По-моему, просто перевалочный пункт.

– Сейчас не поймешь, что чье, – пробурчал я. – Это называется глобальный рынок.

– Прекрасно, что ты такой умный, – вздохнула Корнелия и приподнялась. На мгновение ее грудь вынырнула из-под одеяла, но она быстро прикрылась, не вызвав у меня никаких чувств, кроме желания поскорее получить номер этого самого болгарина.

– Он строит огромный офис в Чимишлии, – продолжала Корнелия. – У него там три гектара в самом центре города. Решил, что его зерновые спекуляции – это навсегда. Расширяет штат раза в три, вот заказал нам индивидуальный дизайн.

– И в чем проблема? Почему я только сейчас узнаю об этом проекте?

Корнелия вздохнула.

– Хотела оградить тебя от лишних проблем. Дура потому что.

– Каких еще проблем? – возмутился я.

Клиента из Чимишлии звали Александром, и за полгода он едва не свел мужа Корнелии с ума. Первый вариант концепции интерьера, стилизованный под обстановку космического корабля из фантастического фильма, заказчик принял с восторгом, попросив доработать некоторые детали. Через месяц, после внесения более тридцати изменений, проект был отвергнут, а новая концепция, принятая после правок заказчика, должны была отражать местный колорит, но не в ущерб «динамичности и прогрессивности» компании. Работая над проектом, Роман почти потерял сон, и я, кажется, только теперь нашел приемлемое объяснение поведения Корнелии в последние месяцы. Слишком быстро она впадала в тревожившую меня неудовлетворенность даже после наших самых удачных свиданий.

– Выбрали как обычно дерьмо, – сообщила Корнелия. – Предельно вульгарный вариант мавританщины, Рома нарочно постарался. Вот это они приняли без обсуждений.

Все ясно. Вычурные арки, потолки в лепнине, паранойя геометрического орнамента, ковры, подушки и массивные люстры, серебро и охра. Для кабинета директора мебель и материалы должны быть по меньшей мере из Италии, для остальных кабинетов – не дороже китайских.

– Я не хотела, чтобы ты проходил с этим клиентом то же, что и мы с Ромой, – призналась Корнелия. – Но раз ты просишь...

Она редко ошибается, почти никогда. И какое счастье, что на этот раз Корнелия промахнулась. Видимо, после Роминых экспериментов мои сметы, наряды и таблицы были восприняты Александром как что-то родное и понятное, вроде сельскохозяйственных вредителей и уровня влажности в элеваторах. Мы быстро ударили по рукам, и воодушевившись самим фактом гарантированного финансирования до конца года, я ввел ручное управление служебным автомобилем при живом и боеспособном водителе.

– Здесь помедленнее, – скомандовал я, и Виктор, уже свыкшийся с тем, что сегодняшний маршрут может претерпевать самые неожиданные изменения, мастерски снизил скорость плавным до незаметности маневром.

– Сейчас прямо и после моста еще чуть притормаживай.

Сразу за мостом в центре Каушан – здание почты. Что здесь сейчас, представить невозможно, но и предсказать нетрудно. Может быть все что угодно, от шаурмы до секонд-хенда. Само почтовое отделение тоже, разумеется, сохранилось, вот только в масштабах еще более скромных, чем требуется для обеспечения сегодняшних потребностей почтовой службы. Если, конечно, не учитывать бесконечные караваны с посылками, доставляющие всякое барахло из Китая.

За почтой следует школа, двухэтажное здание которой мелькает в промежутках между кронами высоких деревьев.

– Еще сбавь, – говорю я, и Виктор совершает акт форменного насилия над ауди, вынуждая машину плестись со скоростью не более пяти километров в час.

Вот он, а точнее они. Два двухэтажных дома, по восемь квартир в каждом. Точно такие же дома – их тоже два – спрятаны в глубине двора. С проезжей части они не видны, но меня не проведешь: я точно знаю, что они там есть, стоят на своих местах уже лет шестьдесят, не меньше. У второго придорожного дома Виктор получает приказ остановить машину.

– Встань на аварийке, – зачем-то уточняю я.

Даже неопытным взглядом – что к директору строительной фирмы явно не относится – невозможно не заметить, что дом как следует перестроили. Обе квартиры с торца, на первом и втором

этажах, нарастили метра на два, покрыв эту часть дома утепляющей облицовкой. Ничего из ряда вон выходящего, банальный способ расширения жилплощади даже для Кишинева, не говоря уже о молдавской глубинке. К тому же прямо к дому пристроен внешний капитальный забор выше человеческого роста. Декоративная плитка, которой облицован забор, – точно такая же, какую мы с женой выбрали для дорожек, пересекающих ее зеленые владения. Ребекка обожает тратить деньги на ландшафтного дизайнера, прячась от реальности в низкорослых зарослях барбариса, вереска и гортензии, захвативших что-то около сотки земли на заднем дворе нашего дома. Плитка не дешевая, поэтому длиннющий забор, напротив которого застыл сигнализирующий «аварийкой» ауди, наверняка может претендовать на звание одного из самых дорогих в Каушанах.

– Поехали домой, – говорю я, и Виктор, словно не сразу услышав команду шефа, нажимает на педаль газа с недопустимой задержкой, секунд в десять.

Но сразу за поворотом я снова морочу ему голову и после остановки ауди быстро выхожу из машины. Передо мной – унылое одноэтажное строение, украшенное вывеской «Кафе Версаль». Сбоку от входа – три столика, над которыми нависают широкие красные зонты с белым логотипом, напоминающим о том, что даже в этой дыре всегда можно утолить жажду бутылочкой ледяной «Кока-колы». Все это сооружение ограждено завернувшим за угол забором, скелет которого укрыт от посторонних глаз роскошной дизайнерской плиткой.

Пейзаж, которым никого не удивить в Молдавии. Картина, которую я и представить себе не мог, сбив Виктора с намеченного им курса. Нашупав Ключ в кармане брюк, я проделываю привычную манипуляцию. Тру холодное металлическое ушко большим и указательным пальцами, глажу ножку Ключа по всей длине, спускаюсь к рифлёной бородке. Нашупываю зубцы, два крайних и один посередине, с двумя одинаковыми глубокими царапинами. Жмурюсь и резко сдавливаю Ключ целиком, так, чтобы на ладони и внутренней поверхности пальцев остались похожие на кровоподтеки следы.

Затем достаю мобильный телефон и нахожу номер своего человека в кадастровом ведомстве.

– Макс, – говорю я, – разложи-ка мне по-быстрому ситуацию по одной квартире. Нет, не в Кишиневе. В Каушанах. Улица Матеевича, дом двенадцать, квартира восемь.

2

Беготня Корнелии сбивает с мыслей не только меня. Смущает она и ее мужа, тем более что в переговорную, прерывая наш разговор, Корнелия врывается в третий раз за последние пятнадцать минут.

– Нель, что-то случилось? – не выдерживает Роман.

Корнелия терпеть не может, когда он ее так называет. По ее мнению, «Нель» звучит как какое-то надоедливое насекомое. Что ж, сегодня она и впрямь напрашивается на мухобойку.

– Могу называть тебя Корни, – предложил как-то я, и она равнодушно пожала плечами.

– А это как собачья кличка. Но и то лучше.

Больше никогда по-собачьи я ее не посмел называть. Встречались ли мы по работе втроем, или уединялись с ней в чужих постелях – она для меня оставалась Корнелией, в чем, кстати, был резонный элемент благоразумия. Лягнуть «Корни» в присутствии Романа было бы равносильно объявлению войны. Элементарная конспирация в этой маленькой стране – не роскошь, а способ оттянуть приближение катастрофы. Потому-то и наши свидания – это всегда смена загородных домов.

Отличный, между прочим, бизнес. Не будь я сам постоянным клиентом, создал бы собственную сеть «домов измен», вложил в эту беспроигрышную инвестицию. За бесценок скупать брошенные сельские дома, которых менее чем в часе езды от Кишинева – десятки, если не сотни. Быстрый ремонт по себестоимости – а кому это по плечу, как не строительной компании? Ну

и сдача внаем, исключительно почасовая и только для таких поклонников адюльтера, как мы с Корнелией. Иногда я и в самом деле жалел, что не смогу масштабировать этот бизнес так, как было бы под силу, наверное, только моей компании. Уж точно, до тех пор, пока мы с Корнелией не осточертели друг другу.

Даже не представляю, каково это – расстаться с ней. Дело не в чувствах, не в сексе, хотя и то и другое у нас в самом соку. Как это вообще возможно, бросить Корнелию? Она-то легко сможет, а вот способен ли я? Под лавиной каких бед буду стремительно погребен после того, как произнесу три заветных слова: «нам пора расстаться»?

– Нель. Мы. Работаем.

При мне с Корнелией Роман так еще не разговаривал. Прежде чем выразить недовольство тремя чеканными словами, он опускает голову, находит на полу какую-то точку и выпучивает глаза. Я, признаться, цепенею от неожиданного поворота, но Корнелия не дает развиваться моему ступору, блистательно отыгрывая роль послушной, но туповатой супруги, до которой, наконец, доходит смысл обращения потерявшего терпения супруга. Не говоря ни слова, она выходит из переговорной на полусогнутых ногах, демонстративно долго закрывая за собой дверь – якобы чтобы не потревожить нас малейшими звуками. Что ж, этого она точно не простит – ни Роману, ни даже мне.

Впрочем, отступать некуда, и я продолжаю вербовать Романа, интригуя его самым фактом подробностей, которые якобы не позволяют раскрыть договоренность с заказчиком.

– Так сложно работать, – замечает Роман. – Я не понимаю, в чем суть проекта.

– Ром, у меня договор о конфиденциальности, – ерзаю я в кресле. – Пойми меня правильно.

Он бросает взгляд на дверь, минуту назад закрывшуюся за Корнелией. Быстро же ему понадобилась помощь супруги, которую он только что выставил из переговорной. Но что поделать, если это была моя инициатива: мужской разговор, с глазу на глаз.

– Я все понимаю, – хмурится Роман. – Но, согласись, сложно креативить, не до конца понимая, над чем именно работаешь.

– Считаю, что просто восстанавливаешь аутентичный интерьер.

– Но это бессмысленно, – улыбается он.

– Значит, смотри, – перехожу я в наступление. – Я сделал подборку по мебели и технике.

С санузлом на кухне я определился сразу. Рукомойник «Мойдодыр» начала семидесятых, с краном, вставленным в эмалированную панель, вбитую прямо в стену. Выливаясь, вода издает звук жестяного барабана, капли бодро и высоко отскакивают от эмалированной раковины.

– На даче понятно, но в квартире? – мнется Роман. – Как это вообще функционировало?

– Еще как функционировало, – отрезаю я.

Что ж, он обещает подумать, и даже делает вид, что воодушевлен.

– Были бы интересно смоделировать в реальности.

– Вот и отлично, – киваю я. – Кстати, каких-то бюджетных ограничений нет.

После такого заявление наши дела стремительно ускоряются. Оказывается, Роман отлично ориентируется в обстановке советской хрущевки, с одного взгляда определяет модель радиоприемника, знает людей, которые в разумные сроки доставят настоящий гдэзровский сервант, и лично, собственными руками, вылепит гипсовую решетку на вентиляцию, которая ничем не отличается от оригинала семидесятилетней давности.

– Телевизор вот такой, – демонстрирую я изображение на экране телефона, и Роман понимающе кивает.

– «Рекорд» триста двенадцать, – безошибочно угадывает он, и тут же добывает меня тем, что знает по номеру модель телефона, давным-давно снятого с производства.

Так и есть, это ТА-72. Дискотелефон оттенка кофе с молоком, подостывшего напитка в граненом стакане из советской столовой. Та жидкость цветом скорее напоминала мазь Вишневского, такую же зеленовато-серую и по-своему невыносимую на запах.

– И картина над сервантом, «Утро в сосновом лесу». Висеть должна под наклоном так, чтобы рама нижней планкой упиралась в стену.

– Верхние углы в комнатах закругляем? – интересуется Роман, не переставая удивлять меня.

– А будет достоверно? – с надеждой уточняю я, и Роман лишь обнадеживающе усмехается в ответ.

Кажется, я теряю инициативу. Странно, я должен был ликовать, восторгаться, предвкушать успех, но почему-то меня коробит то, что здесь, в офисе Романа, я не чувствую себя хозяином положения. Моя последняя надежда – старые деревянные оконные рамы, но и тут Роман встречает меня во всеоружии.

– Окна будут как положено, – обещает он. – Настоящие старые петли и защелки, застывшие подтеки краски, чуть перекошенные рамы. Даже антикомариновую сетку сделаем настоящей.

– Это как? – удивляюсь я.

– Не помнишь? Из мягкого металла, она еще гнулась и ржавела со временем.

Точно! А еще с годами в ней множились дырки, от старости и от любопытных детских пальцев. И как я мог забыть?

– На твой взгляд, по срокам как все это реально? – я встаю и вновь замечая Корнелию, которая мелькает, пусть на мгновение, за стеклянной дверью.

– Все упирается в бюджет, – говорит Роман.

– Говорю же, бюджет есть. Не о неделе речь, но за полгода я бы хотел получить полностью готовый объект.

– Тогда вообще не проблема. Если даешь добро, кое-какие заказы можем сделать уже на неделе. Доставка, думаю, займет от полутора до двух месяцев.

– Угу, – похоже, я совсем не против, чтобы Корнелия снова показалась за разделяющим нас стеклом. – Вспомнил! Есть один старый знакомый, Ребекка тоже его знает.

Мой давний знакомый, будь он реальностью, за годы нашей семейной жизни действительно вряд ли остался бы тайной даже для моей инертной жены.

– Сто лет знакомы, – продолжаю я. – Жена, двое взрослых детей. Бизнес опять же. На днях узнаю, что они с женой – свингеры. Здесь, в Кишиневе, представляешь? Ездят по всему миру на свингерские вечеринки. Жена симпатичная, и даже сейчас, но я как-то раньше не представлял их даже вдвоем в постели. А представить, что она вытворяет во время этих путешествий...

Роман пожимает плечами.

– Я как-то не очень интересуюсь, – говорит он сущую правду. – Нет, теоретически понятно, конечно. Не понятно только, как об этом можно узнать, если они хранят тайну.

– Как-как. Слухи, как же еще. Кто-то, когда-то, под страшным секретом... Может, я вообще последним узнал?

Роман усмехается.

– Я вот тоже не сразу узнал про Дэна, – говорит он.

– Это кто?

– Дизайнер, – кивает Роман на дверь, за которой нас обоих ненавидит Корнелия. – В дизайнерской сидит в самом углу.

– Рыжий, что ли? И что с ним?

– Что-что... Из этих он.

– Да ну? – искренне удивляю я. – Вроде такой здоровый.

– Вот именно. Потому-то такой популярный. То с одним его видели, то с другим. Я так понимаю, там целый конвейер.

– Ни хрена себе.

– Точнее и не скажешь. Мы одно время, как узнали, даже думали расстаться с ним. С другой стороны, к нашим он не клеится, да и специалист он толковый. Кстати, и к твоим проектам регулярно его подключаю.

– Знал бы я, – притворно морщусь я. – Зато теперь есть повод требовать скидку на ваши услуги.

– Скорее мы тебе выкатим наценку, – смеется Роман. – Не забывай, страна движется в Евро-союз.

Я привычно отмахиваюсь, и Роман поддерживает мой скептицизм кривой усмешкой.

– Даже не знаю, зачем мы это друг другу понарасказывали.

Поднявшись с кресла, я прощально протягиваю Роману пятерню.

– Так что, начинаем? – трясет он мою руку.

– Проект? На днях сообщу. Скорее всего, дам отмашку максимум через неделю.

– Окей. Не провожаю, хорошо?

– Не проблема, – зевнув, я неторопливо сближаюсь со стеклянной дверью.

– Кстати, знаешь почему? – говорит Роман, и я останавливаюсь, чтобы обернуться.

– Почему что?

– Ну, ты сам сказал. Почему мы делимся сплетнями о других?

– Потому что это в природе человека?

– Это понятно. Но я подумал, может потому, чтобы не рассказывать о своих секретах?

– Ром, тебе надо отдыхать, – усмехаюсь я, вцепившись в дверную ручку. – На самом деле, все то же самое о нас с удовольствием разнесут по всему свету. Дай только повод.

3

Ребекка выросла в заботливом окружении трудового коллектива, которым отец заменил ей семью. Тот же Виктор работал в компании со дня ее основания, а до этого возил моего будущего тестя, когда тот владел другой, менее масштабной фирмой. Кажется, у них была сеть ларьков на вещевом рынке. В подробности по своей воле меня никто не посвящал, а унаследовав дело, я не стал интересоваться, установив тем самым одно из главных правил в отношениях с персоналом: не дело босса вникать в подробности биографии подчиненных.

Более того, возглавив компанию, я стал притворным склеротиком, то и дело забывая имена подчиненных, с которыми бок о бок работал восемь месяцев, начиная со счастливого дня нашей свадьбы до трагической кончины тестя. Забывал я публично и театрально. Например, предоставляя слово подчиненному во время собрания, кивал на него, щелкал пальцами, хлопал себя по лбу, неловко смеялся, извинялся и даже краснел. Имени я так и не произносил, предоставляя эту привилегию сослуживцам, полушепотом и вразнобой произносящих имя коллеги, как назло, вылетевшее из головы начальника в самый неподходящий момент. А что поделать, если под камнепадом проблем у их босса голова идет кругом!

На мое счастье, у тестя были консервативные представления о жизни. Он в жизни не мог помыслить, чтобы женщина однажды возглавила его империю, что, конечно же, было настоящей драмой для отца единственной дочери. Брачным свидетельством мне вынесли приговор на пожизненное управление строительной компанией, которую мне предстояло унаследовать в один прекрасный день. Кто же знал, что этот день настанет так скоро?

Тесть умер у себя в кабинете, успев ухватиться за стакан с водой, но так и не сделав глотка, в котором искал спасение. Таким его, лежащим в кресле со стаканом в руке, и обнаружил Виктор, водитель, который за долгие годы дрессировки научился не только просчитывать оптимальные маршруты передвижения босса, но даже предсказывать их. В тот день его интуиция сработала с опозданием, совсем небольшим, но стоившим тестю жизни.

Смерть тестя открыла меня, и не столько своей скоропостижностью. Оказалось, все восемь месяцев моей семейной жизни он только и делал, что мешал мне управлять бизнесом. Руководить строительной компанией? Да проще некуда, особенно после того, как все восемь месяцев он везде таскал меня за собой, вываливая тонны информации, за которую многое отдали бы наши конку-

ренты и налоговая инспекция. Вряд ли он успел наверняка понять, что я и есть его преемник, хотя какие у него оставались варианты? Не всегда человеку под силу предвидеть собственную кончину, и даже тесть с его неоспоримым чутьем был, по-видимому, застигнут врасплох в тот самый момент, когда костлявая гостья заключила его в свои смертельные объятия. Успел ли он пожалеть, что не вывалил на меня все тайны бизнеса? Тщетно борясь с асфиксией, тесть вряд ли вспомнил даже о собственной дочери, единственном родном человеке, которую он вырастил в одиночку, овдовев, когда маленькой Ребекке не исполнилось и десяти. Что мне еще оставалось? Разве что копировать поведения тестя: его речи, манеры, его ор и мат, от которого у меня за восемь месяцев развились невыносимые головные боли.

Я так и делал. Вызывал сотрудников поодиночке, собирал коллектив в полном составе, часами повторял одни и те же банальности, повышал голос и матерился. Ну и вовсю прибежал к собственному ноу-хау, успешно изображая амнезию на имена сотрудников. Я и сам удивлялся, когда понял, что все это прекрасно работает. В напуганных взглядах моих подчиненных читался иррациональный страх, словно их предыдущий босс и не умер вовсе, а перевоплотился, вселился в новое тело – более молодое, но с таким же поганым нутром.

Оказалось, управлять компанией просто, если ты ее владелец. Контроль над финансовыми потоками и страх сотрудников потерять работу – вот ключи к успеху, и эти ключи, выпав из охладевших рук тестя, попали прямо в мой карман. Иногда я действительно нащупывал в кармане Ключ, крепко, до боли в ладони сжимал его и, незаметно переведя дух, вновь принимался орать на перепуганных подчиненных.

Официально компанию унаследовала Ребекка, но это лишь подтверждало и без того очевидный факт: нет и не может быть у «Фортус Констракшн» иного владельца, кроме мужчины. В этом смысле Ребекка оказалась просто идеальной супругой. Незаметной, апатичной и совершенно не интересующейся делами. К счастью, последнее относилось не только к бизнесу. Она верила в экстрасенсов, магию и болтовню мамаш на детской площадке, хотя иногда мне казалось, что она просто притворяется, стремясь понравиться таким же состоятельным бездельникам, убивающим время в свои обычные «резиновые» дни. Даже клятву в супружеской верности – прямо в постели в брачную ночь – она взяла с меня лениво и как-то формально, совсем как руководство компаний.

– Все, что наше, теперь и твое. А вот ты теперь – только мой, – прошептала она и, клянусь, никогда больше и вида не подавала, что хоть на толику сомневается в действенности своего ритуала.

Поразительно, но неубедительное заклинание Ребекки и в самом деле работало безотказно первые пять лет брака, будто по гарантии. Интрижку на стороне я завел лишь тогда, когда отношение ко мне как к серьезному бизнесмену успело устаканиться не только среди запуганных подчиненных. Я уже вовсю приятильствовал с владельцами ресторанов, мог в любое время позвонить хозяину сети автозаправок и владельцу четырехзвездного отеля в центре Кишинева, и даже многие депутаты молдавского парламента слышали мое имя и знали, какой компанией я управляю. При всем этом Ребекке я впервые изменил, пытаюсь получить очередной кредит.

Мою первую любовницу звали Викторией, она была старше меня на четыре года и возглавляла отдел по работе с корпоративными клиентами в «Молдмегабанке». Поначалу все выглядело так, словно скупающая и избалованная бизнес-леди в очередной раз пожелала развлечься. Вскоре я начал не без удивления замечать, что дни без наших встреч кажутся мне провальными, хотя по финансовым показателям компании этого нельзя было сказать. Виктория не ленилась постоянно менять наряды, макияж и даже прически – последнее стало невыносимо раздражать меня в облике собственной жены.

– Ты можешь как-то по-другому подстричься? – ошарашил я как-то ее, осознав, что не представляю Ребекку с не мальчишковой прической, которую раньше считал вершиной сексуальности.

Ребекка ничего не ответила, но и не подстриглась, не изменив себе даже после прямого намека собственного супруга. Что ж, в разгар романа с Викторией это обстоятельство меня полностью

устроивало. Пожалуй, я даже был благодарен ей, и не только за прекрасно проведенное время. Оказалось, что сам факт наличия любовницы раскрепощает куда круче, чем большие деньги. Подъезжая к дому Виктории, я не стеснялся парковался прямо у подъезда, а выходя из машины, снимал темные очки: вот он я, что сейчас будет, завидуйте!

Поэтому когда Виктория исчезла из моей жизни – ее перевели с повышением в Прагу, в головной офис реальных владельцев якобы отечественного банка, – я не мог избавиться от мысли, что наше расставание – лишь начало более серьезных испытаний. Моя раскованная эйфория быстро перетекла в состояние депрессии.

Я даже стал подумывать о разводе и о том, что неплохо бы бросить все – семью, бизнес и улететь куда-нибудь на край света. В Лондон или на какую-нибудь Шри-Ланку, куда угодно, лишь бы освободиться от рутинных обязательств, в которые быстро превратились неудержимые удовольствия. Я даже купил билет на самолет в Прагу, не пытаясь связаться с Викторией, рассчитывая непонятно на что, как за два дня до вылета Ребекка сообщила, что беременна.

Так восемь лет назад у нас родилась Мишель, наша дочь и наш первенец.

– Что за дурацкое имя? – простонала Ребекка.

Не прошло и часа, как закончились роды, а я уже приготовил своей благоверной первый сюрприз – имя для дочери. Я загадал его заранее, решив, что назову дочь первым женским именем, которое услышу по радио. Виктор вез меня на объект, в машине заиграла битловская «Мишель» – что ж, вердикт был окончательным и обжалованию не подлежал. Вернувшись домой, я на радостях поставил оригинальный винил «Белого альбома», за который отвалил не менее пятисот евро.

– Дурацкое? Уж кто бы говорил! – я даже повысил голос на Ребекку, все еще бледную, со взмокшими неопрятными волосами, разметававшимися на покрытой влажными пятнами больничной подушке.

Ребекка молча отвернулась, я же молча поцеловал ее в плечо, липкое и костлявое. Все произошло так, как повелось у нас с самого начала. Ей нужно было время, совсем немного, чтобы принять мою идею как свою собственную. Принимая во внимание экстраординарные обстоятельства, я даже помолчал с минуту.

– Мишель, – прошептала Ребекка регистраторше, оформлявшей свидетельство о рождении, и бросила на меня косой взгляд. Я морщил лоб, делая вид, что в моем смартфоне есть вещи куда более важные в тот самый момент, когда решается, как будут звать моего первенца.

Когда же у нас с женой с самого начала рождались одинаковые мнения, мы испытывали друг к другу искреннее недоверие. Через три года после рождения Мишель у нас появилась вторая дочь, и в этот раз я не стал торопить события. Из роддома Ребекку с ребенком выписали через четыре дня, и лишь после этого, синхронно набрав на смартфонах имя, каждый на своем и каждый – какое захочет, мы одновременно развернули друг к другу экраны. «Анастасия», увидел я на телефоне Ребекки, и то же самое прочла жена на экране моего айфона.

– Я разве тебе говорила? – удивилась Ребекка.

– Я что, сказал это вслух? – одновременно спросил я.

Мы даже не рассмеялись. Из детской комнаты раздался плач, и Ребекка, вскочив с дивана, понеслась к ребенку, облегчаться от распиравшего ее молока. Я вытянул ноги и выдохнул, впервые за пять дней, прошедших с начала схваток у супруги, вспомнил о Корнелии.

И еще я улыбнулся, подумав о том, что о моей новой любовнице не знает ни одна живая душа.

Роман собственноручно направил Корнелию в мою постель. В то время мы еще верили, что не просто делаем деньги, а развиваем экономику, и раз в год выбрасывали на воздух что-то около пяти тысяч долларов, и все ради участия в строительной выставке. Мы командировали на стенд

молодых сотрудниц, которые ждали выставку целый год и даже интриговали по мере ее приближения. Девушки из кожи вон лезли, чтобы получить неделю отдыха – от офиса и матерящегося шефа, – пить с утра до вечера бесплатный кофе и всю кокетничать с зеваками, которые и составляли большинство посетителей выставки. Сотрудницы не разбираясь разбрасывались буклетами, ничуть не комплексуя от мысли, что деньги компании, в которой им посчастливилось работать, уже через мгновения оказываются в мусорных урнах в виде скомканных и не читанных рекламных материалов.

Само собой, моя нога даже не ступала на территорию выставочного центра. Хозяину компании нечего делать там, где клерки чувствовали себя в своей тарелке. Единственное, что я себе позволял – затребовать отчет, наглядно демонстрирующий абсолютную убыточность данного мероприятия. Лишь однажды мне позвонили прямо с выставки: менеджер Лилия решила, что может вот так, запросто прервать обед генерального директора. Мне даже пришлось устроить разнос начальнику отдела снабжения, в подчинение которого состояла Лилия и который допустил утечку номера моего мобильного, этой роскоши, непозволительной для обычного менеджера.

– Откуда эта тупица взялась? – спросил я начальника снабжения, потирая висок, притворяясь, что его имя – Александр – как нельзя некстати вылетело у меня из головы.

Александр только развел руками, обозначив проблему, которой все мы в последней инстанции объясняем наши неудачи. Кадровый голод, ничего не поделаешь. Передо мной на столе лежала визитка Романа, и именно Роман вынудил Лилию нарушить субординацию, потребовав там и тогда, прямо на выставочном стенде, передать начальству его личное почтение.

– Молодец, что не отказала и не потеряла визитку, – сказал я Александру. Но все-таки субординация – то, на чем держится компания. Иначе – бардак и хаос.

Лилию уволили через две недели, выплатив премию за работу на выставке – о первом, как и о втором, я распорядился лично. После чего я набрал номер мобильного, указанного на визитке. Оказалось, что Роман – один из ведущих дизайнеров интерьера в Молдавии.

– Вот как, я и не знал, – удивился я в трубку.

– Все нормально, – успокоил меня приятный голос и предложил встретиться.

Они пришли вместе, и позднее, когда у нас с Корнелией намечались споры и недомолвки, я всегда приводил этот довод. Предъявляя претензии своему мужу, он сам привел тебя ко мне, говорил я. Довольно скоро я понял, что это Корнелия не отпустила Романа одного на ту самую встречу в ресторане «Хорен», где от кисловатого аромата хачапури у меня начиналось слюноотделение даже после плотного застолья, когда за стол я усаживался с намерением выиграть переговорную битву одной-двумя чашечками эспresso.

Внешне Роман и Корнелия были антиподами в той же мере, в какой полностью дополняли друг друга. Я всегда считал свою внешность неприлично рафинированной для своей страны и тем более для строительного бизнеса. Роман же поразил внешностью актера из фильмов не для всех – скорее польских, чем французских. Копна соломенных волос, короткая фигурная борода, мохнатые бакенбарды ниже ушей, – Роман совсем не походил на гомофоба, каковым в действительности оказался. Дизайнер Дэн был скорее исключением в штате его компании и свою ориентацию перестал скрывать лишь недавно, осознав, что без его услуг агентство «Винтериум» загнется под валом сложнейших проектов.

Корнелия оказалась выше мужа на полголовы, лицо у нее было плоским, нос крупным, а лодыжки – широкими, навевающими мысль о коровьих голяшках для холодца. Последнее обстоятельство – достаточный аргумент, чтобы с такой женщиной у меня не было никаких отношений. Еще в юности я игнорировал даже писанных красавиц, имевших анатомическое несчастье родиться с невидимой щиколоткой, терявшей в полноте голени. Именно лодыжкой, словно ненароком, Корнелия слегка коснулась моей ноги, отчего от икроножной мышцы неудержимая дрожь пробежала у меня по всему телу.

Говорил в основном Роман, я же с трудом удерживал внимание на теме разговора. Бросая короткие взгляды на Корнелию, я кивал, то и дело хватаясь за стакан с водой, подспудно надеясь, что в отличие от тестя, стакан поможет мне если не выжить, то хотя бы скрыть это неожиданное влечение. Я шел на встречу как хозяин положения, но чем дальше я продирался сквозь лаконичность Романа и чувственность Корнелии, тем больше понимал, что без этих людей не выжить. Ни мне, ни «Фортус Контракшн».

Корнелия неторопливо поправила волосы, и я не выдержал, задержал на ней взгляд дольше, чем мог себе позволить. А ведь Роман прав, дизайнеры интерьера и строительные компании – естественные союзники на рынке. Корнелия гулко вздохнула. Они разрабатывают дизайн, мы строим по их макетам. Это не конкуренция, это взаимное развитие, разве не так? Корнелия посмотрела мне прямо в глаза, и струйка пота с щекоотанием устремилась вниз по спине. У нас действительно возрастет число заказов: дизайнеры будут направлять своих клиентов к нам, рекомендуя «Фортус Контракшн» как надежных партнеров, способных в полной мере реализовать их творческие замыслы. А что мешает нам отвечать взаимностью, отправляя к дизайнерам наших клиентов? Корнелия закусила верхнюю губу, едва заметно покачиваясь на стуле из стороны в сторону. На меня она не смотрела, отлично понимая, каково это мне – смотреть в глаза ее Роману.

– Ты уже тогда знала, что у нас будет вот это все?

Голова Корнелии лежала на моей груди, я знал, что она улыбается, возможно, находя забавным мое сердцебиение.

– По-моему, я как могла, намекала тебе о своих планах.

– Странно. И зачем тебе это надо было?

– Дурак, что ли? – подняла голову Корнелия. – Откуда я знаю, почему мне чего-то хочется?

Мы меняли дома свиданий, а наши фирмы занимались взаимным оплодотворением – клиентами и проектами. Принципиальные решения мы принимали вдвоем, не вылезая из постели и не переставая наслаждаться друг другом. Похоже, мы с Корнелией нашли идеальное сочетание личного и делового, ничуть не жалея, что в этом уравнении отсутствуют наши законные супруги.

Во время последнего свидания она сразу переходит к делам, даже не позволив притронуться к себе.

– Что это вообще было? – выдает Корнелия сквозь зубы.

– Не понял.

– Все ты понял!

Корнелия, мечущаяся за стеклом, вскипающая от негодования, взрывающаяся из-за неизвестности, от воплощения самого безумного из всех сценариев, при котором ее выставляет из кабинета собственный муж ради разговора с ее же любовником. Я мгновенно потею, понимая, что меня ждет не кокетливое препирательство, а самое настоящее выяснение отношений. Открытый конфликт без единого шанса для моей обмякшей персоны.

– Послушай, но я же не был против твоего присутствия. Это Роман...

– Муж мне все рассказал, – перебивает она. – Или ты сомневался?

– Ладно, – пытаюсь я снизить накал. – Это хорошо, что рассказал.

– Кто она?

– Что, прости?

Корнелия издает странный звук, какой-то рычащий выдох, и все для того, чтобы не повторять вопрос, который не приносит ей ничего, кроме страдания.

– Какая еще она, Корнелия? – доходит до меня. – Что ты выдумываешь?

– Жене своей сказки рассказывай!

Такого в моей жизни еще не было. Любовница, приревновавшая меня к другой воображаемой любовнице. Любовница, презирующая мою жену за попустительство к моим изменам, ничуть не смущенная тем, что ее-то это касается в первую очередь.

– Я в шоке, – качаю я головой, ничуть не преувеличив.

Я действительно в замешательстве, при этом испытываю странное воодушевление. Не слишком ли далеко зашли мы в наших отношениях? Не появится ли она на пороге моего дома с чемоданами вещей и не выпалит ли в лицо ничего не понимающей Ребекке, что бросила мужа и теперь мы будем вместе до конца наших дней?

– Корнелия, это совсем другая история, – ловлю я себя на том, что перед женой мне никогда не приходилось оправдываться подобным образом. Никаких «это не то, что ты думаешь» Ребекка от меня пока еще не слышала.

– Зачем тебе квартира аж в Каушанах? Только не надо про гостиницу, ладно?

– Не гостиница, – уточняю я. – Апартаменты в стиле квартиры шестидесятых. Ты видела новость, что Кишинев вошел в десятку европейских городов для воркэйшна?

– Для чего?

– Воркэйшн. Комбинация слов «работа» и «отпуск» на английском. Удаленная работа в другом городе, даже в чужой стране. Я-то думал, вы с Романом точно в курсе этих дебильных модных словечек.

– Нет, не в курсе, – перебивает Корнелия, явно недовольная тем, что я увожу разговор в сторону.

– Нет, правда, – настаиваю я. – Кишинев в европейской десятке, ты разве не слышала?

– Ну а ты тут при чем?

– Вот я и подумал. Квартира в райцентре, лучше всего хрущевка, чтобы аутентичность зашкаливала. Восстанавливаем интерьер, чтобы максимально соответствовал обстановке брежневских времен, ну или хотя бы конца восьмидесятых. И создаем целую сеть таких мини-отелей, как раз для иностранцев-удаленщиков. Раз уж рынок на подъеме.

– А почему не в Кишиневе?

– С этими ценами на недвижимость? Чтобы инвестиции мои правнуки отбивали? А в таких вот райцентрах и воздух свежее, к тому же пиццу и нормальный кофе везде научились делать. Будем развивать туризм не только в столице, еще и гранты отхватим, вот увидишь!

– Кто это, интересно, отхватит?

– Я понимаю, – говорю я, и Корнелия впервые за вечер позволяет обхватить себя за талию. – Мне стоило для начала обсудить с тобой. Но понимаешь, дорогая, я не хотел терять время, а идея, по-моему, лежит на поверхности. А вдруг ты бы сказала, что все это бредовые растраты?

– Почему? – явно оттаивая, дуется Корнелия.

– Вот я и решил, на свой страх и риск. Начнем с Каушан, там тупо по дороге такая классическая хрущевка подвернулась. Двухэтажная, два подъезда, восемь квартир. Я-то бывал в таких, помню, что там и как. Рома сделает дизайн, привезет все эту совковую утварь, в которой он, кстати, реально сечет. Запустимся, а там посмотрим. Пойдет – реально сделаем сеть вместе, почему бы нет?

Притянув Корнелию, я зубами хватаюсь за пуговицу на ее блузке.

– Не сейчас, – ноет она, но я уже переломил ход сражения в свою пользу.

– Кстати, – говорит Корнелия и глаза ее застилает привычная поволока, предшествующая идеальному шторму страсти, – если нужно разрешение, скажи. Мы недавно сделали интерьер дома примару¹ Каушан.

5

Кажется, это началось, когда нашей младшей дочери исполнилось два года. Я мысленно занимался нехитрой арифметикой – складывал годы Анастасии и Мишель и судил дочерей по общему возрасту этого воображаемого ребенка. Сейчас моим дочерям на двоих тринадцать, а я и понятия

¹ Примар в Молдавии – мэр, градоначальник. Примария – мэрия.

не имею, как должна вести себя девочка в этом возрасте. Или в тринадцать уже девушка, так ведь получается?

– Пап, когда ты подпишешься на мой тик-ток?

Это просит Анастасия, Мишель же только презрительно фыркает.

– Что не так? – моментально цепляюсь я к старшей, лицо которой вытягивается и бледнеет.

– Что, я тебя спрашиваю?

Анастасия в свои пять не в силах скрыть торжествующей улыбки. Сидя за кухонным столом, она болтает ногами и легонько подпрыгивает на стуле. Мишель готова разрыдаться, но держится молодцом и даже находит силы ответить, тихо и без надрывных ноток.

– Сам посмотри, что там у нее, – советует она.

Тем же вечером тик-ток младшей дочери мы смотрим вместе с Ребеккой, и жена заливается смехом, при том что ролики Анастасии не стали для нее откровением.

– Нет, ты только посмотри! – в приступе веселья Ребекка утыкается носом мне в шею.

Я и смотрю. Вот дочка перепрыгивает с крыши одного гаража на другой, всего лишь четвертой по счету после трех других девочек, но сердце у меня екает именно во время ее прыжка. Вот все они, Анастасия и ее подружки, ритмично вытанцовывают в парке на Комсомольском озере, и у меня возникают два вопроса: откуда у пятилетних девочек взялся танец с такими неприличными движениями и как так получилось, что дети оказались одни в парке на другом конце города?

– Ты была с ними? – уточняю я, но Ребекка лишь мотает головой, продолжая смеяться.

Ты что, идиотка? Слова едва не вырываются у меня из глотки, но я лишь улыбаюсь, на пару с женой радуясь успехам нашей младшенькой, которая растет не по дням, а по часам и может похвастаться целыми девятнадцатью тысячами подписчиков по всему миру.

– Ребекка что, идиотка? Куда она смотрит?

Корнелия возмущается, не вылезая из постели, искренне, как совсем незадолго до этого была так же непосредственна в своей страсти. Я уже жалею, что показал ей тик-ток дочери, мне хочется сказать хоть слово в защиту жены, но я так и не решаюсь.

– Да они все сейчас такое снимают, – бормочу я, но Корнелия и не думает отступать.

– Да мало ли! Родители-то куда смотрят? – говорит она, явно имея в виду не меня.

А ты со своим Ромой о чем думаешь, думаю я. Мы хоть детей завели, а вам стоило хотя бы у врачей провериться. Может, не все так безнадежно, и вы сможете оставить после себя не только деньги, интерьеры и награды, которые вам вручают точно такие же дизайнеры.

Я думаю о детях, когда не знаю, что ответить Корнелии, и вспоминаю о Корнелии, когда меня донимают дети. Последнее происходит после пяти минут пребывания в компании моих любимых дочерей.

Обычно мы с Ребеккой практикуем вахтовый метод. Супруга отвозит дочерей в школу и в детский сад, ходит с ними в кафе, водит на детские площадки и на дни рождения. Я тоже отвожу детей в учебные заведения, правда с водителем и не чаще нескольких раз в месяц. Столько же, сколько гуляю с ними по парку или просто лежу на шезлонге на газоне у дома, исполняя нелегкий отцовский долг, иногда отрывая взгляд от смартфона, чтобы убедиться, что дочери не подрались, пока их мать занята в спа-салоне. В полном составе наша семья выбирается разве что в кинотеатр – вероятно для того, чтобы два часа провести в темном зале, не общаясь друг с другом и даже не видя родные до боли лица.

Иногда я чувствую себя крысой, загнанной двумя безжалостными кошками, в ролях которых выступают, конечно, мои милые девочки. Нам гулять еще полчаса, а Мишель с Анастасией, будто сговорившись, прячут свои проклятушки смартфоны и нацеливают на меня две пары глаз прямо посреди парковой аллеи. Бегство невозможно, я должен держать удар здесь и сейчас.

– Ну пожалуйста, пап, – мстит мне Мишель за все прошлые обиды. – Расскажи что-нибудь интересное.

– Да, пап! – подпрыгивает на месте Анастасия, легко покупаясь на плаксивые нотки в голосе старшей сестры. – Хоча интересное!

Пару раз я уже попадал пальцем в небо, начиная рассказывать дочерям анекдот и прерываясь на полуслове, вспомнив, что скабрзную концовку не заменить, даже если вставить любимую всеми детьми «какашку». Поэтому на случай двойной атаки дочерей у меня заготовлена одна из историй, которые навсегда остались в моей памяти.

– Ладно, – сдаюся я. – Хотите, расскажу, как я похоронил доллар?

Переглянувшись, дочери одновременно издают восторженные возгласы, перепугав голубей, которые в надежде на подаяние уже довольно долго сопровождают нашу прогулку. Вздохнув оттого, что еще на одну историю для экстренных случаев вот-вот останется меньше, я начинаю свой рассказ.

6

На время летних каникул меня посещало откровение. Пока во дворе бабушкиного дома стоят тополя и беседка, все будут живы и ничего страшного не случится. С сентября по май я спасал ближайших родственников сложной операцией в нашей с родителями квартире, в сумраке пожирающей детскую комнату ночи, лежа под одеялом на левом боку. На настенном ковре я выбирал четыре неровных квадратика, всегда одни и те же, со второго по шестой, из бесконечного ряда таких же квадратиков, терявшихся в темноте на пути к моим запутавшимся в одеяле ступням. Коснувшись квадратиков поочередно, слева направо и наоборот, с шестого по второй, я успевал перечислить всех главных людей своей жизни: маму, папу, бабушку, дедушку, бабушкину сестру, неизменно добавляя «и остальные». После этого шепотом произносил одну и ту же фразу – «будь по-моему», – и утром следующего дня не мог определить, когда именно после произнесения заклинания проваливался в забытие, был ли это уже сон или еще фрагменты реальности, от которых я вздрагивал и открывал глаза, чтобы теперь уж точно уснуть – сразу и глубоко.

Летом все было иначе. Я ночевал у бабушки с дедом, в квартире, где мы с родителями прожили до моего пятилетия. Здесь для изучения ковра, висевшего на стене у кровати, мне приходилось поворачиваться на правый бок, но пользы это не приносило. В ковровом орнаменте не содержалось никаких знаков, прикосновение к которым принесло бы семье столь же убедительную протекцию, как ковер в родительской квартире. Должно быть поэтому я и доверился виду из окна во двор, не менявшемуся задолго до моего появления на свет, когда моя мама еще была школьницей, бойкой, веселой девчушкой, с двумя пышными бантами на русой головке.

Едва продрав глаза летним утром, первым делом я семенил, босиком и в одних трусиках, к раскрытому окну, локтями упирался в широкий подоконник и мелко подрагивал от оживляющей прохлады. Уткнувшись носом в потемневшую от ржавчины сетку от комаров, я пересчитывал огромные, похожие на сказочных великанов, тополя, каждый из которых мог разнести бабушкину двухэтажку как игрушечный домик из тонкой фанеры. Их было пять, этих гигантских тополей, стволы которых мы с пацанами могли охватить разве что втроем, соединившись в круговой хоровод, цепляясь друг за друга кончиками пальцев. Зеленая беседка посреди грозных деревьев не выглядела беззащитной, скорее напоминала мелкую старушенцию, которую беспрекословно слушались сыновья-амбалы. У нашей беседки таких «сыновей» было пятеро, а их гигантские кроны надежно защищали ее как от беспощадного июльского солнцепека, так и от грозовых майских ливней.

В то утро я не сделал главного, не успел пересчитать тополя и мысленно кивнуть беседке. Виновником внезапной отмены моего ритуала стал незнакомец, бродивший по двору и что-то высматривавший в траве. Приглядевшись, я понял, что знаю его. Незнакомцем оказался дядя Толя, мужчина, пожилая мать которого жила в двухэтажке напротив, в квартире на первом этаже. Покрутившись у беседки, он направился к дому своей матери, скрывшись за гаражом дяди Саши,

нашего соседа по подъезду, умудрившегося впихнуть посреди двора длиннющий металлический дом для своего автомобиля так, что его боковая сторона уперлась в тыльные стенки выстроившихся в один ряд скромных соседских сараев. Я было выдохнул, но лишь на считанные мгновения, после чего разразилась форменная катастрофа.

Первым делом затряслась яблоня, частой и страшной дрожью. Ее верхушка возвышалась над дальним углом дяди Сашиного гаража, и ничего более родного для меня не было из всей нашей дворовой растительности. Когда яблоня была саженцем метра полтора высотой, мы с отцом посадили ее в углу двора, под крохотным некрашеным палисадом, за которым заканчивался наш двор и начинался двор соседний – с узкой полосы засаженной зеленью земли, переходящей в цоколь дома напротив. Мне тогда было лет пять, но воспоминание сохранилось так, будто мы с отцом позировали невидимому фотографу, запечатлевшему момент посадки яблони. Я держался за ствол деревца, корни которого уже были присыпаны влажным черноземом, рядом стоял улыбавшийся отец с огромной жестяной лейкой. Яблоня росла неторопливо, и первые яблоки, мелкие, червивые и кислые, я попробовал лишь классе в шестом. Вымахав с годами, яблоня сохранила юношескую стройность, хотя по ее, яблоневому, летоисчислению вероятно все еще оставалась младенцем. Она была скромницей, моя яблоня, и я никогда прежде не видел, чтобы хоть у кого-то из соседей поднялась рука вцепиться в ее грациозный ствол.

Я ойкнул и присел под окном, мысленно умоляя дядю Толю о двух вещах: немедленно оставить мою яблоню в покое и столь же быстро исчезнуть, уйти, испариться с нашего двора. Вцепившись в подоконник, я медленно подтянулся – так, чтобы видеть происходящее во дворе, но самому при этом оставаться незамеченным. Как оказалось – только не для дяди Толи.

– Эй! – крикнул он, глядя мне в прямо глаза, стоило моей голове едва появиться в проеме окна. – Я знаю, ты дома!

Снова рухнув под подоконник, я развернулся, больно ударившись голой спиной о чугунную батарею. Сгиснув зубы, чтобы не зарыдать, я уткнулся носом в колени и зажмурился.

– Будь по-моему, будь по-моему! – пробормотал я беззвучно, одними губами.

– Мальчик! Как тебя там?

Я задрожал, вспомнив, что с утра бабушка собиралась в магазин – отстоять очередь за привозной сметаной. Дед в те годы еще шоферил на камазе, и так вышло, что после пробуждения я оказался в квартире совсем один, в заложниках у знакомого, но совершенно постороннего мужчины, топтавшего траву вокруг беседки, которую – и это знали все жильцы – позволено лишь щипать курам, которых соседи выпускали во двор, не советуясь друг с другом и все же соблюдая негласную очередь.

– Родители дома? Маму позови!

Он, должно быть, был ровесником моих родителей, и только этим я мог объяснить, откуда дядя Толя точно знал, что может безбоязненно и даже развязно что-то требовать от меня, не опасаясь, что за ребенка вступится бабушка – сразу и не задумываясь, как она обычно и поступала.

– Чего орешь? Толя, ты, что ли?

Неожиданная помощь пришла с первого этажа. Тетя Надя, жена дяди Саши и мать моего друга Миши, услышала непривычные возгласы, метавшиеся от нашего дома к соседнему и обратно.

– Доброе утро, Надюша, – слова дяди Толи едва долетели до моих ушей, таким тихим и глухим вдруг стал его голос.

Медленно, чтобы опять не попасться, я выглянул во двор – из нижнего угла окна и только одним глазом.

– Пьяный, что ли? – тетя Надя ничуть не стеснялась прилюдно позорить дядю Толю. – Что ты пристал к ребенку?

В ответ дядя Толя пробормотал что-то совсем уж невнятное, и даже приложив ухо к сетке от комаров, я не расслышал ни слова.

– Ключ? – прокричала тетя Надя. – Так смотреть надо было, растяпа! Ребенок тут при чем?

Решив, что опасность миновала, я допустил роковую ошибку: выпрямился во весь рост и даже повис над полом, упершись ладонями в подоконник.

– Вот он! – радостно всплеснул руками дядя Толя, увидев меня таким – голым до пояса, едва не вываливающимся из окна. – Спустился на минутку, а? Пожалуйста!

Все было кончено, я сам загнал себя в ловушку. Не помню, как и во что я оделся, зато запомнил свои летние сандалии и язычок пряжки, который я вогнал себе под ноготь, застегивая обувь дрожащими руками. Помню, как не мог попасть ключом в дверь, не решаясь нарушить бабушкиного наставления – не оставлять входную дверь открытой даже в том случае, если собираюсь вернуться в квартиру после первого же и единственного в подъезде лестничного пролета. Помню дородную тетю Надю, которая вывалилась из своей квартиры, встретив меня своей обычной беззастенчивой улыбкой между раскрасневшихся щек.

– Ключи, говорит, потерял, – радостно передала она мне очевидное вранье, которым дядя Толя запудрил ей голову. – Ты у нас вечно по двору бродишь, не находил?

Мотнув головой, я пошел к выходу, жалея о том, что не могу прошмыгнуть мимо пышно-го тела тети Нади в ее квартиру. Проскочить в большую комнату справа от коридора, забиться в дальнем углу, между сервантом и шкафом-стенкой, где я как-то застрял, когда мы Михой увлеклись игрой в прятки.

Волшебное утро большого школьного лета расцветало райским садом, но все, что я видел – это дьявол в человеческом облике с лицом дяди Толи, к которому я приближался неминуемо, как приговоренный к плахе. Впервые в жизни я видел его так близко, и его усы, его казавшиеся образцово-капитанскими усы вблизи оказались обвисшими и беспомощными, будто их обладатель примчался сюда прямо из-под душа, не успев как следует высушить и расчесать растительность над верхней губой.

– Ты был с Геной? С моим Генкой? Вас видели в этом дворе.

С Геной, который учился на два класса старше, не то что заговорить – на глаза ему я старался не попадаться. Когда выдавался несчастливый день и доводилось наткнуться на Генку с его свитой в школьном коридоре, лучшим решением было прижаться к стенке, не поднимая глаз, и желательно задержать дыхание. На Гене всегда были идеально выглаженные брюки и накрахмаленная рубашка, пионерский галстук сидел ровно как на картинке, и сам он выглядел круглым отличником, гордостью школы и первым претендентом на поездку в «Артек». Школу он обходил с хозяйским видом, не вынимая руки из карманов брюк, в сопровождении трех-четырех друзей, от одного вида которых становилось ясно, что им ничего не стоит растереть по стене школьного коридора любого, кто хотя бы посмеет бросить на Гену косой взгляд.

Слова его отца поразили меня – настолько, что чувство страха во мне сразу притупилось. Правда, не настолько, чтобы позволить себе дерзость, за которую ребенок вроде меня вполне мог рассчитывать на подзатыльник, пусть даже не сбивающий с ног.

– Я не... мы не... никто не видел, – пробормотал я.

– Бабушка видела, – дядя Толя кивнул на дом своей матери и вздохнул. – Старая калоша. Половину не видит, половину не понимает.

Я был потрясен. До этого я и предположить не мог, чтобы кто-то из родителей назвал мою бабушку «калошей», даже мыслей таких не могло возникнуть. Я даже решил, что женщина из дома напротив – фальшивая мать дяди Толи, а самого его усыновили, взяли из детдома в младенческом возрасте.

– Я не находил ключей, – отчеканил я неожиданно для себя.

– Да какие там ключи? – дядя Толя вздохнул и уставился куда-то вдаль с выражением отчаяния во взгляде. – Ты точно Генку не видел?

– А вы сами его спросите, – совсем осмелел я, и, к моему удивлению, дядя Толя не то что не рассердился, а скорее даже растерялся.

– Да я бы спросил, – развел он руками, – только куда он, засранец, делся?

– А что, он что-то натворил? – я уже чувствовал себя хозяином положения и собирался, как только дядя Толя отправится восвояси, выпустить кур во двор, несмотря на категорический запрет деда пасти домашних птиц в его отсутствие.

– Да как сказать, натворил. Потерял кое-что и, видимо, в вашем дворе.

Я замолчал, бросив взгляд на окно Михиной квартиры. Оттуда доносилось ворчание раскаленного на сковороде подсолнечного масла. Еще немного, и двор наполнится кухонными ароматами середины лета, и прежде всего – запахом жареного болгарского перца. Тетя Надя тяжело сновала по кухне туда-сюда, словно позабыв о нашем с дядей Толей существовании. Я молчал, и лишь сейчас понимаю, что мое тогдашнее молчание было не по-детски зрелым решением. Пускай дядя Толя сам раскроет карты. Он и раскрыл.

– Слушай, может ты видел, – сказал он. – Бумажку такую, она зеленого цвета. На одной стороне портрет мужика посередине. Дедок с седой густой шевелюрой. Если найдешь, ну вдруг, не показывай никому, ладно? Пойдешь к Гениной бабушке, знаешь, где она живет?

– Вон в том доме.

– Шестая квартира, первый этаж, – охотно уточнил дядя Толя. – Я ей оставлю десять рублей, понял?

– Угу, – не понял я.

– Деньги для тебя, – дядя Толя нависал над моим ухом. – Только никому ни слова. Принесешь бабушке Лиде бумажку – получишь целых десять рублей.

Я попытался перевести сумму, которую никогда до этого мне не доверяли ни родители, ни бабушка, во что-то понятное, но ничего не получалось. Сто порций мороженого в вафельном стаканчике – это, понятно, пятнадцать рублей, а вот с десятью выходила напряженка. Кажется, кому-то из одноклассников купили аквариум с рыбками за десять рублей, или все же за пятнадцать?

– Хорошие же деньги, – удивился моему замешательству дядя Толя, и я встрепенулся, очнувшись от своих подсчетов.

– Да-да, – сказал я. – Я принесу бумажку, если найду.

– Прошу тебя, – лицо дяди Толи скривилось в просительной гримасе. – Никому ни слова, договорились?

Конечно, договорились. Главное, меня никто не собирался таскать за ухо, стегать ремнем или докладывать моим родителям, что однажды – а больше такого случалось – видел, как за сараем я затыгиваюсь кем-то недокуренной сигаретой.

Я нашел зеленую бумажку почти сразу после того, как ушел дядя Толя. На всякий случай я не стал ее подбирать, а сделал несколько кругов вокруг беседки – убедиться, что дядя Толя не подглядывает за мной из-за угла и, главное, тем же самым не промышляет тетя Лида, его старая как калоша мать.

Для верности я еще побродил по двору, ворошил траву, переворачивал опавшие листья, незаметным движением подхватив бумажку и сунув ее в карман. После чего продолжил свои постановочные поиски, то и дело наклоняясь к земле и пожимая плечами. Совершенно обнаглев, я подошел к яблоне и уставился в окно тети Лиды. Стоял я так с минуту, не заметив в окне никакого движения, зато понял, почему раскачивалась яблоня. Вероятно, общаясь с матерью через двойные рамы ее окна, дядя Толя схватился за ствол дерева, жестами компенсируя отсутствие звука, пытаясь получить от пожилой женщины подтверждение того, что все, что она наболтала сыну – не более чем старческий бред.

– Доллар? А кто тебе сказал про доллар?

Я не сразу понял, что отец не столько удивлен, сколько напуган моим вопросом. Хорошо, что я не додумался продемонстрировать ему найденную у беседки бумажку, ограничившись вопросом, действительно ли доллар – это американский рубль и что его можно продать за десять рублей.

– Слышал от пацанов в школе, – соврал я.

– От каких?

По работе отца часто вызывали в райком, после чего он возвращался домой в двух состояниях. Или бледным и подавленным, или хорошо выпившим. Кажется, от его внезапного допроса я так же стал бледнеть и понятия не имел, что должен ответить.

– Что ты пристал к нему? – вступилась мама.

Дело было вечером, я пришел ночевать в квартиру родителей, примерно раз в неделю во время каникул делая такое исключение. Поводом для ночевки в родительском доме на этот раз стала перспектива отлежаться в горячей ванне; в бабушкиной квартире я мог рассчитывать лишь на холодный душ, после которого весь тесный санузел оказывался полностью мокрым, от унитаза до прорезиненной корзины с грязным бельем. С собой я принес рюкзак, забитый привычными мальчишескими аксессуарами: потертыми кроссовками, потрепанным футбольным мячом, потной футболкой и опустевшей флягой из-под воды. Необычным компаньоном моих футбольных принадлежностей в тот раз стал спичечный коробок, завернутый в серебристую фольгу.

– Я просто спросил, – сразу отступил отец, голос которого становился тише и тоньше при первых признаках маминого недовольства.

– Так и он спросил, – заметила мама. – Просто спросил, сколько стоит доллар.

– Ну, на это легко ответить. Шестьдесят копеек за один доллар. В газете «Известия» каждую неделю курс публикуют.

– Идиот, – выдохнула в сторону мама так, чтобы ее не услышал отец.

Зато ее услышал я, и это надломило мой детский мир – между прочим, вторично за один день. Что бы не происходило, я знал, что мама и папа всегда за меня, но еще сильнее – друг за друга. От этой их неделимой связи и мне было спокойнее. Мама оскорбила отца, а ранила меня – в самое сердце. А еще я понял, что дядя Толя недалеко от истины, и десять рублей, которые он посулил за найденный доллар были, возможно, и недостаточной компенсацией, но уж точно не как в газете «Известия» – грабежом среди бела дня.

Перед сном я едва успел перепрятать обернутый в фольгу коробок в ящик с игрушками, как в комнату вошел отец. На пороге он обернулся, неслышно закрыл за собой дверь, как делал каждый раз, когда заходил пожелать мне спокойной ночи – в отличие от мамы, которая в это время уже спала.

– Ты еще не лег? – тихо спросил он, хотя я еще и не думал раздеваться.

Отец вздохнул, почесал голову, и если до этого сон уже стучался над моей головой, теперь его как рукой сняло.

– Ты пойми, – отец словно продолжил начатый ранее разговор, – я не хотел тебя пугать, но ты должен знать, с чем можешь столкнуться.

Признаться, после этих его слов я испугался еще больше.

– Ты же знаешь, доллар – это американские деньги, у нас они запрещены. Ну, как запрещены, – поправился он, – у нас на них нельзя ничего купить. И даже показывать их никому нельзя.

– Почему, пап?

– Ну как почему? Потому что Америка – враг Советского Союза. Ну, как враг... Может, и не враг. Да и не враг, наверное. Там тоже много хороших людей, которые хотят мира. Вон, Чарльз Хайдер сколько недель уже голодает.

Папа ударил в точку. Ежедневные репортажи в программе «Время» о несчастном бородатом дядечке, который объявил голодовку под стенами Белого дома, вызывали в моей детской душе бессильную злобу. Мне до дрожи стало стыдно, что в двух шагах от нас с папой, под завалами моих любимых машинок, пистолетиков, воланчиков и пистонов, лежит купюра, которой может не хватить для спасения жизни знаменитого голодающего.

– Просто хочу, чтобы ты знал, – сказал папа. – Никогда не касайся незнакомых денег. Любая купюра, кроме наших рублей, может быть подброшена нехорошими людьми, даже шпионами. Может быть, даже отравлена, понимаешь?

– Я не касался, – пробормотал я и сразу сообразил, что прокололся.

На мое счастье, именно в это мгновение отец вернулся к отправлению традиционного ритуала перед сном. Улыбнувшись, он обнял меня и поцеловал в макушку.

– Ты уже большой мальчик и должен знать, какие опасности могут ожидать во взрослом мире, – сказал он. – Спокойной ночи, сынок!

– Спокойной ночи, пап.

Лучше бы вместо отца в комнату ворвалась мама и наорала на меня. От папиных слов, сказанных мягким, почти плюшевым тоном, мне стало совсем не по себе. Я не боялся шпионов, не страшился чьих-то рук в черных перчатках, мнявших эти проклятые зеленые бумажки, прежде чем приступить к своим черным делам. Эти руки окунали доллары в неглубокие пластмассовые ванночки – в таких мы с отцом проявляли фотографии в ванной комнате, при тусклом свете красной лампы. Не пугала меня и мысль о самолете-разведчике, с которого ворох отравленных долларов разлетается в небесах, и бумажки долго и хаотично носятся где-то там, в вышине, пока не спикируют на нашу советскую землю.

Глядя в темное окно, я цепенел от другого, куда более страшного кошмара. Я чувствовал, что внутри меня, в животе, в груди или даже в коленях происходит что-то жуткое, от чего нет спасения. В горле пересохло, во рту появился металлический привкус, я понимал, что еще чуть-чуть – и начнется: из моего тела полезут кривые корневища, похожие на заросли кораллов. Пробирая кожу, они будут расти изнутри, пока не опутают меня всего, и то же самое будет одновременно происходить с родителями. Мы будем умирать медленно и страшно, истекая кровью, без криков и стонов, ведь наши легкие будут насквозь изрешечены, а голосовые связки разорваны.

Однажды я уже умирал подобным образом, когда родители, переглянувшись, одновременно потянули руки к моему рту, над которым я было занес сладкий сырок с изюмом. Почему-то из всех бед радиации после недавнего Чернобыля, главную опасность папа с мамой видели в тех немногочисленных продуктах, которые я поглощал с неподдельным удовольствием. Теперь же радиация напомнила о себе неожиданным образом, и безжалостное облучение всей семьи, несмотря на саркофаг из фольги, самолично возведенный мной вокруг коробка с долларом, страшило гораздо сильнее, чем яды, нанесенные на купюры американскими диверсантами. Я понял, что должен вернуть доллар, как можно быстрее и безо всякой компенсации.

На следующее утро, поразив маму безропотной расправой над порцией ненавидимой овсянки, я поспешил во двор бабушки, прихватив с собой заветный коробок. Местом передачи доллара я выбрал яблоню – само собой, не понимая символичную закольцованность собственного решения. Воспользовавшись реквизитом из ясельного периода, желтым пластмассовым совком с отбитым уголком, я выкопал, а точнее, выковырял под яблоней скромную ямку, глубиной как раз под спичечный коробок. Дождавшись, пока под черноземом скроются блики фольги, я аккуратно принимал землю ладонями. Поднялся, отряхнул почерневшие колени, кивнул окну, где жила мать дяди Толи, и для верности помахал рукой.

В одном я был уверен. Тюль за оконным стеклом даже не колыхнулся.

Примар Каушан пялится в мою визитку, и я, так и быть, даю ему дополнительное время, сам же использую вынужденную паузу для осмотра его рабочего кабинета. Совсем недавно здесь был ремонт, и, хотя характерные запахи успели выветриться, меня не проведешь: на свежеекрашенных стенах нет ни пятнышка, кое-где на плитусах остались полоски строительного скотча, да и мебели в кабинете по минимуму, начальственный стол и пять стульев, на одном из которых я восседаю напротив градоначальника. Правда, картину над его головой уже успели повесить, и это – портрет Штефана Великого. Молдавский господарь почему-то нарисован в стиле вышивки, что

только усугубляет возникшее у меня предчувствие, что все в этом кабинете, несмотря на свежий ремонт, – временное, и вряд ли продержится больше года.

Примар так долго хмурился, изучая мою визитку, что я вынужден нетерпеливо откашляться. Перед ним на столе внушительная папка с документами, которую я положил еще до того, как извлечь из бумажника картонный верительный прямоугольник со своими контактными данными.

Я не обманываюсь тупым выражением лица примара, прекрасно понимая, что своими пальцами он мнет визитку вовсе не от собственной глупости. Да и лицо его, не отягощенное интеллектом – такой же необходимый элемент карьеризма, как ничем не ограниченная непорядочность. Пожалуй, он даже переигрывает, когда шевелит губами, делая вид, что читает по слогам. Он так же, как и я, берет паузу, и совсем не для того, чтобы проводить визуальный аудит состояния кабинета. Примар сканирует посетителя, не глядя на собеседника, пытается просчитать, какие риски несет этот визит, и главное, какой навар ему с этого будет?

Я слишком много видел таких как он, проходимцев с тупыми лицами и беспредельной наглостью. С ними у меня один разговор, предельно доброжелательный и беспощадно напористый. Я не перестаю улыбаться, даже когда перехожу к скрытому шантажу или к прямым угрозам. Когда беседа заходит в тупик и дело пахнет мордобоем, я с широкой улыбкой заявляю, что могу уйти хоть сейчас, вот только вместо меня придут, и очень быстро, другие, куда менее улыбочивые люди. Кто это, бандиты или знакомые из прокуратуры, уточнять нет смысла – для всех очевидно, что разницы между ними никакой.

Я обожаю такие истории еще и потому, что они для меня – лишний повод закрутить гайки в родном коллективе. Затишье перед бурей – это не только о погоде, но и о нравах сотрудников «Фортус Констракшн». От длительной благостной тишины я не жду беды – я ее предупреждаю. Играв на опережение, стараюсь не допустить ситуации, когда после долгого штиля вдруг начинается самое неприятное, что можно ожидать от подчиненных. Первым с просьбой о повышении зарплаты является самый забитый сотрудник, тот самый, который на собраниях боится отворачивать взгляд от будто вросших в поверхность стола собственных рук. Первый робкий камешек, за которым начинается целый камнепад просьб, требований, претензий, заявлений об увольнении по собственному желанию – только успевай уворачиваться. Поэтому я делаю ход первым, вызывая первого попавшегося менеджера на доверительную беседу.

Я поручаю, да что там поручаю – прошу его оказать компании услугу, которая под силу только ему. Представить «Фортус Констракшн» на переговорах с клиентом, договор с которым – уже факт, причем в буквальном смысле, на бумаге, в двух экземплярах, с подписями и печатями. Моему менеджеру знать об этом не обязательно. На встречу он отправляется в полной уверенности, что от его талантов, так красочно расписанных его боссом, о которых он и сам не подозревал, зависит не только успешное заключение сделки, но и его собственное карьерное будущее – разумеется, головокружительно-блестящее. Клиенту я сообщаю нечто противоположное. Именно, что один из моих менеджеров направляется к ним в офис с, в общем-то, рутинным поручением: на месте согласовать ответственных лиц за исполнение работ согласно заключенного договора. Сам же я запираюсь у себя в кабинете с чашечкой кофе, ложусь на диван, закинув ноги на спинку, и ожидаю начала шоу.

После всего неизбежного, после всех этих звонков с вопросами, с проявлениями недоумения и разочарования, я спешу заверить, что произошла нелепая ошибка. Что менеджер был направлен в офис другого заказчика, с совершенно иным поручением и прошу клиента немедленно, без выяснения подробностей, выставить его за дверь, разумеется, с соблюдением приличий. Затем приказываю секретарше найти Виктора, чтобы тот сейчас же, без промедления, доставил меня лично в офис клиента.

Спустя пару дней, в течение которых мои подчиненные переговариваются исключительно шепотом и ходят разве что не на цыпочках, наступает время горячего блюда. Я созываю собрание, на которое прихожу с мрачным и, пожалуй, даже растерянным выражением лица. На подчиненных

стараюсь не смотреть, не отрывая невидящего взгляда от бумаг перед носом. Хотя посмотреть, признаюсь, соблазн велик. Увидеть эти бледные наглые рожи, мечтающие уже не о повышении зарплаты, а лишь об одном – чтобы их не вытурили из компании ко всем чертям.

Я заявляю, что крайне разочарован. Что надеялся, верил в то, что у нас – одна из лучших и самых профессиональных команд. Что мне есть на кого положиться, что мои менеджеры – образец креативности и инициативности. Что я могу не появляться в офисе днями и даже неделями, зная, что компания – в надежных руках моих соратников. В руках людей, ради которых не жалко никаких денег, потому что в отношении них действуют куда более ценные категории – профессионализм и доверие. И вот простое испытание провалено, а с ним провален не просто конкретный проект, нет! Завалено целое направление, на которое я как руководитель возлагал такие надежды!

Перед поездкой в Каушаны я не планирую подобные представления, не доверив никому из подчиненных даже намек на собственные планы – по крайней мере, до поры до времени. Когда примар наконец отрывает взгляд от визитки, его лицо приобретает предельно скорбное выражение. Я не злоупотребляю своими знакомствами, лишь на пороге отрекомендовав себя тем самым директором строительной компании, насчет которого ему звонила Корнелия. Но теперь, когда он опасливо косится на папку, которую я по-хозяйски бросил ему на стол, ничто не мешает мне перейти в наступление.

– Эта гостиница, – говорю я, – уникальный проект ретро-отеля, который мы планируем создать по всей стране. Начать решили именно с вашего замечательного города.

Примар поджигает губы, толстые карикатурные губы, нелепо обрамляющие маленький рот.

– В нашем городе три гостиницы, – замечает он. – А квартир сдают тысячи полторы, не меньше. Особенно, как после начала войны понаехало этих...

Он вздыхает, словно ему лично пришлось договариваться с владельцами квартир о заселении украинских беженцев.

– Это другое, – нетерпеливо поясняю я. – Мой личный проект с солидными инвестициями пока в пилотном варианте. Одна квартира, которую я случайно заприметил, проезжая через ваш замечательный город. Там идеальная локация, аутентичные виды – ретро как оно есть. Вот только одна проблемка.

Наши с примаром взгляды сходятся, причем в одной точке. На моей папке, лежащей на его столе.

– Именно так, – улыбаюсь я. – Рад, что мы понимаем друг друга.

Примар поднимает глаза, и я, не встретив в его взгляде и намека на то, что наши мысли движутся параллельными курсами, машинально лезу в карман – быстрее схватиться за спасительный Ключ.

– Можно побыстрее? Меня люди ждут.

Он смотрит на часы, и хотя приемная за моей спиной совершенно пустая, крыть мне, откровенно говоря, нечем. Люди могут ждать примара где угодно, даже на другом конце города.

– Чистая случайность, конечно, – говорю я. – В том смысле, что мы это все обнаружили. С другой стороны, в нашей компании мы ничего не планируем, пока не убедимся, что с формальной точки зрения все чисто.

Тут я, наконец, беру папку со стола, демонстративно взвешивая ее на ладони.

– Полсотни страниц нарушений. Только сумасшедший будет инвестировать в этот бардак.

– Стоп, секунду, – перебивает примар. – Вы на прием пришли или с проверкой, я что-то не понял? Вы кто такой?

– Я от Корнелии, – напоминаю я, но примар, похоже, не на шутку разволновался.

– Секунду, – повторяет он. – Вы кто такой?

– Вы так подробно изучали мою визитку, – улыбаюсь я, чувствую в груди неприятный хлопок.

Кажется, я перегнул палку, и это – тот еще сюрприз. В то же мгновение происходит что-то странное. Будто кто-то невидимый, даже неосязаемый, появляется в кабинете. Хуже того, он был здесь все это время, слышал весь наш разговор. Мне хочется обернуться, но встретившись взглядом с примаром, я убеждаюсь, что этот неосязаемый действительно слышит и видит все, что здесь происходит, и что он – человек, которым когда-то был сам примар.

Воспоминания накрывают меня как пыльная буря, оседают тяжелыми облаками песочной пыли, которая поднималась каждый раз, когда кто-то из нас, разгоряченных и грязных мальчишек, вместо мяча вонзался ступней в кочки на футбольной площадке спортгородка через дорогу от бабушкиного дома. Из ворот, которые я занимал сколько себя помню, – первоначальные уговоры ребят переросли в убежденность в моем вратарском призвании, – моему взору открывалось разнообразие возрастов и физических данных, от малолетних шкетов до пузатых лысеющих мужиков. Последние не стеснялись в выборе средств физического воздействия на малышню, годившуюся им в сыновья или даже во внуки, компенсируя неповоротливость и потерю скорости толчками в корпус и банальными подножками.

Он мало изменился с тех пор, в том смысле, что был, в отличие от меня, узнаваем. Даже Ребекка, глядя на фотографии моего класса, никогда не находит меня с первого раза, и даже интересно, смогла бы Корнелия узнать меня в том большеголовом тощем мальчишке с прищуренным взглядом, словно это ему одному, а не всему классу, светило солнцем прямо в лицо.

Вряд ли он существенно вымахал в длину, вот разве что предсказуемо стал крупнее, словно фигуру того пацана из моих воспоминаний загородила увеличительная лупа. Все остальное было точно таким же, как и тридцать лет назад: прямоугольное лицо с массивным подбородком, набухшие губы, обрамляющие крохотный рот, светло-голубые глаза с крохотными зрачками-точками. Тупой, пронзительно-ядовитый взгляд, который я успевал поймать за мгновение до того, как мяч отскакивал от его головы, и вот уже я, как по команде, вытягивался в прыжке с одной целью – не дать всколыхнуться сетке ворот за моей спиной.

– Дорин? – я словно окликаю старого знакомого, выловив его взгляд в уличной толпе. – Спортгородок, футбол. Не узнаешь меня?

– Почему, узнал, – говорит примар, ничуть не меняясь в лице.

Коротко, но громко хохотнув, я хлопаю папкой о стол примара, а ладонью другой руки – себя по ноге.

– «Роллинг Стоунз», да?! – в горле у меня моментально пересыхает, а вот глаза, напротив, влажнеют.

Я помню тот далекий день, когда решил притащить на спортгородок магнитофон, переносной однокассетник оранжевого цвета, купленный в Кишиневе на центральном рынке. Магнитофон начал фонить при первом же прослушивании, а наличие двух встроенных колонок не предполагало наличие стереозвука. Годы спустя, обставив дом акустикой «Маршал», заполнив шкафы оригинальными винилами от «Парлофона» и «Пате Маркони», я как дурак каждый раз удивлялся, обнаруживая новые звуки, аккорды и многоголосия в миллион раз слышанных вещах, там, где оранжевый друг моей юности не был в состоянии распознать их и воспроизвести для моих ушей.

Кассета, которую я поставил ребятам после футбола, была пиратским сборником «роллингов» первой половины шестидесятых. Я купил ее летом девяносто пятого в кишиневском «Детском мире», в месте, который знали все столичные меломаны тех лет. В крохотной стеклянной будке, встроенной слева от входной двери в магазин. К тому времени мне уже осточертели «квинны», и ничего лучше «Дорз» во всей мировой музыке не было и не предвиделось.

Черная этикетка новинки сразу бросилась в глаза, я поначалу даже решил, что продавец втиснул на полку с кассетами пачку сигарет. В небольшой кружок посреди черного прямоугольника поместились лица всех «роллингов», и именно из-за этой фотографии, нечеткой и будто выцветшей, я решил на покупку сборника группы, о которой без запинки мог изложить лишь два фак-

та: что в истории рока это коллектив номер два, и что, кроме «Satisfaction», я вряд ли припомню какую-то другую из их песен.

Кассета не выпрыгивала из моего магнитофона все лето, и я просто не мог не инфицировать этой заразой еще кого-то. Я врубил «роллингов» после игры, когда все мы, грязные и вонючие, наглотавшиеся песка и пота, пили, не разбираясь, из своих и чужих бутылок, нагревая и без того знойный воздух своими горячими дыханиями. Дорин был единственным, кто увязался за мной, и всю дорогу до моего дома мы так и шли втроем: я, он, и оранжевый магнитофон на моем плече, устроивший в тот вечер британское вторжение на непуганные каушанские улочки через тридцать лет после завоевания Америки. Три или четыре раза, покупая в «Детском мире» кассеты «Роллинг Стоунз», я приобретал два экземпляра, себе и Дорину, который неизменно ждал моего возвращения, зажав в ладони мятые купюры.

Потом Дорин исчез – с футбольного поля и из моей жизни, не появляясь в ней до того момента, когда я узнаю в нем примара своего родного города. Мне сложно совладать с ушаченым сердцебиением, с этой воодушевляющей стенокардией. Я чувствую, что взорвусь, если не выворюсь прямо сейчас.

– Дружище, – говорю я, – давай начистоту. Никакой гостиницы не будет. Это квартира моего детства, и я хочу ее купить.

Я замолкаю, чувствуя, что мне не хватает дыхания от подкатившего к горлу огромного комка. Мысленно посчитав до пяти, я все же овладеваю собственным голосом.

– Когда я увидел, во что превратили дом моего детства... Хочу купить квартиру и сделать ее такой, какой она была в моем детстве. Это ведь первый случай, когда к примару приходят с такой идеей?

Кашлянув в кулак, Дорин наклоняется, чтобы поднять из-под стола бутылку с водой.

– Ну а кому еще, как не владельцу строительной компании, реализовать ее? – радостно упражняюсь я в остроумии.

Рассмеявшись, я жду, пока Дорин сделает неторопливые глотки прямо из бутылки. Мы двое – как деловые партнеры из прошлого, ударившие по рукам тридцать лет назад, но так и не скрепившие договор подписями. Сегодня этот день наконец настал, и изменить той прежней священной клятве – значит изменить себе, не меньше.

– Все будет так, как сорок лет назад, – обещаю я. – И во дворе все верну как было.

8

За мячом, выскользнувшим из рук и поскакавшим к гаражу, я рванул не раздумывая, с самоотверженностью, превосходившей все мои вратарские навыки. Стоявший рядом Миха только и успел, что издать какой-то шипящий звук, но опасность миновала прежде, чем мы успели ее толком осознать. Я остановил мяч в прыжке, приземлившись одновременно на локти и колени.

– Эй!

Михин отец, монументальный дядя Саша, смотрел на меня с высоты своих двух метров и полутора сотни килограммов, не испытывая ни капли благодарности к другу своего сына, разодравшему кожу до крови лишь для того, чтобы не навредить его прихоти, за воплощением которой мы с Михой наблюдали все утро, отложив священное, на период летних каникул, утреннее времяпрепровождение – футбол на двоих с комментированием.

Впрочем, оно того стоило, и царапины в том числе. У боковой стенки металлического гаража, на крохотном раскладном табурете сидел человек с длинными растрепанными волосами, уже одной прической не похожий ни на одного из жильцов бабушкиного дома. Перед ним, прямо на траве, стоял диковинный чемодан то ли из дерева, то ли из необычайно плотной лакированной фанеры. Из-под откинутой крышки открывался вид на внутренний мир чемодана, сплошь со-

стоявший из разноцветных кружочков краски, которых человек на табурете то и дело касался длинной, как стрела лучника, кисточкой.

К тому моменту, когда мяч выскользнул у меня из рук, примерно треть гаражной стены превратилась во фрагмент будущей картины. По горизонтали изображение делилось на две неравные части. Большую верхнюю половину занимали узкая полоса неба и сразу под ней – осенний лес, в нижней же части угадывался водоем, в водах которого весьма правдоподобно искажались элементы из верхней половины. Художник рисовал мелкими мазками, и когда я, лежа с мячом в обнимку в двух шагах от гаража, чувствуя боль и жжение в локтях и коленях, поднял глаза, то ничего не смог разобрать, кроме цветного мельтешения на листе металла.

– Пошли, – тихо скомандовал Миха, потянув меня за руку.

Я не стал спорить, а послушно заковылял за ним, полностью полагаясь на Михины ожидания от дальнейших реакций его отца, человека, регулярно опровергавшего представление о том, что великаны и толстяки – непременно великодушные добряки. В спорные моменты от дяди Саши лучше было держаться подальше, и спортгородок через дорогу от дома был идеальным временным убежищем.

До обеда мы все же успели погонять мяч, а учитывая мои утренние травмы, можно сказать, что ежедневную норму мы выполнили на все сто. Я не покидал ворот, Миха же носился как угорелый, отдавал пасы и сам же принимал их, послушно подчиняясь течению репортажа, комментатором которого, как обычно, выступал я сам. Вот Оскар Руджери пасовал на Батистуту, который отправлял в прорыв Бурручагу, проход которого прерывал Томас Бертольд. Овладевший мячом Андреас Бреме длинным пасом выводил один на один Пьера Литтбарски, удар которого в прыжке блестяще отражал Пумпидо. Я вставал, отряхивал песок с садины на локте, но праздновать не было времени – Миха в роли Лотара Маттеуса бежал на подачу углового, и я, все еще в роли вратаря Пумпидо, комментируя эпизод, одновременно выбегал на перехват, надеясь успеть прервать передачу до того, как Миха окажется в центре штрафной после своего же паса, но уже превратившись в Карла-Хайнца Румменигге, центрфорварда, которого боялись защитники и вратари лучших команд планеты.

Не переигрывая финал чемпионата мира, мы вклеивали собственную страницу в историю противостояний сборных Аргентины и Германии. Кто-то назовет ее подделкой, но для нас, выдохшихся на жару пацанов, она была такой же реальностью, как редкие репортажи по центральному телевидению. Со спортгородка мы возвращались счастливыми, каждый по-своему переживая лучшие моменты матча. Финты Марадоны, имевшего уйму моментов, но ушедшего с поля без гола, не забитый Бреме пенальти, а главное, потрясающий гол Бурручаги, забитый Михой в падении через себя после того, как я отбил мяч кулаком по непростительно высокой траектории.

Во дворе нас ожидало еще одно чудо, подсыхавшее на стенке гаража под жгучими летними лучами. Художнику оставалось не больше метра в правой части полотна, но картина, во всех смыслах, была ясна. Чем ближе к моей яблоне пересаживался художник на своем табурете, тем выше и ближе к зрителю становились деревья, тем меньше места доставалось небу и реке. В средней части картины, чуть ближе к ее левому краю, виднелась крохотная фигурка автомобиля, который – и это было понятно без пояснений – мчался вдоль реки по лесной опушке. Эта фигурка, темно-болотного цвета, изображала «бобик» дяди Саши, реальный близнец которого стоял здесь же, в гараже, прямо за стенкой, на которой подсыхал его миниатюрный портрет на фоне пейзажа настолько живописного, что старенький армейский газик выглядел по меньшей мере хаммером из заграничной туристической рекламы.

– Как быстро пролетело время!

Разделяет ли Дорин мой печальный вывод? Скорее, его настораживает мой мгновенный переход к рассуждениям о быстротечности бытия от конкретного обещания перелопатить двор детства. Но меня уже не остановить.

– Кстати! – восклицаю я. – «Роллинг Стоунз» выпустили новый альбом. А ведь им всем за восемьдесят!

Я хочу еще добавить, что оригинальный винил уже занял одно из почетных мест в моей коллекции, что пластинку по предзаказу я получил из Лондона уже на третий день после официального выхода, и что до этого я, как истинный меломан, разве что уши не затыкал, лишь бы не опочить свой слух цифровым звучанием до того, как игла проигрывателя коснется божественного винила. Но примар возвращает меня к реальности.

– Квартира на Матеевича – частная собственность. Не понимаю, чем я могу помочь.

– Разумеется, частная, – тянусь я к папке. – Могу даже сказать, когда она была приватизирована. В каком году по наследству перешла к моей маме и когда – продана новым хозяевам.

– А примария тут при чем?

– При чем? – переспрашиваю я, шурша листами в папке. – Ну вот, например. Градостроительный сертификат... Так, здесь все в порядке... А, вот! Заключение кадастровой службы. Шестнадцать нарушений при перепланировке объекта. Или акт проверки строительной инспекции – зачитать?

Дорин поднимает бутылку с водой, неспешно, без малейшей дрожи в руке и также степенно отхлебывает из нее.

– Есть определенная законом процедура, – напоминает он. – Вы можете обратиться к нам с жалобой на основании предоставленных документов, и примария обязательно ее рассмотрит. Разрешительные документы на перепланировку конкретного объекта выдавались до меня, но мои коллеги с удовольствием проанализируют, были ли допущены нашими предшественниками какие-либо нарушения.

– Дорин...

– И еще. Давайте все-таки не переходить на личности, – он едва заметно улыбается. – Даже если когда-то мы были знакомы.

Предыдущую фразу он произносит чересчур складно, будто читает с экрана, но делает это свободно и естественно. Словно в безнадежно устаревшем компьютере запустили простейшую, все еще рабочую программу, после закрытия которой машина снова превращается в рухлядь из пластика, проводов и полупроводников.

– Что-то пошло не так, – вслух констатирую я. – Так мы потеряем уйму времени и вряд ли добьемся результата.

– Ну это же вам надо.

– Да, конечно. Я просто думал, раз уж выяснилось, что мы не просто земляки...

– Один совет, – перебивает Дорин и его лицо становится сосредоточенно-цепким. – Лучше не соваться в эту квартиру. К этим людям.

– Знаете, меня в нашей беседе уже ничего не удивляет.

– Это просто совет.

Я уже точно знаю, что буду делать дальше. Схема известная, испытанная годами. Если не срывает административный ресурс, сгодится финансовый фактор. Обычно в таких ситуациях я не церемонюсь, быстро сворачивая разговор, иногда даже не прощаясь. Но со знакомым детства я, так и быть, расстанусь по-своему элегантно.

– В любом случае благодарен, – говорю я, поднявшись со стула, – хотя бы за нахлынувшие воспоминания. Их не купишь ни за какие деньги. И, кстати, отвечу советом на совет, – добавляю я, внутренне покаявшись, что никогда больше по собственной воле не увижу это лицо, – не стоит тебе, Дорин, слушать новых «Роллинг Стоунз». Забей.

От примарии до Церкви Успения идти не больше минуты. В детстве до этого памятника архитектуры шестнадцатого века мы добирались куда быстрее, на санках стартуя от подножия

лестницы, по которой посетители поднимались в здание горсовета; слово «примария» пришлось выучить после распада Союза. Обычно снежная трасса проходила вдоль невысокого, утепленного временем в землю церковного забора, сложенного из массивных ракушечников. Порой от некоторых из нас отворачивалась фортуна, санки сходили с наезженной трассы, и тогда в лучшем случае ты перелетал через средневековое ограждения напрямик во двор церкви, отряхиваясь и отплеываясь от снега, радуясь тому, что о камни разнесло ветхие санки, а не твою мальчишескую голову.

Бросив взгляд на ауди, оставленный на пустующей парковке перед воротами церкви, я прохожу мимо двухэтажной хрущевки, на вид – точно такой же, ради которой и пришлось затеять весь этот балаган. Когда-то в этот дом влетел автомобиль, груженная фура, водитель которой не справился с управлением и с обычным ультиматумом хозяина груза: или доставка в срок, или оплата скоропортящихся товаров из собственного кармана. От аварии на доме остался гигантский цементный шрам, тянувшийся от цоколя до середины первого этажа, по счастью, не задев оконный проем. След был явным и неоспоримым свидетельством происшествия, в отличие от школьных рассказов, что именно этой дорогой Пушкин ехал к швейцарцу Тардану – провести пару-тройку беззаботных дней на морском побережье, в дружеских беседах, любовных авантюрах и дегустациях шабских вин.

Заметно обветшавшее здание ресторана – в свое время единственного во всем городе, где, по семейной легенде, родители обедали лишь однажды и, разумеется, без меня, – я бы мог приобрести прямо сейчас, пусть и ценой заметной дыры в бюджете «Фортус Констракшн». Но сегодня на повестке дня другой финансовый вопрос: какую сумму предложить за бабушкину квартиру после провальных переговоров в примарии? И почему эта идея не пришла мне в голову пару лет назад, когда цены на недвижимость не взлетели до небес, и за деньги, которые теперь придется потратить на покупку квартиры, я мог бы купить все восемь квартир в хрущевке своего детства?

Я двигался к своей цели параллельно дороге, по которой несколькими днями ранее ехал, сидя на заднем сиденье того же самого ауди, то и дело вгоняя Виктора в стресс. Сегодня с моих плеч словно гора свалилась: я шел пешком по родному городу, куда приехал один, без водителя и необходимости вернуться в офис не позже обеда. Фиаско в кабинете Дорина придало мне дополнительную легкость, я был готов торговаться, весело и остроумно, пусть даже в ущерб финансовой стороне будущей сделки. Меня удивляло все: и бывший дом детского творчества, переделанный под офисы успешных разориться контор, и мост через речушку Лунгу, из бетонной плиты вместо прежних скрипучих досок, и даже газетный киоск, стоявший на том самом месте, на углу почты и первой школы.

Сделав еще с десяток шагов, я замираю, не веря своим глазам. Над школьным забором нависают тяжелые ветви, которые здесь, в этом месте, могут расти из ствола только одного дерева – белой шелковицы, каждый год в первой половине лета бомбардировавшей тротуар у забора ягодными метками, которые до самой осени не срывались даже после проливных дождей. Удивительно, но сейчас, остановившись под кроной старой шелковицы, я чувствую себя гораздо ниже, чем тогда, почти полвека назад, когда ее юные ветви отчаянно пригибались под тяжестью каких-то двадцати килограммов моего мальчишеского тела.

Шелковица пережила не только мою молодость, но и многих моих ровесников. Даже забор, казавшийся вечным школьный забор из тяжелых выбеленных бетонных тумб с пирамидальными наконечниками, соединенных решеткой из вечно выцветшего металла, с фигурами олимпийского мишки и персонажей из советских мультфильмов, заменили нахально-высоченными металлическими балками, соединенными горизонтальными брусами, выкрашенными в грязно-серебристый цвет. Не знаю, будут ли после увиденного меня и дальше посещать сновидения, в которых тот старый забор был неизменной декорацией, да и хочу ли я его видеть снова.

Это сон я вижу всю жизнь, хотя и не могу припомнить, в каком возрасте он приснился мне в первый раз. Во сне я вижу себя ребенком четырех-пяти лет, с трудом вращающим педали трех-

колесного велосипеда. Через узкую калитку школьного забора, между теми самыми бетонными колоннами я кое-как заезжаю во двор школы, где и начинается самая жуть. Память не работает во сне, и проживая свое видение снова и снова, я цепенею от ужаса, как старик с деменцией, которому раз в неделю попадают на глаза леденящие кадры одного и того же фильма ужасов. Что-то необъяснимо тяжелое нависает надо мной, над головой этой крохотной фигурки на велосипеде – настолько, что я не в силах задрать эту самую голову, чтобы взглянуть вверх, в лицо опасности. Один посреди школьного двора, я не в состоянии даже слезть с велосипеда, и всякий раз сон прерывается за мгновение до того, как со мной, с этим малышом, произойдет что-то непоправимое. Не помню, снился ли мне хоть раз двор моего детства, но оказавшись в нем, я понимаю, что если пробуду здесь с полчаса, восстанавливать будет нечего: воспоминания окажутся начисто стертymi печальной реальностью.

Я сразу замечаю старую беседку посреди двора, наполовину загороженную кроной ореха, посаженного неизвестно кем и непонятно когда. Когда-то беседка была почти синей, потом зеленой, теперь ее выкрасили в розовый цвет, и сделали это лет пятнадцать назад, отчего беседка больше походит на руины дворового сортира нелепой конструкции. Дядя Шашиного гаража и след простыл, вместо него теперь – забетонированная площадка, простирающаяся под окна соседнего дома, похоронившая не только воспоминания о бегущем по лесной опушке «бобике», но и место, где когда-то возвышалась моя яблоня и где теперь над долларом в спичечном коробке возведен монументальный цементный саркофаг.

Линии на бетонной площадке честно размечают равные места для пяти автомобилей, в наличии из которых имеется лишь один – красный ниссан; вместо остальных машин подняты парковочные барьеры. Площадка упирается в трехметровую бетонную стену, возведенную на месте деревянных сараев. В левый нижний угол бетонной стены вмонтирована одинокая дверь, из-за чего конструкция напоминает неуместную в этой обстановке авангардную инсталляцию, за которую, возможно, вступился бы Роман, если бы проект переустройства двора стал реальностью. Точно такая же дверь заграждает вход в наш подъезд, который в детстве всегда был открыт, а дверь – ту прежнюю, деревянную, подпирали камнем.

Теперь он заперт на замок, не нахожу я и звонка, и потому уверенно барабаню костяшками по дверному металлу. Обе квартиры на первом этаже кажутся необитаемыми, окна разве что не заколочены досками, и если с жилищем тети Жени – старой кошатницы и алкоголички, жившей под нами – это объяснимо, то запустение в Михиной квартире навевает горькую тоску.

– Эй! Есть кто живой! – задрал голову, я отступаю на пару шагов назад.

В ответ громынуло окно, но не в нашем подъезде, а в соседнем. В четвертой квартире на втором этаже, там, где когда-то проживала одинокая тетя Лиза, мелкая сухонькая женщина, лица которой я уже никогда не вспомню.

– Добрый день! Вы не подскажете...

Вскинув ладонь, я осекаюсь, понимая, что никого не вижу в окне, шум которого вполне мог оказаться всего лишь эхом, грохотом ставней соседнего дома. Все-таки забавно, что впервые в жизни я не могу попасть в подъезд, где прошло мое детство. Повертев в кармане Ключ, я вижу, как дергается ручка двери и раздается – наконец-то! – лязганье дверного замка.

Невысокий лысоватый мужчина, в одной футболке, в затертых спортивных штанах, улыбается мне сквозь густые свисающие усы, переходящие в неопрятную щетину. Он явно старше меня, но я не берусь судить, разделяет нас пять лет или двадцать.

– Здравствуйте! – делаю я шаг ему навстречу. – Вы не из восьмой квартиры?

Он все же заметен старше, но, в отличие от меня, почти без седых волос. Усы его цвета мокрых опилок, смоль редких волос на голове и, в особенности, густая небритость придают лицу оттенок недавнего, но уже успевшего «отдохнуть» загара.

– Добрый день, – повторяю я, не дождавшись ответа.

Он все также улыбается сквозь усы, и эта затянувшаяся улыбка – верный признак того, что обмен информацией между нами будет непростым и, вполне возможно, бесполезным для меня.

- Вы в порядке?
- Из седьмой, – внезапно отвечает он на предыдущий вопрос. – А ты сын Петра?
- Что? Ах, да. Моего отца так зовут. А вы, простите?
- Умер он.

На пьяного мужик не похож, хотя на пьющего – определенно.

- Умер? Не-е-ет. Родители в Канаде больше десяти лет. Вы помните отца, да?
- Проиграл мне в долг двести леев. Так и не отдал.
- Вы, наверное, с кем-то путаете. Отец не играл в карты.
- В бильярд, мэй!
- Да он вроде и в бильярд не очень.
- Плохо играл. Они все плохо играли.

Я скольжу взглядом по окнам второго этажа в надежде подытожить это, прямо скажем, не самое плодотворное вступление нашего разговора.

– Давно здесь живете? – уточняю я, и мой собеседник разражается смехом, который не спутать ни с чьим другим. Дрожащий, рассыпающийся мелкой дробью смех, мелкие блестящие шарики, разлетающиеся из опрокинутой коробки. – Ион? Ты, что ли?

Он выдает вторую порцию смеха – совсем, надо сказать, не изменившегося за прошедшие десятилетия.

Так уж вышло, что первую встречу с Ионом я, как это сейчас понятно, запомнил на всю жизнь. В тот день в наши футбольные разборки на спортгородке вмешался пьяный взрослый. Такое уже случалось, и механизм защиты всегда был один. Вне зависимости от количества игравших, владевший мячом мальчуган брал мяч в руки, и мы врассыпную разбегались с площадки, на которую медленно оседали песочные облака. Действовало это безотказно, и уже минут через пятнадцать мы, не сговариваясь, возвращались на поле. К тому времени пьяный взрослый, побродив в одиночестве по полю, громко матерясь и пнув ни в чем не повинную штангу ворот, исчезал так же внезапно, как до этого появлялся.

В тот день один из нас нарушил правило, не успев остановить игру до того, как взрослый овладел мячом. Кто был этим клятвопреступником, уже и не вспомнить, тем более что после игры никому и в голову не пришло укорять неумеху. Выскочивший на поле Ион был скорее выпившим, чем агрессивно-пьяным, но уже через пару минут у большинства из нас голова шла кругом, будто это нам, малолетним балбесам, подлили спирта в бутылки с водой. Без конца рассыпая шарики своего смеха, Ион возил по полю всех нас, возмнивших себя наследниками Платини и Марадоны. Отобрав мяч без нарушений не было никакой возможности, да и от подножек Ион уворачивался с такой ловкостью, что любая попытка сбить его с ног грозила травмой лишь покушавшемуся на нелепого усатого мужичка с филигранной футбольной техникой. Лысеть, кстати, он начинал уже тогда, и кроме фактора старения, была еще одна причина, по которой я не узнал Иона сразу – небритость, которую он никогда не позволял себе в молодости, отчего его усы выглядели ухоженными и, пожалуй, даже привлекательными.

В нашу компанию он вписался сразу, играя в разной степени опьянения, мы же, юные простачки, не отдавали себе отчета в том, что обрели настоящего играющего тренера, поднявшего наш собственный уровень до невиданных прежде высот. Месяцы прошли, а может быть годы, но только в один из дней Ион поселился на одной лестничной площадке с бабушкой, в седьмой квартире, откуда он и спускается, чтобы открыть мне дверь в подъезд. Что еще нужно, чтобы душа, в которую плюнул примар, вновь развернула свои нежные меха?

¹ Восклицание «эй» (рум.)

– Держи, – вкладываю я в ладонь Иона двухсотлеевую купюру. – Отметишь потом нашу встречу.

Без удивления улыбаясь купюре, Ион вдруг грозит мне пальцем.

– Чего ты? – удивляюсь я. – Мы же соседи!

Но Ион продолжает махать пальцем, как обыватель, уверенный в том, что раскрыл все заговоры этого мира.

– Я не дурак, – говорит он. – Пенсию получаю.

– Мало, что ли? На вот еще!

Прислонившись к двери, Ион закладывает руки за спину.

– Ладно, – легко соглашаюсь я. – Между прочим, я не просто так приехал. Не будешь возражать, если снова станем соседями?

Не вынимая рук из-за спины, Ион мотает головой, и я понятия не имею, согласен ли он со мной или категорически возражает.

– А кто живет в восьмой? Кто хозяин?

Прикрыв глаза, Ион выглядит смертельно утомленным стариком, который оперся о дверь лишь для того, чтобы удержаться на ногах.

– Эй, дружище! – я хлопаю его по плечу, словно желая удостовериться, что он и в самом деле не лишится чувств. – С утра уже набрался, что ли?

– Убьет он тебя.

Голос Иона, неожиданно гулкий и трезвый, звучит еще более неожиданно, чем смысл сказанного им. Как не всматриваясь в заросли усов, за ними не разглядеть улыбки, она мгновенно улетучивается с его лица. Пустые глаза, бледность, которую не скрыть никаким загаром.

– Что ты несешь? Кто убьет? Он один, что ли, живет там?

– Убьет, как убил Турмалая.

– Что ты сказал? – переспрашиваю я, хотя прекрасно все расслышал.

Депутат Турмалай пропал без вести лет десять назад, и с тех пор о нем не было никаких известий. Машину депутата нашли на загородной трассе, кресла, стекла и обшивка были густо забрызганы кровью, которая, как показала экспертиза, действительно принадлежала депутату. Самого Турмалая не нашли, и признать его погибшим, несмотря на обилие крови, у полиции также не было оснований. Официально депутата ищут до сих пор.

– Иди сюда, – отпрянув от двери, Ион решительно тянет меня за руку.

Я выдергиваю руку, не особо заботясь о вежливости, но и повод высвободиться у меня самый что ни на есть законный. Звонит Корнелия, и пока Ион в своих шлепках движется прямоком к бетонной стене с одинокой дверью, я отвечаю на звонок, не успев при этом сказать ни слова. Вместо этого я слышу крики, ругань, плач, проклятия, вой и снова слезы своей любовницы, которые обрушиваются на меня так же внезапно, как если бы стена, выросшая на месте сараев, рухнула на мою голову. На мою несчастную голову, которая вот-вот и так взорвется, сдетонировав изнутри.

– Ты идешь, мэй?

У стены Ион оборачивается ко мне, но я вижу его словно во сне, в другом кошмарном сне, в котором никак не скрыться от погони, хотя спасительная дверь – вот она, в считанных шагах.

Сегодня Корнелия впервые не смогла попасть в собственный офис – из-за заблокированной карточки. Полонка исключена, карта действительно заблокирована, а программа управления входными картами расположена в одном месте – в телефоне Романа.

– Идешь? Забыл, как там тебя?

В окно кухни бабушкиной квартиры теперь вставлена широкая одиночная пластиковая рама с затемненным стеклопакетом. К той, деревянной раме, дед как-то прибил термометр, однажды ставший свидетелем температурного рекорда: плюс сорок четыре, причем в тени. В тот день мы с Михай вынесли во двор штук шесть трехлитровых банок с холодной водой, разделись до трусов и поочередно вылили на себя все содержимое. Заблокированной оказалась и зарплатная карта

Корнелии, а на электронную почту ей пришел приказ об увольнении, отсканированный документ на официальном бланке компании, с печатью и подписью ее собственного мужа.

– Вот здесь, мэй! – Ион бьет ладонью по стене так, будто возводил ее лично, собственными руками с поеденными грибком ногтями. – Турмалай здесь!

– Погоди. Секундочку.

Телефон подрагивает у меня в кармане, как от нервного тика от пропущенной через его динамики шокирующей информации. Теперь в него сыпятся сообщения от Ребекки, сплошные сканы, которые не успевают загрузиться, прежде чем вытесняются в ленте мессенджера последующими изображениями. Выписки из регистрационной палаты, доверенности, еще выписки, решения и, наконец, приказ об увольнении, в тексте которого я обнаруживаю собственное имя.

– Он тебя убьет. Мормон, слышал о таком?

Конечно, слышал. Киллера с этой кличкой знали все, кто хоть немного занимался бизнесом в Молдавии. В последние годы его имя вызывало улыбку, он был по-прежнему неуловим, но представлялся вышедшим в тираж призрак, все еще грозным на слух, но бестелесным, а значит, не таким уж и опасным. Мормон принадлежал к представителям исчезающей профессии, но, видимо, все еще получал заказы, которые подпитывались в том числе и тем, что у него почти не осталось конкурентов. Мне и в голову не приходило, что он мой земляк.

– Оплатил мои долги за газ, мэй! А это что? – Ион протягивает мне зажатую в кулаке мою же купюру.

– Постой здесь. Никуда не уходи, ладно?

Я покидаю двор в ритме спортивной ходьбы, но на перекрестке замираю, все так же держа телефон на ладони. Убийца Мормон, живущий в восьмой квартире, планирующий преступления, сидя у окна, из которого открывается вид на самый красивый закат на этой планете. Они объединили наши компании, «Фортус Констракшн» и «Винтериум», в фирму полного цикла, от дизайна интерьера до сдачи готового объекта. Теперь это компания «РЕБРО», спресованное соединение имен владельцев, нехитрый намек на то, что Ребекка и Роман – партнеры не только по бизнесу.

– Они знают о нас, – повторяю я вслух последнюю фразу, брошенную истерившей в телефоне Корнелией.

Под ребром у меня и в самом деле колет и сразу за этим начинает ныть, вязко и неотступно.

– Бред какой-то!

Прохожий, которому я кричу это в лицо, отшатывается в сторону, и я, не извинившись, срываюсь на бег в сторону, противоположную парковке у церкви, оставив за спиной не только дом бабушки, но и кафе «Версаль», своими проклятыми зонтами осквернившее территорию бывшего палисадника, для полива которого я обожал сбрасывать шланг, одним концом прикрепленный к крану на кухне, прямо со второго этажа. Бегу я по проезжей части, и трижды меня обгоняют машины, одна из которых, синий микроавтобус, издает два коротких гудка, прежде чем обдаться меня облаком пыли.

Боль под ребром отступает одновременно с внезапной усталостью, холодным потом и дрожью в ногах. Остановившись, я упираюсь ладонями в колени и тяжело, как спринтер после проигранной стометровки, дышу себе под ноги. Сразу за обочиной дороги начинается пустырь, огороженный естественной преградой, рекой Ботна, русло которой делит Каушаны на две неравные половины. Пустырь, оба дома моего детства, почта, спортгородок и три школы из четырех, расположены на правом берегу Ботны, как и большая часть города.

Вцепившись в перила моста через Ботну, на высоте пяти метров над водной границей, разделявшей город, я пытаюсь прикинуть, где именно располагался наш огород, когда пустырь еще был ухоженным полем. На участке мы с дедом разбили две клумбы, добросовестно прибитые лопатами, вытянутые в длину огорода, так что с берега Ботны они напоминали свежие могилы, в которых покоилась пара гигантских особей, какой-нибудь Гулливер с женой. Целый месяц дед таскал меня сюда, ухаживая за клумбами настолько самозабвенно, что, видя это бабушка, в ней

наверняка вскипела бы давно подостывшая ревность. Дед краснел и истекал потом, взрыхляя землю тяжелой сапой, без устали носил ведра с водой, то и дело выливая на клумбы лягушек из Ботны. Кряхтел, ползая рядом со мной на коленях, обрекая нас на самую муторную работу на свете – ручную прополку сорняков. Когда две клумбы-близнецы налились зеленой сочных морковных стеблей, дед допустил роковую ошибку, выдумав дополнительные сутки для полного созревания корнеплодов.

На следующее утро, громыхая тачкой, которую в предыдущий раз выкатывали из сарая до моего рождения, мы с дедом отправились за урожаем, предвкушая пахнущую черноземом и свежевыкопанной морковью оранжевую гору, которую с гордостью повезем домой. Увы, вместо сплошь утыканных зелеными пучками клумб мы застали два земляных прямоугольника, изуродованных мелкими ямками и следами от обуви, две могилы супругов Гулливеров, над которыми надругались неизвестные вороватые вандалы.

– Владя, – дед вцепился в мой локоть, я же старался не смотреть на его позеленевшее лицо, боясь, что добыю его одним своим испуганным взглядом.

Рельеф пустыря, где однажды у нас похитили урожай моркови, наполнен следами непростой истории, пережитой этими местами за минувшие годы. Примерно на том месте, где располагались клумбы, теперь возвышается обрывистый холмик странной формы, словно оставленный подземным монстром, показавшим обитателям наземного мира голову и от испуга от увиденного нырнувшим обратно, в глубину преисподней. Еще дальше свалены металлические конструкции, похожие на фрагменты линий электропередач, но какие-то хлипкие, насыщенные явно избыточными деталями. Местами металл проржавел и невозможно определить, являются ли конструкции частью скрытого под землей масштабного сооружения или были когда-то свалены сюда без смысла и с годами росли в почву своими металлическими корнями.

– Милые мои!

Напуганная моим возгласом, лягушка шлепается в воду обмелевшей Ботны, истощенное русло которой с обеих берегов охраняют высокие ряды камышей, этих стройных зеленых жандармов.

Мои дочки, мои милые девчонки! Как много нам предстоит сделать вместе, ведь впереди – вся жизнь. Можем стогнать в Париж, и не обязательно лезть в толпу бестолковых туристов, снимающих лабиринты Диснейленда, по которым они путешествовали миллион раз, благодаря роликам таких же туристов, выложенным в интернет для того, чтобы вы поделились своими роликами. Будем играть в прятки: я буду искать, в распоряжении же Мишель и Анастасии – весь Монмартр. Или Елисейские поля, или даже Булонский лес – я согласен на легкую панику, представляя, как девчонки давятся от смеха, наблюдая из своих укрытий, как их сумасбродный отец носится по чужому городу, распуская парижан выкриками имен собственных дочерей.

Я хлопаю себя по карману брюк, и Ключ отпечатывается на моем бедре, как невидимая татуировка. Вставляя его в замочную скважину, дед всегда упирался в дверь коленом и коротко кашлял, прежде чем повернуть Ключ в замке. За широкое кольцо дед подвешивал Ключ на первый из трех крючков настенной вешалки, планка которой была вбита в стену прихожей, справа от входной двери. Вот он, Ключ, на моей ладони: гладкая ножка между кольцом ушка и рифленой бородкой с оцарапанными зубцами.

На мой ленивый замах река отзывается беззвучным хлопом, от которого расходятся скупые круги, моментально поглотившие Ключ в мутной воде. Сужаясь и обрастая камышами, медленно и безнадежно поглощаемое сушей, русло Ботны уходит вверх по течению, насколько хватает взгляда, извиваясь до самого горизонта, куда по вечерам закатывается солнце. Пожалуй, стоит привести сюда дочерей, до Парижа и наших предынфарктных прятков. Встать на мосту, вдыхая болотный воздух обмелевшей речки, глядеть на холмы на горизонте в ожидании того, чего не увидеть ни в каком Париже. Тяжелое вечернее небо в неподвижных одиночных облаках, между которыми пробиваются лучи наших надежд.

Лучи лучшего в мире заката.

Люба МАКАРЕВСКАЯ

МЕРТВЫЕ НЕ ПИШУТ СТИХОВ

На каких
мертвых крыльях
поэзия
несет
сама
себя

Как она
собирает
себя
из языка
смерти
и слюны
любовников

/Каждый раз
заново/

Чужие позвонки
в анатомическом
театре
вот все
что ты
и я
знаем про
речь

До того
как она
захлестнет
волной
посреди
желания
или скорби

Люба Макаревская родилась в 1986 году в Москве. Стихи и проза публиковались в журналах «Дружба народов», «Транслит», «Воздух», «Носорог», «Зеркало», «Новое литературное обозрение», «Волга» и др. Вошла в шорт-лист премии Booksriptor в жанре «современная проза». Автор сборников стихов: «Любовь» (Арго-Риск, 2017), «Шов» (Free poetry, 2019), «Еще один опыт сияния» (Кабинетный ученый, 2022) «Прозрачный лес» (Пальмира-поэзия, 2024) а также книг прозы «Третья стадия» (Inspiria, 2023) и «Март, октябрь, Мальва» (Лайвбук, 2025). Стихи переводились на испанский, итальянский, польский и английский языки.

И выйдешь
из нее
немая
белая
как простыня
и не сразу
вспомнишь
а как работают
слова.

Если я
не лед
а мед
под ногами
майора

Под твоими
ногами
слабое
эхо
в комнатах

Что остается
от умерших
обычно?

Следы
пытток
следы
любви
детские
увечья

Или
только
чистота
памяти
ее вечно
меняющаяся
интенсивность.

Снег сухой
как радиоактивный
пепел

Выжженное
на языке
у тебя
у меня
память
горя

Если узник
теперь
птица
или сияние

Его непрерывная
словно
пульс
частота

То возьми
мою руку
посмотри
на тыльную
сторону
до зачистки
до исчезновения

И прежде
других
сотри
сам
чтобы
примирить
живое тепло
с пустотой.

Если я
теперь только
дыхание
то говори
со мной
просто

Одним
языком
сердцем
слюной

Там где
под снегом

тихо лежат
следы тепла
и не то
мертвы
не то
спят

И не коснутся
как рукой
спины
и ниже

А только
сразу
захлебнуться
так тонкий
птичий голос
входит
в воздух
раненный.

Мертвые
не пишут
стихов
а я?

На чтобы
был бы похож
этот текст
из посмертия

Разбившейся
о лед
какая глухая
нежность
и ясность
смерти
говорили бы
в нем?

В его структуре
белой
ледяной
где воздух
его отсутствие
самое простое
из всех
значений.

Михаил МОСКАЛЁВ

ГАДЖО

Рассказ

1

Года два, что ли, тому назад исчез один мой знакомый по имени Ласло. На самом деле ничего плохого с ним, думаю, не случилось, а даже наоборот: сам Ласло наверняка знает, где находится, и делает это по доброй воле, будучи в здравом уме и твердой памяти. И это не голословное утверждение, а вполне обоснованное предположение с моей стороны. Ласло был должен всем вокруг. В основном деньги. Кому поменьше, кому побольше, а некоторым весьма серьёзными и обстоятельным людям – серьёзные и обстоятельные суммы. В какой-то момент количество обязательств достигло критического уровня. Критического, я имею в виду, даже для такого человека, как Ласло. Он решил положить всему этому конец. И сделал, нужно сказать, правильный выбор. Ничего лучше исчезновения в его ситуации и придумать было нельзя.

Как-то раз Ласло сказал, что родители дали ему имя то ли в честь поэтов, то ли в честь революционеров. И что деньги он по большому счету презирует. Не знаю, повлиял ли этот странный выбор родителей на отношение Ласло к деньгам, но всё он себя не как поэт и не как революционер, а просто как человек с психологией закоренелого должника. Он вечно тянул с возвращением денег, перезанимал у одних, чтобы отдать другим, и надеялся, что с течением времени инфляция если и не превратит взятые им займы суммы в копейки, то существенно облегчит его долговую нагрузку.

Вообще, инфляция сыграла с Ласло злую шутку. Оно, понятное дело, и для других не подарок, но Ласло особенно не повезло. Давным-давно он обзавелся квартирой, взяв под это ссуду, которую при самых лучших раскладах ему пришлось бы возвращать следующие двадцать лет. Ласло так и делал: каждый месяц аккуратно относил в банк необходимую сумму денег, получал взамен квитанции об оплате, которые накалывал на утащенную им из родной бухгалтерии иглу, и, наблюдая за тем, как растёт кипа квитанций, мечтал о том моменте, когда квартира окончательно перейдёт в его собственность.

Однажды он обнаружил, что цены в магазинах выросли, а вслед за ними – неохотно, правда, – подросла и зарплата, которую ему выдавали из окошечка на его родном предприятии за какую-то однообразную настольную работу. Самое приятное заключалось в том, что платеж за квартиру остался прежним. Рост цен и зарплаты никак на нем не сказался. Здесь-то у Ласло и стали появляться всякие мысли. Здесь-то он и начал предаваться различным соблазнительным фантазиям, вдыхая ядовитые испарения полудюжины канцелярских фикусов. Тем временем инфляция усугубилась, превратившись из вяло текущей в медленно ползучую, из ползучей в хромающую, из хромающей в ковыляющую и так далее, пока не вошла в режим галопа. Цены выросли раз в десять, зарплата у Ласло раз в семь, но платеж за квартиру остался прежним. На долги инфляция никак не повлияла. В один прекрасный день, получив деньги из окошечка кассы, Ласло с легким сердцем зашел в банк и просто внес остаток долга за свои квадратные метры, получив квартиру в собственность за три года вместо положенных двадцати лет.

Михаил Москалёв родился в 1982 году в г. Осташкове. Окончил филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Печатался в журналах «Новая Юность», «Крещатик», «Дружба народов». Работает переводчиком.

Здесь бы ему и успокоиться, и зажить в свое удовольствие, но легкость, а главное быстрота, с которой он погасил ссуду, буквально лишили Ласло сна. Теперь он постоянно думал о том, что любая сумма денег рано или поздно обратится в пачку бумаги. Туалетной, говорят некоторые злопыхатели. Но нет, даже не туалетной, а какой-то совсем бестолковой и ненужной. Ласло, конечно, обо всем этом знал, но никогда не представлял себе этот процесс обесценивания так ярко, с такими анатомическими подробностями. Самое главное, думал теперь Ласло, расписываясь в бухгалтерской ведомости за очередную получку, чтобы эта пачка бумаг не была твоей. Пускай она лучше будет заемной. Вернуть пачку обесцененных купюр, в конце концов, не так обидно, как получить её. Так он решил и принялся занимать деньги у всех подряд, свято веря в обесценивающую силу инфляции, которая не даст ему пропасть. Своим кредиторам, чтобы их успокоить, он задвигал другую теорию.

– Видишь ли, – говорил он.

Или:

– Видите ли, – если аудитория превышала одного человека, что при грамотном подходе (а к одалживанию денег (не к возврату – *sic!*) Ласло подходил грамотно) случалось, – Долги – это основа общества, скрепляющая сила, клей, на котором всё держится. Дети должны родителям, родители – детям, друзья должны друг другу, муж должен жене, жена – мужу, государство должно гражданам, граждане – государству. По сути, долг – это единственное, что нас связывает. Если бы все расплатились по своим обязательствам, общество рассыпалось, как картонный домик. Зачем бы ещё мы поддерживали отношения между собой, если бы не наши долги? Мы бы давным-давно разбрелись по разным концам планеты и забыли друг о друге. По большому счёту, мы помним только о своих должниках и о своих кредиторах. Все остальные люди занимают в нашей памяти довольно случайное место.

Ласло в общем-то был честным малым. Ну, по крайней мере, формально. Однако произошло то, чего он никак не мог предусмотреть. Власти вдруг ввели золотой стандарт. Привязали стоимость денег к хранящимся в государственных амбарах слиткам желтого металла. Привязали и объявили по телевизору. Ласло то ли не понял, что случилось, то ли не придал этому значения и продолжил заниматься своим обычным делом. А когда до него дошло, было уже поздно. Деньги вдруг перестали терять свою покупательную способность. Инфляция сначала остановилась, а потом покатила обратно. Товары и услуги подешевели, количество денег уменьшилось, и, что самое неприятное, они подорожали. В связи с этим предприятие порезало Ласло пособие по работе, и очень скоро он очутился в ситуации заёмщика с падающими доходами и подходящими сроками оплаты по долгам. Какое-то время Ласло крепился, распродал купленный на занятые деньги антиквариат, пытался получить скидки за оплаченные ранее услуги (однажды, например, он пришел в парикмахерскую и потребовал вернуть ему пять процентов за сто стрижек, которые он позволил на себе сделать за прошедшие два года), а потом всё-таки бежал от кредиторов на поиски новой инфляции, дешёвых банковских ссуд и легковых заимодателей.

За несколько дней до своего исчезновения он сказал мне так:

– Я по уши в долгах. Я связан по рукам и ногам. У меня обязательства перед кучей народа. Я прошу у тебя... – он назвал сумму. – ...И ты можешь быть уверен, что ты даёшь деньги самому надежному и честному человеку в этом городе.

После Ласло осталась квартира – результат единственной его удачной финансовой операции. Именно в квартиру сразу после исчезновения её хозяина начали стекаться со всей Москвы люди, которым Ласло был должен. На деньги никто из них не надеялся. Но в квартире было полно вещей, которые могли хотя бы частично компенсировать потерянные суммы. Так как среди заимодавцев оказался также и участковый с половиной местного жэка, то проблем со вскрытием квартиры не возникло. Всё выглядело более чем благопристойно: внешнюю дверь взломали болгаркой, внутреннюю вышибли с ноги (точнее, с нескольких ног), шторы из бусинок, которые можно было бы считать третьей дверью, безжалостно оборвали.

Первыми право на компенсацию получили серьёзные люди – три солидных мужчины с вытатуированными на пальцах именами. Они вразвалочку прошлись по комнатам и отобрали себе некоторое количество украшений и меховых шуб. Зачем все эти вещи понадобились Ласло, сказать не берусь. Я никогда не видел, чтобы он ходил в шубе, а тем более носил кольца или цепочки. Затем в квартиру зашёл участковый с жэком, а потом пришла очередь и всех остальных. Я приехал поздно и попал в квартиру одним из последних, когда оттуда почти всё уже успели вынести. Выбор у меня был скудный: люстры со стеклянными подвесками, швейный набор, электрические провода – ничего из этого мне было не нужно и брать не хотелось. Я просто бродил по квартире Ласло в тёплых летних сумерках, думая о его странной судьбе, и уже совсем было принял решение отправиться домой, когда увидел под батареей небольшой свёрток, густо облепленный скотчем. Никто, судя по всему, его не заметил или просто не захотел заморачиваться с распаковкой, а потому он остался лежать нетронутым. Я не думал, что внутри может быть что-то полезное, но из любопытства взял ножницы и разрезал бумагу.

Внутри оказался пистолет. Надпись на рукоятке гласила, что это Макаров особой цыганской модификации, сделанный лет тридцать тому назад в подпольном цехе одного оружейного завода. В дуло пистолета был вставлен свёрнутый в трубочку клочок пожелтевшей бумаги. Развернув его, я понял, что это пользовательская инструкция к оружию. Написана она была от руки мелким почерком и на цыганском языке. Я сунул клочок бумаги в карман, залепил оружие остатками скотча и отправился вместе с ним домой, как-то сразу позабыв, что ещё минуту назад мне от квартиры Ласло ничего не было нужно. Я не задавался вопросом, зачем Ласло хранил дома оружие. В его положении, наверно, это имело какой-то смысл. Хотя вряд ли он им хоть раз воспользовался. Я также не думал, зачем оружие вдруг понадобилось мне. Просто почувствовал острую необходимость в этом. Дома, сказал я себе, нужно будет разобраться с инструкцией.

2

В цыганском языке, как известно, есть два диалекта: внутренний и внешний. И вот этим последним – внешним – я владею довольно сносно. Может быть, даже весьма прилично. Выучил я его, пока мотался по коммерческим делам. Была такая полоса в моей жизни. Хозяева медведей и владельцы свадебных салонов, – а они выступали в качестве основных контрагентов в моём маленьком бизнесе по организации медвежьих свадеб, – никакого другого средства общения не признавали. Переговоры с ними велись исключительно на внешнецыганском и затягивались порой на несколько дней, а то и недель. Размеры клеток, рацион, расписание выступлений, приезды, отъезды, переработки – я десятки раз проверял и перепроверял все пункты соглашений, дабы ничего не упустить и не нарваться на штрафы. Работа у меня, мягко говоря, была не из лёгких. От некоторых требований просто ехала крыша. Например, каждый раз особо обговаривался цвет грузовиков для транспортировки животных. На мой вопрос, какая, фиг, разница, во что покрашен кузов, хозяева медведей отвечали, что это пожелание самих животных, без выполнения которого они отказываются что-либо делать. Со временем это стало для меня само собой разумеющейся частью работы: новое выступление, новый цирк, новый цвет авто. Другой весьма необычный предмет обсуждений – колесная база грузовиков. Не менее трёх шасси, говорили медведи, и не потому, что обычный четырёхколесный грузовик может не выдержать их вес, а исключительно для помпы и форсу. Таково представление об успехе в семействе сиволапов. На передних рядах во время своих выступлений они хотели видеть только стариков, мёд принципиально не ели, оставляли после себя в гримёрках горы шерсти, а запаха, этот медвежий запах, эта вонь в подсобных помещениях и тёмных коридорах служебной части цирка – едкая, омерзительная – она будет преследовать меня, наверно, всю оставшуюся жизнь. Разбогатеть мне при этом так и не удалось. Всё, что я зарабатывал, приходилось тратить на свору клакёров и театральных писак, просто чтобы поддержать реноме удачливого антрепренёра, каковым я, конечно же, не являлся, потому

что представления с толстозадыми обленившимися и довольно капризными зверями популярностью, мягко говоря, не пользовались.

В конце концов я переключился на торговлю подержанной радиотехникой, потом устроился тапёром в кинотеатр немых фильмов, несколько раз переехал, растерял всех своих старых контрагентов, обзавёлся новыми, однако говорить на внешнецыганском не разучился. Да и как можно разучиться, когда ты то и дело вынужден к нему прибегать? Помню, как в одной забегаловке посетитель наставил на бармена нож и попросил подлить в свой коктейль редкую настойку из лесных водорослей. Попросил на внешнецыганском, которого бармен не знал. Подбежала охрана, и дело могло бы принять совсем дурной оборот, если бы не моё вмешательство. Я объяснил, что во внешнецыганском нож – это ни в коем случае не угроза, а показатель интонации. Элемент языка, не уместившийся в речи и вытесненный в жест, для пущей выразительности украшенный стальным пером. Странно, что в баре никто, кроме меня, этого не знал. Внешнецыганский диалект не такая уж и редкость, как можно подумать. На нём говорит, торгует, оскорбляет, хвалит, ссорится и мирится немалое количество людей по всей планете. Это довольно распространённое средство общения. Настолько, что какая-нибудь сердобольная школа нет-нет да и выделит под него пару часов в своём недельном расписании.

Но моя инструкция была написана на внутреннецыганском диалекте, а это совсем другое дело. Во-первых, встречается он гораздо реже. В школах его точно не проходят. А во-вторых, он довольно сильно отличается от внешнего диалекта, и отличие это, нужно признать, носит устрашающий характер. Даже удивительно, что такое бывает. Суть заключается вот в чём: звучат оба диалекта совершенно одинаково. Никакой особой фонетической разницы между ними нет. Кажется, что с тобой говорят на внешнем, но потом, попав не в очень приятную ситуацию и сделав то, чего делать было не надо, ты начинаешь понимать, что разговор вёлся на внутреннем и совсем о других вещах. А всё потому, что значения слов в одном диалекте очень сильно смещены относительно другого. Порядок и форма звуков та же, но смысл, который они в себе заключают, совершенно другой. Я, слава богу, понимал, с чем имею дело. Поэтому не очень удивился, когда, вернувшись от Ласло домой и усевшись за стол, вместо инструкции к пистолету прочитал жизнеописание брата Иисуса, родившегося на тысячу лет позже своего легендарного родственника. То есть в заглавии было написано, что это инструкция к пистолету, а вот дальше шла история про Иисусова брата. История эта – известный цыганский апокриф, который в общих чертах был мне известен, но в инструкции он явно рассказывал про устройство пистолета, а не про очередную попытку божественного откровения. Следовательно, нужно было решить, чему в оружейной терминологии внешнецыганского соответствуют богословские термины внутреннецыганского. Транспонировать, так сказать, религиозные образы в военно-технические. Честно говоря, я не очень в этом преуспел. Понял только, что милость божья – это взведённый курок, а святой дух – гашетка. А вот какой части пистолета соответствует пространный рассказ об искушениях, так до меня и не дошло. Речь там шла про семь испытаний, через которые дьявол заставил пройти Иисусова брата на пустыре неподалёку от расположившегося на ночь цыганского табора. Испытания брат не выдержал и соблазнился на все сатанинские предложения. Причём соблазнился как-то очень легко, даже с удовольствием. И на царства, и на славу, и на зрелища, и на какую-то совсем уж позорную чепуху. Так обычно дети назло старшим совершают дурные поступки, после чего, правда, начинают раскаиваться и с облегчением принимают наказание за свои шалости. Брат Иисуса повёл себя как типичный нашкодивший ребёнок: поняв, во что вляпался, испугался, а испугавшись, попросил цыган молиться за свою душу. Мол, больше ему надеяться не на кого. На дворе ночь, вокруг никого нет, а до ближайшей церкви пилить по бездорожью часа два. Цыгане молиться не стали, а сразу позвали Иисуса, решив, что дело здесь скорее семейное, чем духовное, и хороший подзатыльник от старшего будет эффективнее, чем коленопреклонённые молитвы ему же. Иисус не замедлил явиться и тут же устроил своему малодушному родственнику такую выволочку, что земля в том месте ходуним заходила. Искусьте же со всеми своими семью искушениями

успел куда-то смыться, и отдуваться за всё пришлось братцу, который после этого по пустырям в ночи больше не шастал и сомнительных знакомств не заводил. Такая история.

Ну вот и какое отношение имело всё это к пистолету Ласло? Что такого нужно было сделать, чтобы заставить его стрелять? Куда нажать? За что потянуть? Даже намёка на догадку у меня не возникло. А вопрос этот отнюдь не праздный. Цыганское оружие, а в особенности цыганские модификации армейских пистолетов, – штука опасная и непредсказуемая. Не зная точно, как с ними обращаться, означает действовать на свой страх и риск. Да и знающий человек всегда должен быть начеку. Пистолет может выстрелить два раза вместо одного. Может не сдержаться и выстрелить вбок или назад. И тогда хозяин оружия убьёт не противника, а себя или рядом стоящего человека. В регламентах кочующих таборов поэтому запрещено палить в присутствии лошадей и медведей, дабы ненароком не попортить ценную скотину.

Слава богу, проводить опыты мне не пришлось: в разгар чтения инструкции я обнаружил, что в магазине пистолета нет патронов. Возможно, в квартире они лежали в каком-нибудь укромном месте, и я их попросту не заметил. Возможно, патронов там и вовсе не было. В любом случае, вернуться в квартиру и заново обыскать её я уже не смог бы. Сразу после моего ухода рабочие вынесли все оставшиеся там вещи на свалку. Переводить инструкцию дальше смысла не имело. Сначала следовало подумать о том, где добыть патроны к оружию. Если в природе вообще существовала такая вещь, как патроны к пистолету Макарова особой цыганской модификации.

3

Давно, ещё со времён медведей, я знал одного человека, который торговал всякой всячиной в подземных переходах. Звали его Ласло. Но с тем Ласло, который верил в инфляцию, он не имел ничего общего, кроме имени. Друг с другом они знакомы не были. А если бы познакомились, то, наверно, сильно удивились, потому что даже для такого проходного двора, как Москва, два Ласло – это перебор. Я, можно сказать, уникальный человек, потому что ходил в приятелях и у одного и у другого Ласло, и оба они вполне спокойно чувствовали себя в столице и даже были её уроженцами.

Не знаю, в честь кого родители назвали второго Ласло, Ласло-барахольщика, но деньги он, в отличие от первого, уважал. И словно в подтверждение этого носил сутяжного вида усы, из-под которых, когда он улыбался, становились видны два золотых зуба. Они так органично вписывались в структуру его лица и так естественно выглядели рядом со своими незолотыми собратьями, что вполне возможно даже не были вставными. Одевался Ласло в белый костюм и носил шляпу с огромными полями. В былые времена он раскидывал свой товар на коврике прямо на бетонном полу перехода, прислонялся спиной к стене и, подогнув ногу, принимался зазывным взглядом осматривать проходящих мимо людей. Импозантный вид был главным его маркетинговым оружием. Стоило только человеку замедлить ход, заинтересоваться, подойти ближе, и он попадал в категорию клиентов Ласло: радостных обладателей какой-нибудь нелепой дичи, вроде фонарика на батарейках, заводного будильника или чайника со свистком. Впрочем, консьюмеристская эйфория длилась ровно столько времени, сколько требовалось, чтобы спуститься по эскалатору. В вагон метро покупатель входил уже не совсем понимая, зачем он решился на ненужное приобретение, и ещё меньше понимая, по какой причине только что испытывал такие сильные положительные эмоции. Претензии, однако, были редким явлением. Если кто и возвращался в подземный переход с подобными намерениями, в действие вступали беспощадные законы рынка, и жалобщика снова засасывало в маркетинговую воронку имени Ласло.

Меня тоже не миновала эта участь. Как-то я приобрел у Ласло два медвежьих обручальных ошейника с металлическими наклейками в виде северных оленей. Сначала, как и все, я почувствовал воодушевление, потом расстроился, а ещё потом (со мной такое бывает) вновь воодушевился, так как понял, что купил-то я нужную мне до зарезу вещь. Ошейники были прописаны в кон-

тракте на очередную медвежью свадьбу, но абсолютно позабыты мною в подготовительном угаре к мероприятию. Не случись со мной закупочного приступа в переходе, штрафы, а может чего и посерьёзнее, были бы обеспечены мне уже на следующий день.

Я тут же вернулся к Ласло и скупил на радостях всё барахло, которое в тот день лежало у него на коврике. Мы разговорились, и после этого он стал регулярно поставлять вещи, необходимые для моей работы. Каждую неделю в течение нескольких лет я спускался к нему в подземный переход налегке, а обратно в город поднимался с двумя забитыми до отказа хозяйственными сумками.

После того как я вышел из медвежьего бизнеса, мы перестали видеться. Ласло приобрел пару павильонов в своём родном переходе и продолжал заниматься коммерцией уже в более цивилизованной форме. Не знаю, наверно, в какой-то момент решил, что торговать с расстеленного на полу коврика в его годы уже не совсем солидно. Я только надеялся, что ассортимент в его павильонах остался таким же варварским, как и прежде, и что если не продать, то по крайней мере посоветовать, где достать патроны для моего внезапного пистолета, Ласло ещё мог. Чего-то да стоила наша контрабандная дружба.

Я появился у Ласло в среду – день, в который раньше заходил к нему за товаром. Людей для середины недели было маловато. Раньше, помнится, в это время здесь сновали толпы народа. Одни ломились на эскалатор, к кассам, чтобы купить билетик и провалиться под землю, другие спешили выбраться из огнедышащего метрополитеновского ада. Вдоль стенки, рядом с которой раньше обретался Ласло, тянулся рад павильонов. Их было штук шесть. Полдюжины. Половина от этой полдюжины или около того принадлежала Ласло. Какие точно, я не знал, и стал заходить во все двери подряд. самого Ласло нигде не было видно. Дойдя до последнего павильона и обнаружив в нём только гору картонных коробок и шторку с вышитой на ней картой Московской области, я решил позвать своего бывшего компаньона.

Мне никто не ответил.

– Ласло, – снова позвал я его и осмотрелся. – Неужели ты не узнаёшь своего друга?

Мне снова никто не ответил.

– Неужели ты не узнаёшь своего старого друга, которому ты продал медвежьи ошейники и ещё кучу разного бесполезного барахла? Ласло, мы не виделись целую вечность, за которую я успел завязать с медведями, поработать тапёром и растерять всех своих контрагентов. Я знаю, что вечность – это слишком большой промежуток времени. Люди забывают друг друга за такое длительное время. Люди перестают думать друг о друге. Начинают новую жизнь. Богатеют и разоряются. Но сейчас ты мне нужен. Сейчас ты мне нужен, как никогда раньше. Ласло, твоему другу нужны патроны. Понимаешь? Твой друг собирается стрелять из Макарова особой цыганской модификации. Не знаю в кого. Не знаю зачем. Но твой друг полон решимости стрелять. Стрелять, понимаешь, и даже, кто знает, убить кого-нибудь.

– Патроны достать не проблема, – послышался голос Ласло. – Но с мокрухой связываться не хотелось бы.

– Ну вот, – ответил я ему, ещё не видя и не понимая, где он находится. – Узнаю своего осторожного друга Ласло.

– Мокруха дело опасное, – повторил голос Ласло. – А у меня, видишь ли, торговля. Шесть павильонов. Не хотелось бы рисковать своей репутацией.

– Я думал, у тебя их всего четверть дюжины и они разбросаны по всему городу, а на самом деле их шесть штук, и они жмутся друг к другу, как новорождённые котят.

– Я привык к этому переходу. Он мне как родной.

– Это хорошо, когда у человека есть родные места.

Я вышел из последнего павильона и увидел Ласло сидящим на маленькой табуретке около стенки. Открытая нараспашку дверь скрывала его от посторонних взглядов.

– Ласло, как я рад тебя видеть, дружище.

Он поднялся мне навстречу, и я его обнял.

За то время, что мы не виделись, он, и без того грузный и корпулентный мужчина, погрузнел ещё больше, усы у него посеребрились сединой, а насчёт зубов ничего сказать не могу, потому что за всю встречу он так ни разу и не улыбнулся.

– Откуда у тебя Макаров особой цыганской модификации? – спросил Ласло.

– Подарил один мой друг перед отъездом.

– Он цыган?

– Нет, он гаджо.

– Странно, обычно цыганское оружие не попадает в посторонние руки. Или ты что-то не знаешь о своём друге.

– Возможно, возможно и так, что я не всё знаю о моём друге, возможно, цыганское оружие попало в руки гаджо. Но как получилось, так получилось. Сейчас мне нужны патроны. И ещё мне нужен человек, который помог бы разобраться в инструкции к оружию. Сам я этого сделать не умею.

– Ну, думаю, с этим я справлюсь.

Я протянул ему инструкцию. Пистолет у меня тоже был с собой, но я не стал доставать его из сумки.

Ласло взял клочок бумаги с цыганскими каракулями и быстро пробежал по нему глазами.

– И что здесь непонятно?

– Ласло, – сказал я с усмешкой, – Видимо, я не знаю чего-то о тебе.

– И тем не менее? – Ласло остался невозмутимым. – Милость божья – это взведённый курок, а святой дух – гашетка.

– Это я понял, спасибо. А при чём здесь история с семью испытаниями?

– Семь испытаний – это семь пуль. Все испытания разные, значит, пули разного калибра.

– Разнокалиберный пистолет?

– Да, а что такого? Цыганское оружие очень гуманно и соразмерно человеку, в которого оно собирается стрелять.

– Что это значит?

– Видишь ли, все люди разные и проблемы у них тоже разные.

– Это так, – со знанием дела подтвердил я. – У разных людей разные проблемы.

– Вот есть, например, хороший человек, который создаёт небольшие проблемы. Поговорить с ним, допустим, времени нет, а убивать его за маленькие проблемки как-то неправильно.

– Убивать хороших людей, и правда, не совсем правильно.

– Так что же делать?

– А что делать?

– Пальнуть в него мелкой дробью! – торжественно заявил Ласло. – Ну или самым маленьким из существующих калибров, в случае если под рукой у тебя оказался пистолет. Но таким маленьким, что им и таракана даже убить нельзя, а только ранить, и то легонько.

– Разумное решение, – согласился я.

– Если попался несмышлёный человек с проблемами посерьёзнее, а разговаривать времени вообще нет, то можно его чуть-чуть покалечить.

– Легонько покалечить за несмышлёность. Ага, понятно.

– И здесь требуется калибр покрупнее. Но тоже далеко не самый крупный, чтобы дальше членовредительства дело точно не пошло. Для таких несмышлёных хлопотунов не самый крупный калибр – самое то. Ну и так далее в той же логике до крайнего случая, когда дело даже не во времени, а в том, что человек просто дерьмовый... – Ласло вздохнул. – Говори с ним, не говори, толку никакого не будет. И тогда ничего другого не остаётся, как воспользоваться седьмым, самым крупным калибром, который не то что дерьмового человека разнесёт на куски, но и слона гарантированно в мокрое место превратит. Вот видишь, какое чуткое отношение?

– Действительно чуткое.

– И потом, это просто удобно, – продолжал Ласло. – Не таскать же с собой целый арсенал под разные задачи? В конце концов могут возникнуть вопросы у полиции. Нет, разнокалиберка – то, что нужно. Перед выстрелом требуется просто настроить пистолет. Опытный стрелок делает это за миллионные доли секунды. Ну, может, за сотые, десятые, но очень быстро, почти незаметно для противника. Всё цыганское оружие такое.

– Хорошо, а что за история дальше с наказанием от Иисуса?

– На это уже не стоит обращать внимания. Это история рассказывается в конце всех инструкций, написанных на цыганском. Неважно, инструкция это к чайнику, к стиральной машинке или, как в твоём случае, – к пистолету. Не стоит брать в голову.

– Ну ладно, так что с патронами? У тебя они есть?

– У меня нет.

– Но ты знаешь, где их достать?

– Конечно. Есть один цыган, у которого такое может водиться.

– Где его найти?

– Он промышляет конокрадством в городских парках культуры и отдыха.

– Конокрадством? Ты шутишь? Все московские кони сгорели в пожаре двенадцатого года.

Вместо них по улицам пустили трамваи. Каждая собака об этом знает. В Москве невозможно украсть лошадь, потому что их здесь просто нет. Знаешь, сколько охотников сразу нашлось бы? Да вот я, например.

– Как хочешь, я тебе всё сказал. Можешь верить, можешь нет.

– И где его искать?

– В местах скопления шахматистов, конечно.

– Ты хочешь сказать, что он крадёт...?

– Конечно, шахматных... А ты что подумал? Просто он чувствует ответственность за сохранность древнего искусства.

В благодарность за информацию о цыгане с патронами я купил у Ласло бубенцы для гончих черепашек. По старой памяти. Мы распрощались. Я вышел из перехода непривычно налегке (бубенцы уместились в кармане куртки), но тело моё рефлекторно напряглось, как будто в каждой руке у меня было по огромной пузырящейся сумке с цирковой утварью.

4

Для ловли цыгана я извлёк с антресолей дореволюционную шахматную доску с красивыми резными фигурами, доставшимися мне от одной посетительницы кинотеатра немых фильмов в качестве благодарности за хорошую игру на пианино. Играл я на самом деле отвратно, но моё музыкальное сопровождение идеально подходило под четырёхчасовую драму об охоте вампиров на человека-невидимку или наоборот, не помню уже.

На следующий день я отправился в центральный парк, нашёл там стаю шахматистов, присел за свободный столик и стал расставлять фигуры на доске. С конями я проваландался особенно долго, чтобы привлечь внимание окружающих к их породистости и рысистости. Едва я закончил подготовку, напротив меня уселся старичок, похожий на шахматную фигуру, которую много раз съели. Несмотря на свою внешнюю пережёванность, он оказался очень бодрым и решительным старичком. На первом же ходу съел моего ферзя, а на втором объявил шах. Я не стал разбираться, как у него это получилось, и в ответ лишил его сразу двух ладей. В конце концов, я пришёл не за тем, чтобы разбираться в тонкостях игры, а чтобы добыть патроны. Я поглядывал по сторонам, надеясь увидеть цыгана, но никого похожего вокруг не было. Старичок между тем всё не унимался и продолжал в своём духе. Начиная с пятого хода мы играли без королей. Когда доска почти опустела, я стал незаметно подставлять уже съеденные фигуры, чтобы ещё потянуть партию. Так раньше в трактирах, наверно, разомлевшим клиентам подливали в стакан спитой чай. Старичок

ничему не удивлялся и моментально брал в оборот ожившие фигуры. Особенно ловко он действовал вернувшимися из преисподней конями, поэтому я старался особенно на них не давить. Вдруг старичок встал и объявил, что выиграл партию. Это было неожиданно. Перед этим я укрادкой вернул на доску почти все фигуры, и игра могла бы продолжаться ещё долгое время. Я сказал старичку, что никаких признаков его победы не наблюдаю, но он запротестовал. Он чувствует, что выиграл, и этого достаточно. Я переменял тактику и потребовал реванша, но и здесь он заупрямился и сказал, что у него слишком мало времени и ему срочно требуется уходить. Куда? Я пожал плечами и отпустил его с миром.

В одиночестве я оставался недолго. Следующим моим противником стал серьёзного вида молодой человек в костюме. Я уже успел привыкнуть к манере игры старичка и на первом же ходу попытался поставить шах вражескому королю, но молодой человек заупрямился и стал говорить про какие-то правила. Мол, перелетать пешкой через всё поле нечестно. Мол, ходить надо e2-e4, или b3-b4, или как-нибудь так. А летать через всё поле противозаконно. Пришлось соблюдать правила. Я стал разыгрывать полинезийскую партию. Полинезийская партия предполагает дебют, в котором участвуют только кони. Первые пятьдесят ходов они прыгают по доске как сумасшедшие, то наскакивая на позиции противника, то запрыгивая обратно в стойло за шеренгой своих пешек. Происхождение полинезийской партии мутное. Говорят, что родилось оно среди горстки отщепенцев, проповедовавших неутилитарный подход к игре. Они не пытались улучшить свои позиции, поставить мат королю противника или ввести его в заблуждение. Цели они преследовали сугубо эстетические, возможно, даже этические. Нужно видеть, как разыгрывают эту партию настоящие профессионалы. Какие опасные узоры выплывают они из деревянных тел своих конеобразных фигур. Я, конечно, профессионалом не был, но достойно отыграл начало. Партия вкатилась в стадию миттельшпиля. Фигуры разбрелись по всей доске, короли попрятались по углам, ходы стали требовать больше времени. Тут я заметил, что в игре не хватает одного коня. Проскакав весь дебют по шахматному полю, он забился в чёрную клетку и уже долго стоял без дела. Я думал использовать его в небольшой провокации против вражеского короля, но теперь мне стало не до провокаций. Я почувствовал, что цыган где-то рядом.

Через некоторое время необъяснимым образом конь исчез и у моего визави. Он посмотрел по сторонам, заглянул под лавку, на которой мы восседали и, не обнаружив под ней фигуру, принял растерянный вид.

– Что же это получается? – спросил он. – У меня здесь раньше стоял конь, а теперь его нет. Этого не может быть.

– Второго коня у вас тоже больше нет, – я показал на пустую клетку рядом со слоном.

– Но это получается беззаконие. Фигуры не могут пропадать просто так. Их нужно съесть.

Он сделал жевательное движение челюстями, будто показывая, как нужно поедать фигуры.

Я заметил тоненькое лассо из прозрачной, почти невидимой лески, которое накинuloсь на моего второго и последнего оставшегося на доске коня. В следующее мгновение фигура прыгнула с доски и полетела по воздуху в сторону пруда. Я вскочил с места, да так неловко, что перевернул доску с шахматами. Молодой человек стал что-то кричать, но я, уже не обращая на него внимания, бежал за парившей по воздуху фигуре. По дороге я сшиб ещё пару досок, растоптал клумбу, опрокинул тележку с мороженым и, по-моему, самого мороженщика, но все равно упустил свою цель. В замешательстве я остановился посреди тропинки, ведущей к пруду. В пространстве передо мной реяло пустое июльское марево, с боков напирала деревья и кусты, из которых доносился птичий ор и насекомый скрежет. И тут я увидел, как мой конь со свистом подлетает к поверхности пруда. Звук был как у пикирующего бомбардировщика из военных фильмов. В следующую секунду из воды показалась рука, схватила коня и вместе с ним вновь исчезла в воде.

Всё произошло так быстро, что кроме меня никто ничего не заметил. Сам я сначала не поверил своим глазам, и только полученные от Ласло сведения вселили в меня уверенность, что

виденное мною не было галлюцинацией. Моего коня утащил какой-то сидящий в пруду человек, и у меня не возникало никаких сомнений в том, кем он был.

Играть в шахматы я больше не хотел, поэтому мне ничего не оставалось, кроме как сесть на лавочку возле пруда и дожидаться, пока из него кто-нибудь не вылезет. Времени у меня было много. Мой шахматный визави, законопослушный молчел, притащил мою доску и с недовольным видом сказал, что больше никогда не сядет со мной играть, потому что я не умею проигрывать и вообще жульничаю. Это было понятно ему с самого начала. Я только рассмеялся в ответ и забрал у него остатки шахмат. Потом мимо меня с победоносным видом прошёл давешний прожёванный дед. Никаких срочных дел у него не было. Он просто наврал. Я не удержался и крикнул ему вслед, что партия осталась за мной. Но он не обратил на меня внимания.

Наконец, ближе к вечеру из пруда на берег вышел человек. К этому даже нечего добавить. Выглядел он так спокойно, будто только что спускался в подвал собственного дома. В руках у него был полиэтиленовый пакет, весь измазанный илом, к ноге прицепилась длинная подводная лиана. Человек подошёл к скамейке, поставил на неё свой пакет, затем стянул с себя жилет и принялся его выжимать. Меня он не замечал, несмотря на то что сидел я на соседней скамейке и нас разделял утлый дырявый куст. Покончив с жилетом, человек вылил воду из туфель и стал выжимать брючины, не снимая штанов. На голове у него всё это время оставалась характерная цыганская шляпа, с которой на штаны то и дело обрушивался целый град из капель. Я решил, что ждать больше нечего и пора приступать к переговорам.

– Что, сырая нынче погода? – спросил я глумливым тоном.

– Да, сухим этот денёчек точно не назовёшь, – ответил цыган, не переставая сушить брючины.

– Особенно если сидеть весь день в воде, – я подумал, что припёр его к стенке.

– Я купался.

– Прямо так? В одежде?

– Плавки дома забыл.

– Городской пруд не лучшее место для купания. Можно на проблемы с законом нарваться, а конокрадство во время купания в неполюженном месте – это вообще серьёзное нарушение уложения о парках культуры и отдыха.

– А за занудство и шпионаж статьи случаем не предусмотрено? Долго вы здесь на лавочке поджидаете?

– Сколько надо, столько и поджидая.

– И что вам от меня надо?

– У тебя пакет забит краденными конями. Четыре из них мои.

– Я нашёл пакет на дне пруда. Не знаю, что в нем.

– И про летающих коней тоже ничего не знаешь?

– Летающие кони? Дайте подумать... Видел в детстве на пачках с сигаретами.

– А про ныряющих коней? Коней, со свистом бухающихся в воду? Коней, соскакивающих с шахматной доски в разгар драки между чёрными и белыми?

– Не знаю. Не слышал. Ничего такого природой к существованию не подразумевается.

Мне это стало надоедать. Все эти люди, пойманные с поличным и продолжающие настаивать на своей невинности... Господи... Это всё равно что выставить в аудитории голого мужчину и доказывать, что он женщина. Или выставить там же голую женщину и доказывать, что она одета. Что можно сделать с такими людьми? Отойти, если у тебя нет сил отвесить увесистого леща. Ну или отвесить леща. Я некоторое время колебался, оценивая свои силы, но решил, что их всё-таки будет недостаточно. Цыгана совсем не волновало, что его застукали на месте преступления. Он готов был отговариваться сколько угодно. Думаю, если бы у меня было ещё пару коней, он бы без зазрения совести спёр и их, не переставая сушиться.

– Ладно, можешь оставить себе свою добычу, меня это нисколько не заботит. В конце концов, в шахматы можно играть и без коней. Да я в них и не играю особо.

– Не очень понимаю, о чем прямо сейчас идёт речь, но подозреваю, что меня обвиняют в том, чего я не совершал.

– Скорее в избыточной традиционности.

– Это да, – расплылся в улыбке цыган и неожиданно пошёл на попятный: – Мы традиции уважаем.

– Может даже слишком.

– Это просто зов крови, – он перешел на ты. – Понимаешь? И заметь, удовлетворяю я его довольно невинными способами. Что такое шахматный конь? Кусок дерева в лучшем случае. Цена ему три копейки. Вам урон минимальный, а мне, старику, – радость. Но ты же пришёл сюда не за этим? Сам сказал, что не за этим.

– Для старика тебе слишком мало лет. Но да, пришёл я не за этим. Я от Ласло.

– Ах Ласло, уса́тый увале́нь, как он поживает?

– Торгует помаленьку, но слишком уж обуржуазился.

– Есть такое. Торговля до хорошего не доводит.

– Он сказал, что я могу достать у тебя патроны к Макарову особой цыганской модификации. Но сейчас у меня такое ощущение, что кроме шахматных коней у тебя ничего нет. Конячий ма́ньяк.

– Конячий и коньячный, – цыган засмеялся, достал из кармана своей жилетки флягу и отпил из неё. – И да, патронов у меня действительно нет, но я знаю, где их достать. Есть один парень, его, кстати, тоже зовут Ласло, как нашего общего друга. Так вот, у него...

– Можешь не продолжать. Если ты имеешь в виду Ласло-заёмщика, Ласло, который всем должен, Ласло, который верил в бесконечную инфляцию, то он исчез с радаров, после того как стоимость денег привязали к золоту, и они стали дорожать. Квартира Ласло разорена займодавцами. Его песенка спета.

– Нет, я имею в виду другого Ласло. Ласло-цыгана. Ласло-барона.

– Никогда о таком не слышал.

– Проблема в одном. Пока ты здесь игрался в свои глупые шахматы, Ласло вместе со своим табором отправился в странствие.

– В какое странствие?

– По метрополитену.

– С табором?

– С табором. По религиозным соображениям. Но это старая история, в ней Иисус замешан со своим братом. Сейчас долго рассказывать.

– Кажется, я ее знаю.

– Но вряд ли до конца.

– Ну да ладно, вряд ли меня интересует конец этой истории. Меня больше волнует этот твой Ласло-барон. Как до него добраться?

– Его ещё можно догнать. У меня как раз дела есть в метрополитене. Надо передать добычу, – цыган показал на свой пакет, – в бюро находок...

– В бюро находок принимают находки. Добычу отдают в другие места, – прервал я его ложь.

– Ну, может, и в другое место – как получится, – пожал плечами цыган. – Но иду я по тому же маршруту, что и Ласло, и в отличие от него, без табора, поэтому буду двигаться быстрее и сумею нагнать его в один-два дня. Но если тебя так волнует, что свой пакет я понесу не в бюро находок, а в другое место, то, конечно, тебе лучше остаться в парке и продолжать препираться с местными чудаками по поводу правил игры в шахматы.

Перспектива гнаться за табором по метрополитену меня, признаюсь, испугала, а расчетная продолжительность нашего путешествия удивила. Я, наверно, полминуты молчал.

– Два дня?

– Максимум.

- Почему так долго? Метро можно проехать из конца в конец по любой ветке за час.
- Ты имеешь в виду ту часть метро, которая представлена на картах.
- Какую же еще?
- Карты никогда не поспевают за реальностью. А карты метро особенно.
- Что, прямо отстают?
- Отстают и очень сильно. Схема в вагонах – это только верхушка айсберга. Я бы сказал даже,

верхушка верхушки

Я снова погрузился в раздумья.

- Ну? – насмешливо спросил цыган.
- По рукам.
- Встречаемся завтра на рассвете у киосков Ласло-барахольщика. Они проведут нас в метро.

5

На следующий день, как условлено, рано утром я подошёл к переходу, в котором Ласло промышлял своей торговлей. Цыган уже поджидал меня. На нём были всё те же брюки, та же жилетка и та же шляпа. Выглядела его одежда тяжело и влажно, как будто не успела высохнуть за ночь, но цыган не обращал на это особого внимания. В руках у него был вчерашний пакет, который он даже не удосужился очистить от ила.

– Для Ласло слишком рано, – сказал цыган почему-то на внешнем диалекте, хотя в предыдущий день мы общались на московском языке. – Но по большому счету, он нам и не нужен.

С этими словами цыган вытащил из кармана связку ключей, подошёл к павильону, возле которого на маленькой табуретке сидел Ласло во время нашей последней встречи, и открыл дверь. Внутри павильона, как и в прошлый раз, всё было завалено картонными коробками, а на стене висела цветастая шторка с вышитой на ней картой Московской области. Цыган переставил несколько коробок, пробрался к шторке и отодвинул её. В стене обнаружилась еще одна дверь в три четверти человеческого роста.

– Нам сюда, – сказал цыган, – отсюда Ласло получает конфискованную на таможне контрабанду со всей границы. А ещё это чёрный вход в метрополитен. Для тех, кто по каким бы то ни было причинам не любит турникеты и не желает встречаться с контролёрами. Через него мы попадём на запасную ветку метро.

Цыган открыл дверку другим ключом из своей связки, и мы оказались на площадке перед лифтом. Кнопку вызова даже не пришлось нажимать: услышав нас, лифт заворочался где-то внизу и стал подниматься сам собой. Ехал он довольно долго – так мне показалось, или так, наверно, всегда кажется, когда ждёшь лифта – время начинает течь медленнее. Я вспомнил, что метро здесь, и правда, залегает глубоко. Спускаться в него по эскалатору тоже было делом небыстрым.

Наконец лифт остановился, притих, а потом, задумавшись на секунду, распахнул двери. Цыган отодвинул защитную решётку, и мы вошли внутрь. На панельной доске было всего лишь пара кнопок: одна гладкая и пустая, как вытершаяся монета, а на второй друг в друга упирались две стрелки. Цыган закрыл решётку, нажал обе кнопки разом, и лифт пополз обратно.

Внизу нас ждала ещё одна площадка с лестницей. Дюжина ступеней вела к железнодорожным путям, на которых стояла дрезина с классическим рычагом на два человека.

– Нам придется приложить усилия, – сказал цыган, влезая на дрезину. – Лошадей, к сожалению, я предложить не могу.

– И то правда, откуда у конокрада взяться лошадям? Виданое ли это дело?

– Лошади есть в кочующих таборах, но для двух человек это слишком накладно. Своими силами обойдёмся.

– Не закончится ли наше путешествие тем, что нас на полных парах порубит на куски какой-нибудь неуклюжий поезд?

– Поезда не такие уж неуклюжие, чтобы рубить на куски зазевавшуюся дрезину. Скорее нам грозит напориться на незнакомый табор. Что уж, даже Ласло может встретить нас недружелюбно.

Мы отъехали от лифтовой площадки метров на триста. Немного. Но я успел свыкнуться с мыслью, что ближайшие сутки мне придется провести среди бесконечно тянущихся по стенам проводов. И вот теперь к этому добавилась опасность и враждебность каких-то таборов.

– А кроме табора Ласло есть ещё и другие?

– Ты не понимаешь, Ласло лишь один из многих, кто ищет пределы московского метро.

– Мне действительно непонятно, – сказал я, наваливаясь на доставшуюся мне часть рычага. – Мы едем к Ласло-барону за патронами. Ты говоришь, что он может встретить нас недружелюбно. Если у него есть во что зарядить патроны, то встреча получится совсем неприятной. А тут ещё незнакомые таборы, которые ищут пределы московского метрополитена и из-за которых мы до Ласло можем и вовсе не добраться. Объясни, что происходит?

– Дело в том, что все мы, цыгане, ищем пределы московского метрополитена и уповаем на то, что однажды эти пределы не найдутся.

– Спасибо, теперь-то я все понял, – по силе, с которой я снова надавил на рычаг, стало ясно, что я ничего не понимаю.

– Ах да, – вспомнил цыган, – ты же не знаешь эту историю до конца.

– Какую?

– Про Иисусова брата?

– Ласло сказал мне, что конец там не имеет особого значения. Его добавляют во все цыганские инструкции для красоты. Но мне кажется, что при должном переводе с внутреннего диалекта на внешний, он вполне может оказаться гарантийным талоном. Это единственная одинаковая часть во всех инструкциях. Тех из них, по крайней мере, которые записаны на московском языке. Не думаю, чтобы с инструкциями на цыганском дела обстояли иначе.

– Ласло пошутил с тобой, – сказал цыган в ответ на моё предположение. – Этот отрывок вставляют во все инструкции, дабы мы помнили об обете, который взял на себя Иисусов брат за свой легкомысленный проступок. И на внутреннем, и на внешнем диалекте смысл у этой части текста одинаковый.

– Что, неужели, и там и там «обет» – это «обет», а «проступок» – это «проступок», а не «гарантийный срок», «техническое обслуживание» или «устранение недостатков»?

– Да, – серьезным тоном подтвердил цыган, – и там и там речь идет о преступлении, раскаянии за содеянное и воскресении к новой жизни через служение пришедшим на помощь людям. Одним словом, об обете.

– Что же это за обет, и во внутреннем, и во внешнем диалекте такой одинаковый?

– Это обещание, – продолжал цыган, – обещание, которое взял на себя Иисусов брат.

– Обещание?

– Он поклялся Иисусу выстроить в Москве метро, по которому потомки цыган, выцепившие его из рук С., смогли бы путешествовать, не сталкиваясь со стражами правопорядка и другими представителями властей.

– Целое метро, только чтобы вас не беспокоили власти?

– Не только. В том смысле, что не только московские, а вообще власти. Власти всего мира. Видишь ли, московский метрополитен невозможно закончить строить. Начать – да, но не закончить. Как только он упирается в пределы города, город начинает расширяться. Приходится снова браться за дело. К Москве присоединяют какую-нибудь забытую богом деревню и первым делом вырывают котлован, сооружают в нем станцию, тянут к ней отдельную ветку метро. И так происходит с каждым поселением, переезжающим в столицу. История повторяется. Снова и снова. Уже сто лет. И поделаться ничего нельзя. Клятва. Мы верим, что пока брат не перевоспитается окончательно, ну или пока Иисус не сочтет его перевоспитавшимся, стройка не будет завершена. А случится это, когда московское метро уже, собственно, не будет московским. Сначала оно

расширится до границ области, потом расползётся по стране, а после завоюет иностранные метрополитены и станет всемирным. Тогда-то обет и исполнится. Брат перевоспитается, а цыгане смогут путешествовать по всей земле, избегая паспортного контроля, досмотров на таможне и прочих назойливостей со стороны властей. Этого момента мы и ждём. Первый цыганский барон, который совершит со своим табором кругосветное путешествие по тоннелям метро, станет королем цыган. Есть основание полагать, что такое путешествие возможно уже сейчас. Теперь ты понимаешь, почему нас могут встретить недружелюбно. Таборы конкурируют между собой. Иногда даже доходит до перестрелок. Все хотят стать королями.

– Но в конце концов, разве метро строят не для поездов? – попытался я перебить этот поток бреда.

– Что ты! Поезда – это дьявольское наущение. Это всё нечестивые и завистливые московские цари. Это они запустили под землю поезда и заставили людшек-москвичишек, своих скверно-подданных, каждый день ездить в них, якобы на работу, а на самом деле, чтобы помешать странствиям цыган. Посмотри, эти туннели не предназначены для поездов. Их округлость идеально подходит под округлость цыганской повозки. Но не для квадратных вагонов. Да, это должна быть огромная повозка, которую тянут огромные лошади, но огромность – это только вопрос времени. А станции? Это же стоянки для таборов. Прохладные летом, теплые зимой. На станциях мы должны набираться сил для того, чтобы продолжать путешествия, а вместо этого их пачкают своей обувью тысячи случайных людей. Но рано или поздно мы выгоним из-под земли всех гаджо вместе с поездами, в которых они ежедневно потеют и воняют. Выгоним и станем самым свободным народом, когда-либо жившим на земле. Это план Иисуса.

Цыган замолк. Одноколейный тупик, из которого мы начинали путь, давным-давно вынес нас на широкую подземную магистраль в шесть или семь полос. Мы мчались вдоль ряда грязно-белых колонн, подпиравших темный сводчатый потолок. Рычагом можно было не работать. Дрезина разогналась до приличной скорости и катилась сама собой. Рельсы под ней гудели от напряжения, и им вторил ритмичный перестук колес, эхо от которого разносилось по всему туннелю. Встречные поезда обдавали нас волной горячего воздуха. Всякий раз, когда это происходило, цыган придерживал свой пакет, чтобы его не снесло вместе с драгоценным содержимым. Я смотрел вперед на горящие зелёным светом семафоры. Дрезина в этих краях, наверно, была редким гостем, и зелёный свет семафоров выражал, скорее всего, не приглашение к дальнейшему продвижению, а замешательство. Но какое теперь это имело значение?

Один раз мы нагнали шедший по соседним путям поезд. Он был набит усталыми людьми, которые не обращали на нас внимания, словно мы были невидимками. Цыган помахал рукой маленькому ребёнку, пытавшемуся высмотреть что-то в окне, но ребёнок не отреагировал. Я крикнул цыгану, что ему лучше держаться за рычаг обеими руками: на такой скорости, мол, немудрено и свалиться. В ответ он рассмеялся. Его забавляла моя боязливость.

Мы поравнялись с кабиной машиниста и постепенно начали её обгонять. Над лобовым стеклом показались пылающие жёлтым пламенем буквы, сложенные в название конечной станции. Никогда про такую не слышал. Какой-то длинный, состоящий из одних свистящих, шипящих и ыкающих топоним, должно быть, только недавно включённый алчными градоначальниками в городскую транспортную систему. Оторвавшись от полыхающей надписи, я опустил голову и увидел лицо машиниста. Оно было ужасно, это лицо: бледная кожа, растрёпанные волосы, остекленевший взгляд, круги под глазами, изрезанный морщинами лоб. Он был в своей кабине один. Руки неподвижно покоились на приборной панели, которая то и дело вспыхивала разноцветными огоньками. Ни один мускул на лице машиниста не выдавал эмоций, которые он испытывал, рассекая древнюю подземную темноту, принявшую вид туннеля. Испытывал ли? Я присмотрелся к его лицу как следует и вдруг понял, что поезд, как и наша дрезина, катился вперед сам собой. Машинист не принимал участие в его управлении. Он был абсолютно безразличен и, думаю, мертв.

Через станции за некоторыми исключениями мы не проезжали. При приближении платформы наша колея резко уходила вниз, как бы подныривая под платформу, а потом снова подымалась, присоединяясь к остальным путям. Получались такие подземные американские горки. Мы ныряли в узкий коридор и, пролетев под платформой, вновь выныривали на широкую подземную магистраль. Исключением была одна станция с тремя путями. Я вспомнил её, потому что выходил здесь, когда шел к Ласло-должнику на квартиру после его исчезновения. С тех пор прошло всего два дня, но мне казалось, что между нами простираются все океаны мира. Мы проехали по тому пути, по которому никогда не ходили поезда. На станции толпился народ. Кто-то наверняка был кредитором Ласло и направлялся к нему на квартиру, не зная, что там уже ничего нет, кто-то шёл обратно не солоно хлебавши. Нашу самодвижущуюся дрезину не заметили. Все стояли в ожидании поезда, который должен был прийти на соседний путь. Силуэт одного человека казался мне знакомым. Мне даже захотелось остановиться и удостовериться, что это именно тот, о ком я подумал. Но мы, естественно, продолжили путешествие. Всё-таки не думаю, что это был Ласло. Скорее всего, я обознался. Люди, обременённые такими долгами, какими был обременён Ласло, не возвращаются.

Наконец мы проехали мимо очень длинной платформы. Вся она была уставлена крестами с метрополитеновскими логотипами. Некоторые кресты стояли на самом краю платформы: покосившиеся в разные стороны, прямые как стрела, каменные, деревянные. Мы сбросили скорость, и я получил возможность рассмотреть фотографии людей в форменных синих фуражках, вклеенные в центр логотипов. Все лица были похожи на то, которое я видел получасом ранее в головном вагоне состава, несущегося к неизвестной мне конечной станции.

– Это кладбище машинистов, – сказал цыган, предвосхищая мой вопрос, и перекрестился. – Здесь заканчивается официальная часть метро.

6

Мы проехали мимо подземных могил и очутились в абсолютной темноте. Впереди не было видно ни одного огонька. Колеса дрезины перекатывались по рельсам, давя какие-то мелкие крупицы, должно быть, падавшие с потолка. Мы продвигались вперёд очень медленно. Цыган то и дело шуршал пакетом и слегка надавливал на рычаг, чтобы совсем не остановиться. Я просто держался за рычаг, опуская и поднимая руку вместе с его рукояткой. Совсем скоро где-то впереди послышался звук, который сначала я принял за скрежет тормозящего состава. Он повторился несколько раз, прежде чем я смог понять, что это конское ржание.

Цыган извлёк из своего пакета фонарик и передал мне. Светил фонарик слабо, но кое-что было видно. На пути стали попадаться вещи, как будто выпавшие из незапертого багажа: одежда, полотенца, ботинки. Снова послышалось конское ржание, теперь уже совсем близко. Стенки тоннеля расступились, и мы въехали в большую подземную пещеру. Цыган посмотрел на меня. Выражение лица у него было нерадостным.

Вдруг он схватился за рычаг, стараясь зафиксировать его в неподвижном состоянии, чтобы таким образом затормозить дрезину. Луч от фонарика в моих руках дрогнул, скосившись на высокий скалистый потолок, но сразу же вернулся в первоначальное положение. Мы полностью остановились и наконец смогли что-то разглядеть. Перед нами предстала ужасная картина: несколько кибиток были разметаны по пещере, как будто каким-то огромным зверем. На рельсах валялись горы тряпок, выпотрошенные чемоданы, изувеченные гитары, кузнечные принадлежности. Посреди всего этого стояла лошадь, а рядом с ней лежал окровавленный человек.

Цыган соскочил с дрезины и подбежал к нему.

– Ласло, что случилось?

Я зажгё пару валявшихся на земле факелов и тоже подошёл к раненому. Это был уже очень старый человек с длинными седыми волосами и седой бородой. На «парня», как представил мне

его цыган в нашем разговоре в парке, он совсем не походил. Было в нём что-то благообразное и пророческое.

– На меня напали, – застонал раненый, и во рту у него лопнул кровавый пузырь. – На меня напали и украли мой табор.

– Кто напал?

– Ласло, – ответил старик. – На меня напал Ласло.

– Ничего не понимаю, – я посмотрел на цыгана.

– На меня напал Ласло, – вновь прохрипел старик, – И убил меня!

Я схватил цыгана за руку и оттащил в сторону от умирающего.

– Что здесь происходит?

– Не видишь? на Ласло напали.

– Кто на него напал?

– Он же сказал, что на него напал Ласло.

– Ласло убил Ласло?

– У нас не принято раньше времени хоронить человека. Но в целом да: Ласло убил Ласло.

– Мне кажется, я скоро свихнусь.

– Что такое? – спросил цыган.

– Я знаю двух Ласло: Ласло-должника и Ласло-барахольщика. Перед нами, как я понимаю, Ласло-барон. Твоё имя мне не известно, и я даже не хочу спрашивать, чтобы, не дай бог, не узнать, что тебя зовут точно так же. Но здесь что, ещё один Ласло объявился? Не слишком ли много? Кто такой этот четвёртый Ласло, который так отвратительно поступил с Ласло-бароном? И почему Ласло-барон вместо того, чтобы встретить нас недружелюбно, как ты обещал, встречает нас в таком жалком состоянии?

Цыган с сокрушением вздохнул, насупил, а потом произнёс:

– Судя по всему, нужно рассказать тебе ещё одну вещь.

– Определённо.

– Помнишь, я говорил тебе про барона, который станет королем цыган, если совершит кругосветное путешествие под землёй.

– Помню, ты говорил мне это совсем недавно.

– Видишь ли, есть небольшая группа цыган, которая верит в то, что их королём должен стать человек по имени Ласло. Именно табор человека с таким именем совершит первое кругосветное подземное путешествие и объединит весь цыганский народ под своим правлением. И этот четвёртый Ласло, Ласло-разбойник, верит в то, что он и есть этот будущий король и объединитель цыган. Но ведёт он себя подло. Он планомерно уничтожает всех своих тёзок, чтобы избавиться от конкурентов. На самом деле он даже никакой не цыган, а гаджо, попавший в табор ребенком, но проявивший себя исключительно жестоко в борьбе за власть. Это не первое его убийство. Под его началом передвигаются уже много кибиток.

Мы вернулись обратно к умирающему барону. Тот был совсем плох. Цыган присел на землю и положил его голову к себе на колено.

– Он называет себя новым братом Иисуса, – прохрипел старик и поднял сжатый кулак. Это было слабое движение, движение из последних сил, но сразу чувствовалось, сколько отчаяния оно в себе заключало.

– Он говорит, что должен закончить то, что начал старый брат: выгнать из метро поезда и объединить цыган. Но движет им не Иисус, а дьявол. Он не должен стать королем цыган. Он самозванец и негодяй. Хотя вся его жизнь и прошла среди нас, он так и остался жадным и властолюбивым гаджо. Людей он ни во что не ставит, а больше всего на свете ценит почести и драгоценные вещи.

– Бедный Ласло, – пробормотал цыган, вытирая пот с лица старика, – Мы думали встретиться с тобой только через два дня, а увидели через час после начала нашего путешествия. Но при каких

обстоятельствах, при каких обстоятельствах! Сейчас тебе лучше не говорить. Мы и так знаем, что за мерзавец на тебя напал. Лучше посмотри, каких замечательных коней я тебе привез.

Цыган стал доставать из пакета шахматные фигуры и показывать старику. Белые, чёрные, белые, снова чёрные... Старик смотрел мимо них куда-то в бесформенную тьму, витавшую под сводом пещеры. Фигурки больше привлекли внимание лошади, которая с момента нашего появления не отступала от своего хозяина. Теперь она перевесила голову через плечо цыгана и то и дело пыталась нежно лизнуть деревянных коней из пакета. Старик тем временем отвлекся от подполочной тьмы, с усилием повернул голову и уставился на меня, как будто только что заметил моё присутствие. Мне стало не по себе от этого взгляда.

– Ласло не должен стать королём, – медленно проговорил старик, не сводя с меня глаз. – Не должен совершить кругосветное путешествие.

Цыган отложил свой пакет и поднял голову. Теперь они смотрели на меня вместе – два человека, одного из которых Ласло-негодяй только что убил, а второго, по всей видимости, оставил без вознаграждения за добычу. Я старался сделать вид, что их многозначительный пристальный взгляд – один на двоих –нисколько меня не беспокоит, что мне всё равно, однако смутное дурное предчувствие, буквально только что зародившееся во мне, не обмануло. Старик открыл рот и, изрыгнув из себя изрядное количество крови, сказал:

– Остановить одного пустопорожнего гаджо может только другой столь же пустопорожний гаджо.

Я вопросительно, но скорее всего испуганно, посмотрел на своего цыгана. Он как-то стыдливо отвёл от меня глаза, потом снова повернулся и сказал:

– Вероятно, ты опять чего-то не понимаешь?

– Я понял всё и не хочу больше ничего понимать. Прямо сейчас я хочу запрыгнуть в дрезину и прокувыркаться в ней обратно до ларьков Ласло-барахольщика. Можно даже просто до ближайшей станции метро. Мне надоели эти бесконечные истории про малодушных, самозванных, неудачливых родственников Иисуса, и ещё одну я не выдержу...

– Я могу тебя понять. Но старик прав. Только гаджо может убить другого гаджо, потому что их сердца пустые и жестокие...

– А ваши? Наполнены добротой и любовью? Настолько, что вы не в состоянии разобраться с ублюдком?

– Видишь этот контактный рельс? – из последних сил вступил старик. – Говорят, в нём пять тысяч вольт. И если человек до него дотронется, то умрёт. Они врут. В нём десять тысяч вольт. И ещё ни один цыган не умер от прикосновения к нему. Но от пуля Ласло...

– Что не так с пулями Ласло? – прервал я его с раздражением.

– Это опасный противник, – вновь заговорил цыган. – Самый опасный среди баронов. Он управляет табором с семи лет и ни разу не бывало такого, чтобы в тоннеле его кто-нибудь не пропустил. Выбор у всех простой: либо вжаться в стенку и смиренно наблюдать за прохождением кибиток, либо быть убитым Ласло. Пули вылетают из дула его пистолета одна за другой, без остановок. Ласло держит пистолет одними пальцами, как скрипач скрипку, стоит на цыпочках, как ребёнок, и стреляет, не глядя на противника. Не знаю, откуда у него эти способности, но убить его мы не можем.

– Ты гаджо, – голос старика стал совсем слабым, кулак уже не отрывался от земли. – Твоя голова не занята мыслью о метро, твоё сердце не наполнено любовью к Иисусу. Ты никому не нужен, кроме своих кредиторов и должников, поэтому в тебе найдется достаточно места для жестокости, с помощью которой ты сможешь покончить с Ласло-негодяем.

– Что ты мелешь, старик? – я уже не пытался сдерживаться и не думал о приличиях. – Ни один ромалэ не осмелился бросить ему вызов, а я, гаджо, смогу взять верх над ним? Закрывай глаза и поскорее умирай. Пусть поезда почтут твою память гудением. Пусть медведи три дня отпевают тебя на твоей могиле. Не порти свою смерть нелепыми фантазиями.

Он, казалось, не слышал моих жестоких неподобающих оскорблений.

– Ты гаджо, – сказал он как в бреду, – ты убьешь Ласло, если заключишь договор со своим сердцем.

– Я просто пришел за патронами для пистолета, который достался мне от одного из твоих, как мы сейчас выяснили, многочисленных московских тёзок. Патроны – это все, что мне нужно. Но теперь даже и они мне не нужны.

– Это тебе только кажется, – хрипел в предсмертном бреду старик. – Тебе только кажется, что ты пришёл за патронами. На самом деле ты пришёл убить Ласло и освободить цыган.

– Это чушь, чушь, всё, что ты здесь говоришь, – закричал я в ответ. – Я не хочу больше это слушать...

– Убей Ласло.

– Чушь!

– Убей Ласло. Пойди и убей Ласло.

– Умри уже быстрее. Ты несёшь бред.

– Убей негодяя и самозванца.

– Полоумный идиот.

– Убей... – старик вдруг остановился на половине своей безумной фразы и уставился стеклянными глазами куда-то вверх.

– Ласло, – окончил за старика его фразу цыган и закрыл ему глаза. Кулак, которым старик пытался сотрясать во время разговора, раскрылся, и из него на метрополитеновскую серую землю высыпалось семь патронов.

– Это твои патроны, – сказал цыган, поднимая их с земли. – Ты волен взять их и уйти, либо... Я взял патроны и положил их к себе в карман с пистолетом.

– Этому старику ты вёз свой пакет с конями? – спросил я.

– Да, я думал выменять их на хороший гидрокостюм, чтобы мне не так мокро было сидеть в пруду. Но теперь... – цыган рассеянно оглянулся по сторонам на остатки табора.

– Пойми, – сказал я трусливо. – Мы ничем не можем здесь помочь.

– Но старик же сказал, что если ты заключишь договор со своим сердцем...

– Старик бредил, пойдем, я ничего не могу сделать с Ласло-негодяем.

– И ты позволишь ему совершить первое подземное путешествие вокруг света и стать королем цыган?

– Это чепуха. По метро невозможно обогнуть земной шар. Московское метро рано или поздно закончится, и поверь, оно окажется сильно меньше того, что вы там себе нафантазировали. Да и вообще, я не думаю, что Иисусов брат когда-либо существовал. Всё это сказки про белого бычка.

– Ты еще скажи, что самого Иисуса не существовало, – ответил мне цыган, – что он не пострадал и не умер за всех нас в мучениях на кресте. Ты просто трусливый пустопорожний гаджо, который только и думает, что о своей ничтожной мелкой жизни. Зачем она тебе? Ты даже не знаешь, что с ней делать. То ли тапёром устроиться, то ли медведями заняться, то ли шляться по паркам и подслушивать чужие разговоры.

– Послушай, ты огорчён смертью своего контрагента, который был тебе, может, даже больше, чем просто контрагентом. Но нужно оставаться разумными. Ты видишь, что Ласло-негодяй сделал с табором Ласло-барона? С нами он поступит точно так же, как и с кибитками. Особенно со мной, когда узнает, что я пришёл мстить за старика. Да и с тобой, думаю, он цацкаться не будет. Он...

– Всё верно, – раздался откуда-то из темноты голос. – Цацкаться я ни с кем не буду...

Послышались шаги, за которыми последовал звук плевка и перешёлк оружейных затворов. Человек явно был не один.

– Ты опоздал, – прошептал мне цыган.

– Это Ласло? – с ужасом спросил я. – Ласло-негодяй?

– Самое время тебе прислушаться к своему сердцу. Другого выхода теперь у нас нет.

Вдруг бахнуло несколько выстрелов. Пещеру наполнило отчаянное конское ржание. Я повернул голову и увидел, как наша нежная лошадь грузно свалилась рядом со своим мёртвым хозяином. Из тела ее бежали ручьи крови.

7

На нас вышла группа мужчин с ружьями, женщины и дети. Возглавлял их высокий блондин с голубыми, похожими на ядрышки миндаля, глазами. Думаю, эффект создавался линзами. Таких идеальных глаз в действительности быть не может. Одет он был так же, как мой цыган: жилетка, широкие штаны, на голове – шляпа с небольшими полями.

– Мы решили вернуться за одной вещью. Буквально на пару минут. И что я слышу? Кто-то здесь хочет помешать моим невинным подземным путешествиям? – проговорил блондин.

– Ты негодяй, Ласло, – невозмутимо ответил ему цыган. – Зачем ты убил лошадь?

– Толку от неё? Она ни на шаг не отступает от своего бесполезного хозяина, – блондин в шутовской манере приподнялся на носки, чтобы разглядеть тело старика. – Уже мёртвого, как я понимаю?

– Зачем ты убил Ласло?

– Я никого не убивал. Просто пальнул в него пару раз. Он сам умер.

– Ты убил Ласло и похитил его табор.

– Похитил его табор? – спросил блондин с возмущением. – И меня еще в чём-то обвиняют? Люди присоединяются ко мне, потому что хотят увидеть исполнение обета, данного мне Иисусом.

– Нам, – поправил его цыган. – Данного нам Иисусом.

– Нам, хорошо, – неохотно согласился Ласло. – Но люди идут ко мне, потому что хотят свободно путешествовать по миру, а в таборе, который возглавляет немощный старик, вряд ли можно обогнать землю под землей.

– Ты убил старика из-за его немощности? Это не по-цыгански.

– Я никого не убивал. Он умер, потому что внушал людям, будто на самом деле на что-то способен. Он заблуждался и вводил в заблуждение других.

– Не думаю, что люди присоединяются к твоему табору добровольно.

Блондин оглянулся на стоявших за ним людей. Ему никто ничего не ответил.

Перепалка продолжалась, и было понятно, что дело идет к драке. У блондина на поясе висел патронташ с кобурой, которую он расстегнул по ходу разговора. Цыган тоже был вооружен. Под жилетом у него я заметил пистолет. Наверно, привез в пакете и успел перепрятать на себе. Но на что он надеялся, я не знаю. В свете всего того, что он мне рассказал про последнего Ласло, шансов на победу у него не было.

Мой пистолет лежал у меня в кармане. Туда же я положил патроны, которые передал мне цыган перед появлением Ласло-негодяя. Я осторожно ощупал их рукой. Нужно было попытаться зарядить пистолет незаметно, то есть не вынимая руку из кармана. Но для такого дилетанта, как я, это оказалось, конечно же, непосильной задачей. Патроны закатились за подкладку, пистолет остался с полувыдвинутым магазином. Принять участие в перестрелке мне точно не светило. Цыгана, конечно, было жалко. Он оказался хорошим человеком, и я успел привыкнуть к нему за наше недолгое знакомство. Однако нужно было думать об укрытии и надеяться на то, что Ласло захочет проводить со мной переговоры, а не убьёт следом за цыганом. В том, что моего спутника ждёт верная смерть, я не сомневался.

Вдруг я почувствовал какое-то движение внутри пистолета. Он как будто дёрнулся и образовал волну, которая передалась мне и, пройдя через руку, ударилась в сердце.

Цыган и Ласло продолжали словесную перепалку, всё чаще вставляя в неё крепкие выражения, в которых в основном фигурировали незаконные детёныши, появившиеся на свет в резуль-

тате соития между медведями и лошадьми. И вот посреди всей этой ругани я отчётливо услышал голос моего пистолета.

– Убей Ласло, – сказал он мне.

Я почувствовал, как патроны в моей куртке задвигались и поползли в сторону магазина.

– Убей негодяя, – через моё тело пронеслась новая волна, еще более мощная, чем предыдущая.

Я почувствовал, как сердце моё забилося, заколотилось, словно загнанный в клетку волк, и посреди этого бега вдруг дёрнулось особенно сильно, не соблюдая принятого им истеричного ритма. А потом мне показалось, что внутри пистолета тоже появилось сердце. И дёрнулось на самом деле не моё сердце, а сердце пистолета. А моё – оно только отозвалось на это биение стали. Оружие в моих руках стало живым существом. Патроны пролезли в магазин и заперлись там. Я чувствовал каждый патрон, и у каждого было своё маленькое сердце. Потом из этого живого существа, которое было когда-то пистолетом Макарова особой цыганской модификации, мне в ладонь стали прорастать железные ростки. Я почувствовал палец, лежащий на спусковом крючке, и спусковой крючок как единое целое.

– А теперь, – сказал мне пистолет. – Скажи, что ты хочешь убить Ласло. Выйди вперед и скажи громко и отчетливо, что Ласло никогда не совершит кругосветное подземное путешествие, потому что мёртвым положено лежать в могиле, а не путешествовать.

Что-то внутри меня сопротивлялось тому, что я собирался сделать, но своей воли у меня больше не было. Вернее так: моя воля полностью совпадала с волей пистолета, а то, что ей сопротивлялось, уже не было мной. Мои смешные желания, страхи, сомнения – крючки, на которых они держались, покрывшись ржавчиной и рассыпались в песок.

Я вышел вперед и остановился. Заметив моё движение, Ласло с цыганом замолчали, вероятно, от удивления. Я почувствовал, как стальные ростки расцвели в моей груди холодными жестокими цветами. Пистолет прорвался к моему сердцу и залил его своей железной яростью. Теперь это была и моя ярость. Ласло пришёл в себя и открыл рот, собираясь что-то произнести, но я его опередил.

– Я хочу убить Ласло, – сказал я вслух. – Я хочу убить Ласло, потому что таким, как он, положено гнить в могиле и верховодить мертвецами, а не живыми людьми.

Ласло огляделся вокруг растерянно, как будто смысл моих слов не сразу стал ему понятен. Но его растерянность длилась всего лишь долю секунды. Он вдруг изменился в лице и пристально посмотрел на меня. Целый океан злобы плескался за его круглыми линзами.

Всё, что случилось после, я знаю скорее с чужих слов. В моей памяти сохранились смутные картинки нашего поединка. Помню, как я поднимал пистолет или даже, скорее, пистолет поднимал мою руку и целился. Помню, как в двадцати метрах от меня Ласло вытанцовывал свой танец смерти, становясь на цыпочки и перекидывая свой пистолет из одной руки в другую, словно решая, с какой будет удобнее выстрелить. Его голова была повернута немного вбок, а на лице играла тонкая улыбочка. На меня он не смотрел. Он и так знал, где я нахожусь и что делаю. Он вполне мог бы закрыть глаза. Чтобы убить меня, зрение ему вообще не требовалось. В какой-то момент он вдруг замер и уставился на меня одним глазом, который почему-то из голубого сделался пустым и черным. А потом я понял, что это не глаз, а дуло его пистолета смотрит на меня и хочет моей смерти. Тело моё зашло судорогой. Раздались выстрелы, вокруг пистолета Ласло образовалось облачко дыма. Меня что-то толкнуло в грудь и повалило наземь. Последовал удар по голове, и я потерял сознание, успев перед этим подумать, что у моего пистолета всё-таки ничего не вышло, и Ласло сумел меня укокошить.

В себя я пришёл через несколько дней. Так мне сказал цыган, которого я увидел, когда открыл глаза. Впрочем, зная его страсть к преувеличениям, без сознания я, скорее всего, пробыл более

короткий промежуток времени и очнулся не через несколько дней, а через несколько часов. Что-то меня удивило в образе цыгана, и я долго не мог понять, что именно. Мы находились внутри кибитки. Под тентом, натянутым на металлические дуги, болтались из стороны в сторону котелки, миски, разделочные доски – нехитрый скарб людей, ведущих походную жизнь. Цыган сидел на маленькой скамеечке, приделанной к внутреннему бортику, и отхлёбывал из своей фляжки. На голове у него была шляпа Ласло. Я спросил цыгана, куда мы едем. Он махнул рукой в неопределенном направлении, а потом сообщил, что при падении я ударился головой об шпалу. Сильно, но, слава богу, не смертельно.

Ласло был мёртв, и убил его я – об этом цыган мне тоже поведал во всех подробностях. Но больше его поразило другое.

– Ты сделал то, чего никогда не сумел сделать ни один ромалэ, не говоря уже о гаджо. Ты выстрелил в Ласло сразу всеми семью калибрами своего пистолета. Ума не приложу, как это у тебя получилось... Первый калибр немного ранил Ласло, второй покалечил, третий причинил серьёзное увечье и так далее до самого последнего, который разнёс ему череп. И теперь ясно, что только так и можно было его прикончить. Легко ранить, покалечить, убить – всё разом, потому что Ласло совмещал в себе все проблемы и хлопоты, какие только может доставлять плохой человек.

Цыган пустился в перечисление пороков Ласло-негодяя, попутно описывая совершённые им злодеяния, но мне вдруг сделалось скучно. Я не знал этого человека при жизни, так зачем же мне нужно было что-то узнавать о нём после его смерти? Я притворился, что на меня напала дремота, и закрыл глаза. Заметив мою сонливость, цыган замолчал, а потом начал вполголоса напевать песенку про нас с Ласло. «На ходу, что ли, он её сочиняет?» – подумал я и провалился теперь уже в настоящий, а не притворный сон.

С тех пор я много раз слышал историю моего поединка. Рассказывали мне её разные люди, и каждый раз она обрастала все новыми подробностями: как стрелял я, как стрелял Ласло, что мы говорили друг другу, как двигались, где лежал мёртвый старик, как умерла лошадь, как кто-то из пришедших с Ласло спутников пытался стрелять в него, когда он убивал лошадь, и потом, когда он пытался убить меня. Последнее меня умиляет особенно сильно. Кто-то, оказывается, покушался на Ласло, пока мы с ним размахивали пистолетами. Но я не перебиваю и с удовольствием выслушиваю все версии, охотно веря в каждую.

В ответ меня просят рассказать про мою жизнь до поединка. Таковы правила цыганского общения: история за историю. Делаю я это, в отличие от остальных, неумело, да и без особой охоты. Моя прошлая жизнь мне мало интересна. Сам про неё я все знаю, а рассказывать другим то, что тебе самому неинтересно – дело трудное и неблагодарное. Всё равно не поймут или поймут неправильно. Оно обычно так и бывает. Когда я дохожу до самых трагичных моментов своей жизни, публика взрывается хохотом, а над смешными историями плачет. Бывает иногда и так, что мне не верят. Особенно не верят дети, когда я говорю, что появился на свет без пистолета в руке. В таких случаях я прошу цыгана подтвердить мои слова, но он только смеётся и говорит, что я всё придумываю, чтобы повеселить своей историей маленькую публику. Ну что же, я не возражаю и рассказываю про себя так, будто живу с пистолетом вместо кисти с самого рождения.

Мне и самому всё чаще кажется, что история моей жизни, которую придумали себе другие, правдоподобнее той, которую рассказываю им я. Пистолет стал настолько органичной частью моего существования, что без него я себя просто не представляю. Не знаю, где точно пролегает граница между нами и есть ли она вообще. Сталь прочно выросла в мою плоть, а плоть проникла во все поры пистолета. Патроны рождаются у меня в груди и досылаются в оружейное дуло по кровеносным сосудам. Стреляю я силой мысли, а в прицеливании полагаюсь на милость божью. Я заключил договор со своим сердцем: оно любит и ненавидит тех, кого люблю и ненавижу я. Люди называют меня Ласло. Я глава табора и цыганский барон. Тоннели метро завещал нам Иисус, и я буду сражаться за них до последней капли своей медвежьей крови.

Егор МИРНЫЙ

ТРЕТИЧНЫЕ И ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ТЕКСТЫ

зажато между пластинками Doors и
Sting треками «Waiting For The Sun»
и «Mad About You» разъятия не
предполагается

то что ранее было написано переписывается
насухо потрескивания дают
знать о себе

– лишь отражения теней никак
не тени
отражений –

преследует будто в пыльных ладонях
заживают будничные изменения
спросите их: насыщение побуждено?

надпись на фронтоне университета:
«Плюсующим. Плескающим. Пестрящим».
есть что обнаружить и развязать

Мышление – это винная пробка с которой
играет кот загоняя её под
холодильник

испеление как нежность как
дрожь
радость быть запутанным

развенчивание тепла и
потягушки

Егор Мирный родился в 1983 году в городе Мелеуз Республики Башкортостан, в 2006 окончил Уфимский государственный авиационный технический университет. Стихи публиковались: «Воздух», «Цирк "Олимп" + TV», «Артикуляция», «Литература», в поэтической антологии «рассажженный огонь» и др. Автор книги стихов «На кострах заросшем Плутоне» (2013). Живет и работает в Уфе.

глюонный след / обрыв
играет на руку превращению
преломления в наготу

компас в котором
проделали отверстие величиной с
потерю зрения

мы – лучезарная математика
которую протянули через
катки рассредоточенности

прозрачные воздушные шары заслоняют мне
воздух

наскальная живопись в которую
встроено освоение чулок и
влажных салфеток

орган̑ перечёркнутый клавишином игла
воспроизведения нерушимости
псевдозла

третичные и четвертичные тексты со впадинами
прорывов

возникновение световых отсеков
прерываемое развитием конусности

кот играет с клавишами сна
галактики играют спиральными волосами
Вероника принимает аскезу

нынешнее время совершенно

*

денисовский человек старообрядцу Денису
«пещера твоя хороша. в ней душа моя селится».

гнездится – отвергнутый глагол

мои сравнения так чисты что я не
использую их в поэтической речи

слышит свой храп сквозь собственный сон

сквозь собственную жизнь

«гнездование» тоже подходит

*

не с исчерпывающей точностью

питекантроп пригнувшийся у ручья
съест ли он сегодня пургаториуса
не сердечен ли он

критическое количество мыслей минует
письмо чтобы тотчас
разомкнуться

разлад
молочный улун как всегда
перенасыщен философия как обычно отстаёт
от физики

не пора ли пришла окунуться
в останки равнобедренного преодоления
красоты

текучка рёва или
воспоминание о тебе бликующей

от этой сирени так и хочется
оторваться

перекрывается ли
одно
другим
третьим

возникновение сознания номер 4

безоблачность
бомбардировка бога нуклонами

мучнистое лето перевязанное сопротивлением
страху упустить хоть что-то из бытия

радуга проходящая сквозь
растворение (следы амниот с когтями)

техносигнатуры
уводящие в поля
трапециевидных надрезов

башенный кран
не достающий до моей башни

самовзаимодействие (откуда бы оно ни пошло)
родинки ответвлений нежности
на ссадинах синтаксиса

между шелушением и зудом есть окно
возможностей
онтологический гул

сводные ведомости
несводимого

хрупкие и легендарные РНК
до сих пор делают всё
о чём мы не мечтаем

чу! молитва о
бесконечности следующей
молитвы

всех вас кого

чу! Вояджеры
летят и
подают нам

голоса темноты надежды герметичная
свежесть исход

из-под
небес
по-птичьи

вакуум
вылизывает спектрометр
магнитометр все

приспособления
улетучивания

из-под крыла
вычислений сочится
неизводимая
гравитация

до сей поры
с времён тех
дальних

отражение сигналов друг от
друга
внакладку

чёткие повторяющиеся фрагменты
будто следы
упования замирания промежутки редких
отрывков из молитвы о
чу!

с кромешных не пришедшие полей

дело не продвигалось
кассеты
разбирались плохо
синяя кнопка
оставалась
в уединении

*

рассечение нервом
лезвия
разогнанного до
тишины
усилия

*

его ждут текст-
буравчик и
текст-бытовка

в отдалении теплится каучук
свиваясь в безопасный
кафель

как тогда
на лавке-пружинке
под
огнём

*

прижимает голову к
головной боли
но боль говорит: я своя
или: я сама от себя чья
взяла?

*

в него целились
слабо позади
него возвышалась
дорога

от неё нарисованные «невмоготу» «не знаю»
«не буду знать» «это не есть критика» «этому
есть нежность» «цифры впереди тебя»
«через голову головы»

только в одну сторону
решительность
прикосновенна

МОДЕРАТОР

Повесть

Несмотря на то, что боль в правом колене была во второй половине дня ощутима, Настя, или, как гораздо чаще ее называли, Анастасия Вадимовна, последнюю часть пути шла пешком. Решение это было добровольным – она вполне могла подождать трамвай, – но все равно страшно Настю раздражало. Оно, как почти все принимаемые ею решения, казалось ей навязанным со стороны. «Трамвай не дождешься!» – решила она сама, но в этом «не дождешься» она явно ощущала чужую злую волю. Кто-то намеренно задерживает трамвай. Кто-то намеренно не выпустил на линию достаточное количество трамваев. Кто-то сделал так, что и в имеющихся на линии составах ехать неприятно, некомфортно, нет свободных мест. Она просто реагировала на проявление чужой недоброй воли. Шла пешком.

Была середина осени. В лужах отражались только-только включенные фонари. Весь день шел дождь, что было для этого города и для этого месяца совершенно естественно, а к вечеру он прекратился и даже и зонтик был не нужен. Чем тоже, хоть и совсем немного, Настю раздражал. Таскай его. Впрочем, его более чем вероятная необходимость на обратном пути примирила ее с необходимостью нести его теперь. «Через два часа будет дождь», – думала она. И начинала раздражаться на эти два часа.

Все хорошие школы устроены одинаково. Каждая нехорошая школа устроена точно так же. Но без малейшего намека на эмпатию. Директор нехорошей школы не понимает, и не пытается понять педсостав. Завучи не понимают претензии педсостава к составляемым планам и расписаниям. Учителя видят в учениках досадную обузу. Ученики видят в учителях то же самое. А уж родители с учителями – это вообще с разных планет существа. Одни смотрят на других, недоумевая от того, что те находят в себе наглость требовать: «Научите моего ребенка! Вы, в конце концов, оказываете услугу!» Им хочется рявкнуть что-то вроде «твой ребенок, ты и учи!», или еще что похуже. Другие не понимают, что может человек, получающий деньги за передачу знаний их ребенку, иметь в виду под «Мало занимаетесь дома!» в адрес рабочего человека.

Анастасия работала в школе очень давно и знала, что часть из предстоящих двух часов родительского собрания уйдет на похожие препирательства. Она знала, что отвечать. Она знала, как аргументировать. Было ли от этого менее неприятно ждать собрания? Нет. Первое, вводное, пятый класс. Большинство лиц новые. Четверть будут совсем недоговороспособные. Четверть – напыщенные дураки. Будут рассказывать ей о законах, которых не читали, ссылаться на Конституцию, которой не видели в глаза. Будут вращать глазами и шипеть «должно быть уже оплачено государством!». С этими будут проблемы при сборе на классные нужды, при сборе на охрану, при обсуждении питания. К ним примкнут малоимущие. Найдутся две мамы, с воловьими глазами. Будут говорить «мы», «у нас» и «нам». Жалостливо и привычно. Будто в классе они всей семьей. Не один ученик, не одна ученица, а «мы». Словно за выбор рожать, рожать и рожать, не имея ни достатка, ни жилплощади, ни перспектив, ответственны не мамаша эта со своим мужем, а и этот

ученик. Да и вообще, все. Общество, так сказать. Вместе они изволили решить, что ей надо становиться многодетной. Теперь это «наша» проблема. Классного руководителя, класса и этих «мы».

Анастасия огибала лужу с плавающими в ней кленовыми листьями.

Будет обязательно представлен противоположный полюс. Не менее раздражающий. Родители без материальных проблем. Эти будут недоумевать «почему мы спорим из-за трёхсот рублей? Разве это деньги?», искренне не понимая, что да – нередко это деньги. А для большинства собравшихся это деньги всегда. Это идти в любую погоду две остановки пешком, чтобы не тратить на трамвай. Это выбор товаров по акции в дешевом супермаркете. Это 30 минут в месяц и один гигабайт интернета – и не дай бог не уложиться в тариф. Это комфорт, время, чувство собственного достоинства. И непониманием вот этого важнейшего – чувства собственного достоинства – обеспеченные родители и раздражают.

В прошлой параллели, в классе, где Анастасия была классным руководителем, был мальчик с родителями даже чрезмерно обеспеченными. Им хотелось выделиться настолько, что папа предложил купить в класс плазменный телевизор. Папе было неловко, особенно когда Анастасия стала ему объяснять, что так не делается. Что государство обеспечивает школу ровно тем, что является для процесса обучения необходимым. Что наличие телевизора в классе делает ее – как классную руководительницу – материально ответственной. А это лишняя морока. Это лишняя отчетность.

Анастасия знала, что раз папа с этим предложением подошел к ней тет-а-тет, он хотел этот телевизор купить от себя. Она это знала. Но для завершения диалога прибегла:

– Знаете, и потом... Не все в классе находятся в одинаковом материальном положении. – Она смотрела на этого папу очень серьезно. Можно сказать, назидательно. – Я боюсь, что некоторым родителям будет затруднительно сдать деньги на такую дорогую вещь.

– Так я не имел в виду, что надо скидываться! – горячился папа, видя в таком повороте диалога надежду на улаживание дела. – Я готов, я приобрету сам! Я собираюсь сам!

– А... Сами! – Анастасия сделала паузу. И устало. И уже точно, назидательно: – Я лично и школа, Алексей Алексеевич, мы очень Вам благодарны. Но если у Вас есть такие возможности, я попрошу Вас использовать их иначе. Пожертвуйте на благотворительность. На больных детей или на беженцев Донбасса.

Она видела, как папа смущен. И его смущение ей польстило. Анастасия почувствовала гордость. Будто сделала важное и хорошее дело. Теперь, когда она вспомнила этот тип родителей, этот случай, этого папашу, она даже улыбнулась внутренне.

«Будет знать», – мелькнуло в голове.

Будучи, в сущности, не старой женщиной, и застав Союз только на самом его излете, Анастасия почему-то очень трепетно относилась к понятию «классовая борьба», на которое ей в том самом Союзе было положительно наплевать. Сама себе объясняла эту эволюцию взглядов емким «поумнела». Классовую борьбу она вспоминала, объясняя свою неприязнь к «слишком» обеспеченным. Бедных она не любила по другой причине.

Раздраженно, но монотонно подумав о предстоящих часах собрания, Анастасия Вадимовна заглянула в магазин и купила там пару бананов и йогурт. Она понимала, что нормального ужина сегодня не будет. Рассчитываясь за покупки с армянином-продавцом, она вспомнила о следующей раздражающей категории родителей. И с этой категорией ей сегодня совершенно точно предстояло столкнуться. Это были мигранты.

Совершенно малочисленные в девяностые, предпочитавшие если и не столицы, то уж точно «большую землю» – так в области называли Россию в «большой» ее части, мигранты все более заполняли город теперь. С каждым годом все чаще в классах появлялись их с трудом говорящие по-русски дети. Росло раздражение от их лиц, от их привычек.

В классе, который был теперь под ее руководством, все эти категории родителей были представлены. Анастасия снова подумала о каждой категории по отдельности. Потом обо всех вместе.

Потом подумала, что наверняка будет и еще кто-то, пока ею не классифицированный, но не менее неприятный. У нее болело колено. Она прошла три остановки. Ей предстояло два часа говорить и выслушивать банальности.

Вот и ворота.

Внутренне раздраженная, но совершенно спокойная внешне, слегка прихрамывая, двадцать третьего числа второго осеннего месяца октября, завуч и классный руководитель Анастасия Вадимовна вошла на территорию школы. Она поздоровалась с охранником, взяла ключ от кабинета.

– Собрание? Анастасия Вадимовна, совсем вас загоняли! – участливо сказал охранник, преданно глядя на нее.

– И не говорите, Павел Петрович! Умотали...

Еще и трамвая не дожدهшься.

На часах было девятнадцать сорок пять. С назначенного времени собрания прошли пятнадцать минут. Было ясно, что не начинать его будет уже актом неуважения к тем собравшимся, кто уже сидел в классе.

– Ну что же, дорогие родители, я думаю, нет смысла тянуть дольше. Те, кто пришел – пришел. До тех, кто не пришел, мы доведем информацию. – Анастасия Вадимовна начала говорить и оглядела класс. – Спасибо Вам, что нашли время, пришли. Я ваш классный руководитель. Сразу извинюсь, что собрание поздно, в октябре. Раньше не получалось по техническим причинам.

За партами сидели взрослые люди. Взрослый человек, сажающийся за школьную парту, чувствует себя максимально неловко и максимально странно. Неловко потому, что ни парты, ни стулья банально не предназначены для взрослых людей и создают ощущения дискомфорта и узости. Взрослый человек ощущает себя Гулливером у лилипутов. Расстояния между партами слишком малы. Взрослый оказывается за партией в клаустрофобической ситуации. Ни откинуться на стуле, ни банально комфортно вытянуть ноги он не может. Край парты давит в живот. Спинка стула оканчивается где-то там, где только начинаются лопатки. Взрослому плохо за этой партией. «Не бывало таких парт! Не бывало таких стульев!» – словно говорит ему его тело. Странно же он чувствует себя потому, что он снова оказывается в школе, точно такой же, как та, где он учился сам, но совершенно в ином статусе. Его больше не вызовут к доске. Его не будут бранить за отсутствие сменной обуви. Но. Но: учитель тут, парты тут, доска тут – и все это вызывает смесь беспокойства и малореальности происходящего. Висящий на стене Федор Михайлович Достоевский, кажется, смотрит на взрослого и говорит ему: «Ну какой из тебя родитель, лоботряс?». Даже многодетные матери нет-нет да и ощутят что-то подобное.

– Дети наши учатся уже почти два месяца. – Анастасия Вадимовна нарочно сказала «наши». Она сокращала дистанцию. Показывала родителям, насколько она вовлечена. – Я успела с ними познакомиться. Вникнуть в проблемы. К сожалению, нам без проблем не удалось войти в учебный год. Но об этом позже.

Родители расселись неравномерно. На некоторых партах сидели по двое. Так, ряд напротив учительского стола, ряд у окон, был занят до четвертой парты включительно и целиком. Дальний же ряд, у двери, был, напротив, занят частично: за первой и почему-то третьей партией ряда сидело по одному родителю. За первой сидел круглый мужчина. За третьей мужчина не круглый.

– Я предлагаю пойти по следующему графику. Мы познакомимся. Выберем родительский комитет. Обсудим необходимые сборы. – Анастасия Вадимовна сделала паузу. – После этого мы обсудим ваши вопросы и имеющиеся уже проблемы.

Раздался то ли кашель, то ли смешок. Анастасия не успела понять, откуда, собственно, раздался звук. Видно было только, что привлек он практически всеобщее внимание. Большинство родителей, стараясь делать вид, что ничего необычного не произошло, «незаметно» вращали головами. С учительского места это смотрелось даже комично.

– Начнем. Я буду называть фамилию ребенка. Его родитель, или представитель, будет поднимать руку или говорить «я», хорошо? – она надела очки и стала зачитывать фамилии, поднимая после каждой взгляд на класс.

– Андреева.

Рука с третьей парты среднего ряда. Женщина лет тридцати. Блузка.

– Амвросиев.

– Я, – первая парта средний ряд. Бабушка.

– Апанасова.

– Тут, – неожиданно, та же парта. Женщина с веками.

– Афиногенова.

Нет никого. Видимо, не смогли.

– Аяцков.

Рука с учительского ряда. Третья парта. Толком не видно. Женщина.

– Бушков.

– Мы, – радостно круглый мужчина. Весь сияет.

И так фамилия за фамилией. «Гаврилов, Губайдулин, Варакина, Липкин, Макарова, Никонов, Ожегова, Петрова...» Рука – там. Рука – сям. «Я!», «тут»!

– Пастениди! – рука. Совсем мальчик. Анастасия Вадимовна смотрит поверх очков. – Вы брат?

– Да. Брат. Но я студент, – как-то заикаясь.

Дальше, дальше. Дальше. И вот они, родные.

– Умяров.

– Фахретдинов.

– Шабидзе.

Рука, рука, рука. Вторая рука даже и не с первого раза. Видимо, непонимание русского звукоизвлечения носит в семье системный характер.

Двадцать две фамилии. Четырнадцать на месте. И двадцать третья. Тоже на месте.

Яцко.

– Расчёт окончен, – вдруг говорит бас. Это мужчина не круглый. С третьей парты ряда у двери. Он сказал это спокойно и, кажется, доброжелательно. Но настолько «вдруг», что Анастасия Вадимовна и на него посмотрела поверх очков. Она не одобряла превращения класса в балаган, даже если детей в классе не было.

– А почему, простите, вы так решили? – строго спросила она. К ее удивлению, мужчина совершенно не смутился. Он посмотрел на нее и очень спокойно сказал:

– Я решил именно так потому, что «Я» – последняя буква алфавита. Так говорила моя бабушка. И это же мне подтвердили в школе.

– Вы чей папа? – Анастасия Вадимовна была расстроена, что не запомнила сразу. Сейчас было бы неплохо срезать его, обратившись по фамилии. Она спросила максимально сухо.

– Я Светы Макаровой папа. Артем. Будем знакомы.

– Ясно, – чем срезать было не очевидно. – Начнем с родительского комитета.

Анастасия Вадимовна с удовольствием отметила, что круглый папа, сидевший через парту от папы Макаровой, был его демаршем тоже возмущен. Он вроде даже и открывал рот, чтобы что-то сказать, но, видимо, тоже не придумал что.

Родительский комитет

– Анастасия Вадимовна, давайте я. – Она говорит, как старой знакомой. Ровно, спокойно. Она чуть выделяет «давайте», но не очень сильно. Это не просьба и даже не предложение. Это констатация факта. Она будет главой родительского комитета. Это знает педагог (она называет учителей именно так). Это знают, или должны, по ее мнению, знать, собравшиеся.

– Вы... Варакина? – Анастасия Вадимовна понимает, что эта женщина не просто так говорит уверенно. Она вспоминает ее лицо. Конечно. Она видела это лицо. Наталья Варакина – мама Паши Варакина, закончившего год назад. – Наталья... Сергеевна, кажется? Наталья Сергеевна, рада снова Вас видеть. Со вторым ребенком. С опытом, так сказать.

Варакина польщена тем, что ее узнали и одновременно воспринимает это как должное.

– Спасибо, Анастасия Вадимовна. Хочется помочь вам максимально. У меня, сами знаете, опыт работы в родительском комитете есть. Я не то чтобы навязываюсь, но думаю, что всем будет так проще...

Люди в России уверены, что воруют везде. Вообще везде. В этом смысле нет больших русофобов, чем русские люди. Они уверены, что со стройки крадут щебень и батареи, из поликлиники бахилы и шприцы, из офиса – бумагу. Они уверены, что крадут то, что не прикручено. Они верят, что прикрученное откручивают и крадут. И тем более никто не сможет убедить русского человека в том, что там, где есть живые деньги, пусть самые невеликие, может не быть воровства. Родительские комитеты в этом плане – одни из наиболее подозрительных институций, с которыми граждане сталкиваются во время учебы их детей. Во-первых, они общественные, то есть состоят из таких же родителей. Людей, склонных, по мнению русского человека, к криминальным поступкам. Во-вторых, они, по сути, крайне демократичны. Т.е. решения о собираемых суммах и способах их трат принимаются коллегиально. А значит, несправедливо и глупо. По мнению русского человека, с единственной целью: обшельмить именно его. Наконец, родительские комитеты, собрав деньги, зачастую имеют самое приблизительное представление об отчетности. И этим только усугубляют подозрения в свой адрес.

И в самом деле, на что не пойдешь, чтобы не поживится полуторами тысячами рублей, например?

Человек, добровольно и с охотой вызывающийся родительский комитет возглавить, просто не может не быть подозрителен. Анастасия Вадимовна видит, что несколько родителей с сомнением переглядываются.

– Наталья Сергеевна, я в целом за. Но это должно быть решение не мое. И не ваше. – Анастасия Вадимовна улыбается максимально доброжелательно Варакиной. – Давайте проведем голосование. Родители! Родители!

Родителей не надо призывать к порядку. Поэтому обращения выглядят как элемент нагнетания торжественности.

– Родители, ставлю на голосование кандидатуру Натальи Сергеевны Варакиной в качестве председателя роди... – быстро говорит Анастасия Вадимовна, и тут случается неожиданное. Раздается полный сомнения и какой-то желчи голос.

– Странно как-то! Не очень ли быстро вы голосовать решили? – говорит женщина с ряда у окна, синий свитер, черные распущенные волосы и несколько одутловатое лицо. Ни по свитеру, ни по волосам, ни по лицу возраст женщины быстро не определим. – Может быть, кто-то еще хотел?

– Что хотел? – как бы себе, а не родителям говорит Анастасия Вадимовна. Ее настолько выбивает из колеи развязный тон говорящей, что она теряется и не сразу понимает, что к чему. – Вы имеете в виду, рассмотреть другие кандидатуры? Конечно! Конечно! Вас, простите, как зовут? Вы хотите выдвинуть кандидатуру?

– Я Мария. Я не про то, что стать. Я про то, что быстро как-то. Странно, говорю! – женщина не называет фамилию. Тон по-прежнему развязен. И становится все более вызывающим с каждой фразой. Она словно накручивает сама себя. Убеждает сама себя в странности и несправедливости происходящего.

– Мария как? – пытается уточнить Анастасия Вадимовна.

– Что значит как? Я говорю не про себя. Я говорю вообще. Странно. Раз-раз и давай голосовать!

– Мария, я не знаю как вас по отчеству. И уточните, пожалуйста, чья вы мама? – Анастасия Вадимовна пытается вернуть беседу, неожиданно и бессмысленно выходящую из берегов, в спокойное русло.

– А какая разница, чья я мама? Это тут при чем? Ребенок тут при чем? Если вы даже не спросили, может, еще кто хочет, а раз – и голосуй? Ребенок при чем тут мой? – как ей кажется, резонно, вопрошает Мария.

Внезапно вмешивается бабушка Амвросиева и вмешательством своим делает обстановку еще более накаленной.

– Мамаша, вы чего разнервничались-то? – всем своим тоном она показывает, что дело плевое и что некоторым стоило бы и нервишки подлечить.

– Я вам какая мамаша такая? – Мария.

– А кто? – искренне удивляется бабушка.

– Я вам тут... Вы какое право-то? – Мария пытается придумать яркое хамство, чтобы бабушку осадить. – Я говорю... Быстро, говорю, она мне мамашкает!

– Вечер перестает быть томным, – меланхолично замечает папа Макаровой.

– Родители! Родители! Спокойнее. Никто не пытается кого-то оскорбить. Никто не пытается никого протащить, – пытается восстановить порядок Анастасия Вадимовна.

– Очень надо! – фыркает Варакина.

– У нас только первый вопрос, поэтому давайте постараемся вести себя корректно и друг к другу, и к... – Анастасия Вадимовна вздыхает. Она понимает, что «друг к другу» достаточно. Она оглядывает класс. И ей на самом деле хочется сейчас просто повысить голос и рявкнуть: «Тишина!» Но, увы, увы. – Давайте поступим следующим образом. Есть кандидаты, кроме Варакиной? Есть?

Кандидатов нет.

– Мария, давайте, раз у вас были вопросы, мы вас рассмотрим в родительский комитет тоже? Там вы сможете свое любопытство удовлетворить. Давайте?

Мария жмет плечами. Дескать, ну раз уж других вариантов нет, то давайте.

– Голосуем за главу комитета. – облегченно вздыхает, уже было начиная улыбаться, Анастасия Вадимовна. Как выясняется, рано.

– Я хочу сказать, что не очень-то я и рвусь. Что бы и кто бы ни думал, – говорит Варакина, и Анастасия Вадимовна с ужасом предполагает, что приключения только начинаются. – Вы, может быть, думаете, что это какая-то такая хлебная должность? Благодарная, может быть?

Варакина поворачивается к Марии. Это происходит медленно, словно Варакина танк, и у танка не спеша поворачивается башня. В башню сложным механизмом закатывается снаряд. Все это не спеша, но неумолимо.

– Может быть, кто-то думает, что в родительский комитет я воровать, может, стремлюсь? – Варакина повернулась и смотрит прямо на Марию. Она очень спокойна. Наводчик опускает дуло. – Может, так? Я тогда скажу. Не надо судить по себе.

Залп.

– Мне все это... – «это» с подчеркнутым пренебрежением. – Не надо и самой. Я хотела помочь, но раз какие-то подозрения, то я и не хочу.

Во всей этой речи Мария уловила, конечно, и агрессию, и вызов. Но, как и многие простодушные люди, на сути Мария не фокусировалась, воспринимая речь как некий шум, обрамляющий выпад. Бессмысленный и беспощадный. Потому самую, в общем, обидную часть с этим «судить по себе» упустила вовсе. Теперь, когда Варакина вроде как отказывалась от положения председателя комитета, инцидент казался ей исчерпанным. Мария смотрела на Варакину, как на новые ворота.

– Да не горячитесь так! – примирительно начала она. – Никто ничего не винит!

– Наталья Сергеевна, в самом деле! Не стоит вам переживать. Просто недопонимание. И я бы

очень попросила вас, с вашим опытом... – Анастасия Вадимовна буквально затараторила: – Все же сделать хотя бы мне одолжение и согласиться возглавить родительский комитет.

Через пять минут и четыре поднятия рук комитет был сформирован. Возглавила его Наталья Варакина. Мария, как все же выяснилось, Липкина, Людмила Афиногенова и Нино Шабидзе, к удивлению собравшихся владевшая русским языком лучше Липкиной и Афиногеновой вместе взятых, вошли в его состав.

Анастасия Вадимовна не упустила возможность немного уязвить папу-резонера Макаровой.

– Вы, простите, не хотите войти в состав комитета? – ненатурально улыбаясь, поинтересовалась она.

– Простите, увы, не смогу оправдать такого доверия. Я и сейчас здесь в большей мере случайно. Обычно слишком занят, – ответил папа.

– Вот, как всегда. – Анастасия Вадимовна обвела класс, будто торжествуя. – Папы всегда чем-то у нас заняты. Неудивительно!

Пришла пора обсуждать деньги.

Классные нужды

«Дал бог зайку – даст и лужайку», – гласит народная мудрость, несколько упрощая каноническую версию для оправдания отсутствия планирования семьи и прочих расходов. «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» И в самом деле, не гораздо ли?

И сказано уже и земными правителями, не от царствия Его: «Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях». Так о чем, казалось бы, беспокоиться?

И Богу – Богово, и Кесарю – Кесарево. И что на земле, то и на небе. И кажется, ну какие могут быть вопросы к родителям хоть по этой части?

Но пути неисповедимы. Классные нужды сами себя не утолят. Классу нужно.

Нужны новые шторы. Нужна вода для кулера ежемесячно. Необходимы пластиковые стаканчики в кулер. Неплохо бы полотенца бумажные. Давайте возьмем туалетной бумаги еще. На всякий. Пакеты для мусора – тоже пригодятся. Бумага для рисования – по комплекту стоит иметь. Детям нужны праздники? Детям нужны подарки? Детям нужны поездки в музеи?

На все вопросы – да.

И дальше – нюансы.

Проблемы совершенно логично стартовали с обсуждения бюджета на подарки. Девочек в классе больше, чем мальчиков. Значит, при том, что суммы со всех собираются одинаковые, на подарки каждой девочке выйдет меньше денег, чем мальчику.

– Значит, – заключала бабушка Амвросиева, косясь на новоизбранный родительский комитет, – девочкам нашим купят пластиковое дерьмо какое... Куклы там...

– Ну почему же вы думаете, что обязательно мы им будем пластиковое что-то покупать? – томно интересовалась Варакина.

– Ну в самом деле! Ну почему же куклы? Им не семь же лет! – поддерживала Анастасия Вадимовна.

– Хотя если буквально пластиковое дерьмо, это было бы даже в своем роде изящно, – почти про себя говорил папа Макаров, раздражая своим резонерством папу Бушкова.

– Надо что-то равноценное! Книжки или ручки! – кипятился Бушков, хотя конкретные подарки еще никто не выбирал. Его круглое лицо покраснело. Он чувствовал, что каждый крик важен.

Потом – поездки. Куда ехать, если не в театр? В театр надо, но ведь можно и в музей! Сколько раз за четверть? А не много ли? А не мало ли?

– Ну вот в кукольный ездила она в том году, – то ли рассказывала, то ли причитала бабушка Амвросиева. – Деньги вроде небольшие, но и ведь неинтересно! А это даже и не в школе!

– Мы поедем по программе школьной смотреть. По программе произведения! – назидательно говорила Варакина.

– Зачем кукольный? Помилуйте! Это же не детский сад! – поддерживала Анастасия Вадимовна.

– Так и в развитии недолго опоздать, – говорил почти про себя папа Макаров.

– На девятое мая будут экспозиции в музеях! – кричал Бушков, все больше на Макарова раздражаясь.

Решены были и эти расходы. Проведен был и им примерный учет.

Анастасия Вадимовна даже подумала, что они идут с опережением графика, когда круглолицый папа вспомнил, что, когда он учился в школе, все сдавали на охрану, и принялся переносить свой опыт из гнетущего прошлого в тревожное настоящее.

Пожилой охранник Павел Петрович, вероятно, не в силах был остановить даже собственное мочеиспускание в нужный момент. Павла Петровича видели на входе все. И пусть в воспоминаниях о тревожных девяностых не было смысла. Пусть давно никто ни на какую охрану не сдавал. Пусть повлиять на ее наличие, отсутствие или качество собравшиеся не могли никак, речь Бушкова производила на преимущественно женскую аудиторию гипнотическое воздействие. Он говорил о безопасности, а значит о страхе. Он буквально этим страхом торговал, выменивая на него внимание аудитории.

– Я видел этого охранника на входе! Если я захочу, я пройду его и даже и не замечу! – жестикулировал и горячился «круглый папа» Бушков. Ему нравилось говорить о своем гипотетическом проникновении в школу вопреки воле охраны. Он видел внимание собравшихся и всячески подчеркивал свою мужественность, брутальность и бескомпромиссность. – Я его и слушать не буду! Я локтем дам и пойду.

– Послушайте. Послушайте! – пыталась доказать недоказуемое Анастасия Павловна. – Павел Петрович, как и его коллеги, все же ветеран! Это во-первых. А во-вторых, агентство с другим персоналом и стоять будет иначе! И наконец, это все никак нельзя поменять тут!

– И пусть! – горячился Бушков. – Пусть стоит иначе! Но это будет безопасность! Пусть будут хоть люди с нормальными пистолетами! Я вам сейчас расскажу, как это делается!

– Как это делается, простите, где? – спросил Бушкова, которого он про себя окрестил уже «маминим пирожком», Макаров.

– Да какая разница где?! – вспыхнул Бушков, который был разгорячен своим гипотетическим боем со школьной охраной. – Везде, где нормально охраняют!

– Вы про школу какую-то? – Макаров, казалось, был искренне заинтересован. И так же искренне не понимал, почему так злит своего соседа по ряду. Тем более в разговоре о нереализуемом.

– Про школу, блядь! – неожиданно еще добавил экспрессии Бушков.

Это «блядь» аж подбросило Анастасию Вадимовну.

– Папы! Папы! Я попрошу! – громко вскрикнула она. – Давайте будем соблюдать приличия. Мы же в школе!

Бушков повернулся к Анастасии Вадимовне, приложил обе руки к сердцу, как извиняются обычно люди, для которых внешний эффект важнее внутреннего, и стал проникновенно и быстро говорить.

– Анастасия Павловна... Вадимовна, простите. Простите, ради бога. Я понимаю, что школа. Я понимаю. Люди культурные. Но ей-богу! – он оставил левую руку у сердца, а правую воздел к классному руководителю. – Тут серьезные вещи обсуждаем! Это, понимаете, безопасность! И я просто не могу, когда кто-то так. Несерьезно!

Он повернулся к папе Макарову.

– Я, уважаемый, извиняюсь, конечно. Но вы понимаете, что надо серьезней?

Папа Макаров смотрел на него ничего не выражающими глазами и несколько секунд молчал. Он вообще, казалось, думал о своем. Потом тихо сказал:

– Как вам будет угодно, – и откинулся на спинку стула.

Когда конфликт, казалось, был улажен, своим мнением о безопасности решила поделиться бабушка Амвросиева. Реплика ее была кратка, апокалиптична, как большинство реплик пожилых людей о дне сегодняшнем, и послужила отличным катализатором.

– Прав папа. Прав. Ситуация-то в мире какая! – воскликнула она. – А если вон какие-нибудь войска школу захватят. Это очень опасно. Охрана должна быть.

Сентенция о таком грозном противнике школьного образования эффект возымела. Собравшиеся покосились на Яцко. Каждый представил себе по головорезу, пихающему локтем Павла Петровича.

Несмотря на то, что за словами этими не было ни здравого смысла, ни логики, задумались, казалось, все. Тем более, что спор с таким аргументом казался гораздо опасней большинства опасностей, клубившихся окрест.

– Это да! И это да! – горячо подхватил неожиданный аргумент Бушков. – Мало ли кто школу захочет захватить!

Анастасия Вадимовна внимательней посмотрела на Бушкова. И внимательней на него глядя, объяснила, что никаких сборов на охрану уже много лет нет. И потому обсуждать это бессмысленно. И что вопрос ЧОПов решается директором лично.

– Значит, если решать сменить, даже и не спросят, что ли? – опять оживилась Мария. Но вопрос этот прозвучал риторически, и разговор поддержан не был.

Если бы был проведен опрос. И если бы в опросе этом каждого из собравшихся родителей попросили бы самоидентифицировать себя, большинство наверняка написало бы о себе два слова. «Простой человек». Простой человек, или его брат-близнец и полный аналог обычный человек, по какой-то удивительной причине являются образцами для подражания, ролевыми моделями и одобряемыми типами поведения. Чего хочет простой человек – того хочет Бог. А если это простая женщина? Простота и обычность хочет примерно ничего. Обычному человеку не требуется. И этим он жив. Именно по этой причине любому из родителей ясно было: если будет решено ЧОП сменить, их действительно не спросят. Как и в случае, если менять ничего не будут.

Немного погорячившись, собрание остывало. Бюджет был в целом принят.

– Я прошу прощения! – Бушков встал. – С вашего позволения я отойду покурить.

– Мы прерываться не будем. – предупредила Анастасия Вадимовна. Ей тоже захотелось курить. Но для родителей Анастасия Вадимовна не курила. И потому составить компанию не могла.

– Ради бога! – улынулся Бушков и, переваливаясь, вышел из кабинета.

Перекур

– Я на крылечке покурю! Вас Пал Петрович? Меня Саша.

– Да. На крылечке можно.

Пал Петровичу приятно, как полный мужчина разговаривает с ним. Ему льстит внимание. Ему льстит, что, проходя мимо, мужчина сообщил ему куда идет. Вроде как даже спросил разрешения. Павлу Петровичу тоже почему бы и не покурить?

Они закуривают. Молодой человек, как обозначил Пал Петрович полноватого Сашу, прикуривает Пал Петровичу.

– А вы, говорят, ветеран?

– Да. Ветеран я. – Павел Петрович делает затяжку, смотрит в небо. В небе не видно ничего. Из-за висящего почти над курящими фонаря толком не видно даже неба.

– Чечня?

– Афган еще. И Чечня, да. – Он затягивается еще. Ему нравится разговор. Ему нравится произносить эти названия в ответ на вопрос. Это ощущается совсем иначе, чем когда говоришь об этом без спросу.

– А тут давно?

– Тут? – притворяясь, что то ли не сразу расслышал, то ли не сразу понял, переспрашивает он.

– В школе, имею в виду.

– Тут, это я да. Давно. Лет десять.

Затяжка. Пауза. Павел Петрович говорит. Он говорит вещи, проговоренные не раз и себе и окружающим. Но проговоренные давно. Наверное, в последний раз лет пять, а то и семь назад. Он говорил это пожалуй что сыну.

– Ну а как? Пенсия, сам знаешь. Не проживешь на пенсию-то особо и сам. А если и не сам? Да и к тому же я же человек не такой и старый. Тут при деле вроде как. Хоть и школа, но все же и ответственность. Я же и журнал, вон, веду. И ключи выдаю. И вот если как сегодня в ночь. Обходы. Все, знаешь, похоже, разомнись.

Мелькает воспоминание, как он действительно говорил это сыну. Действительно лет семь назад. И поймал себя на мысли, что говорит это не впервые. И увидел, что сын помнит, что слушает это не впервые. Что сын изображает интерес. Павел Петрович вспоминает на секунду тот мелькнувший страх: «А что если дальше будет хуже?» Страх возможно надвигающейся страшной беспомощности. Он вспоминает про беспомощность и вспоминает Люду. Жену. Потому что тот страх в том разговоре – он про такую же беспомощность, как у жены. Павел Петрович затягивается.

– Вы в МВД были?

– Да, знаешь... Как на пенсию, туда-сюда. Жена еще болела. Ну я и искал уже потом, где можно чтоб медкомиссия не такая строгая.

Он смотрит на собеседника. Он чувствует, что эти неожиданные воспоминания о Люде, о ее беспомощности, о ее раке, о ее смерти, портят ему этот разговор. Портят это внимание. Павел Петрович не хочет, чтобы разговор был испорчен, он не так часто интересен, чтоб вот так и в прошлую жизнь. А тем более в прошлую смерть.

– Платят нормально?

– Ну, в принципе хватает. Да и куда деваться. – Он улыбается виновато. – А вы на собрании?

Павел Петрович знает, что на собрании. Но он хочет разговор пересобрать. Он хочет спросить сейчас глупость, чтобы тот как можно короче ответил свое «да!» и спросил его в ответ. Как у него дела. А что он думает о том. А что об этом.

– На собрании. – говорит Саша. И вспоминает резонера с задней парты. Резонер раздражает Сашу все больше. Он и курить-то вышел, чтобы немного успокоиться.

Саша думает о таких же остроумцах в своем дворе, в своем детстве. Он вспоминает их шутки в свой адрес. Он вспоминает морозный день на льду озера. Они с пацанами идут, огибая лунки. Саша помнит, что папа говорил ему огибать эти лунки с запасом. Саша сообщает об этом ребятам, с той серьезностью, с которой мальчишки делятся сакральными, полученными от взрослых и опытных, знаниями. У Саши отличное настроение. Первый день каникул. Он чувствует себя на своем месте в этой компании, на этом пруду. Он важен и нужен. И все рушится одним замечанием.

– Ну ты-то мог бы так и не огибать. Полноват. Не провалишься.

Все смеются, и он снова толстый мальчик на льду. Он чувствует себя в этой компании лишним. Снова.

Он снова думает о папе Макарове.

– Собрания – это важно, да. Вот я слышал, сейчас все европейцы собираются. Что-то решают. – возобновляет Павел Петрович.

– Решают. Да пошли они. – Саша переключается с Макарова на власть имущих. Далеких и не менее ненавидимых. – Че-то все говорят, говорят. Уже законов наприносили...

– Ну да! – Павел Петрович рад, что дискуссия оживилась. – И все против нас! Мне и сын мой так говорит!

– Я не понимаю наши-то чего? – горячится Саша. Он таращит на Павла Петровича глаза, видя в нем полное понимание собственного негодования. – Надо...

И Саша объясняет, что надо бы сделать.

И Павел Петрович слушает. Кивает. И он тоже знает, что надо сделать. Они согласны в проблемах Сирии. Они ясно видят проблемы Международного Валютного Фонда. Они знают о внутреннем долге Америки Северной и о проблемах Америки Центральной. Они осуждают резолюцию ООН по Ливии. Они делятся сокровенным о присутствии Франции в поясе бушеля Африки.

Они говорят еще пару минут. С черного, невидимого за фонарем неба начинают падать капли.

Сигареты выкурены. Двое, против которых принимались в далеких и близких европейских странах законы, расходились. Павел Петрович, сын которого не звонил ему уже два года, возвращался за стол у входной двери в школе. Он сажился за стол довольный беседой. И коротко размышлял о том, как бы все же заставить сына позвонить или хотя бы взять трубку. Саша, бросивший ему «Еще выйду!» возвращался в класс, не помня уже, как двадцать минут назад грозил этого охранника отпихнуть локтем.

Папа Макаров

Собрание явно пересекло экватор. Анастасия Вадимовна монотонно разъясняла требования к ученикам, их внешнему виду, успеваемости. На рассказе о порядке проведения срезок знаний в класс вернулся папа Бушков. Административная эта часть вопросами прерывалась нечасто.

– В синей-то кофточке, такой, вязанной, можно же ходить? – спрашивала бабушка Амвросиева.

– Только летом, – замечал папа Макаров, на которого тут же недобро оборачивался папа Бушков.

– Ну ходите, конечно! – успокаивала бабушку Анастасия Вадимовна. – Дресс-код в школе очень разумный. Запрещены только... излишне, знаете, вызывающие элементы одежды. Отслеживайте, чтобы на футболках, например, не было каких-то вызывающих опять же надписей. Или принтов. Особенно, каких-нибудь...

Она подбирала слово и подобрала.

– Экстремистских, понимаете?

Все повернулись к Яцко.

Оживление произошло на этапе рассказа о порядке питания.

– Обед после третьего урока. В классе есть три ребенка, – Анастасия Вадимовна сверялась с записями, – из льготных категорий. Пастениди, Умяров и Фахретдинов.

– А почему это они льготные? – искренне недоумевала Мария.

Брат-студент Пастениди краснел и беззвучно шевелил губами, силясь начать что-то объяснить. Мама Умярова реагировала на свою фамилию и как-то внутренне подбиралась. Видно было, что это одно из немногих слов, которые она на этом собрании понимала безоговорочно.

– Опять русских людей начинают обижать, – меланхолично и очень тихо продолжал раздражать папу Бушкова папа Макаров.

– Это многодетные, – поясняла Анастасия Вадимовна. – Для них после седьмого урока еще полдник.

– Тебе сколько лет? – Мария поворачивалась к Пастениди. – Ты студент же? Студент? Он студент!

По непонятной причине льготы раздражают больше всего именно тех людей, кто на их получение не имеет никаких прав. Марию Липкину они сейчас раздражали невероятно, и она видела в

себе ту длань, которая поспособствует их отъему. Хотя бы у тех, кто на них тоже, как ей казалось права не имел.

– Студент он! Какие многодетные? – возмущалась она.

– Там... Мы... – шевелил губами Пастениди, красный как сигнал светофора.

– У них другая ситуация, – деловито и чуть повышая голос говорила Анастасия Вадимовна.

– Там потеря кормильца.

– А он не кормилец? – не сдавалась Липкина, хотя совершенно очевидно было, что до статуса кормильца этому мальчику было еще очень неблизко.

– Хочешь быть кормильцем, будь им, – замечал Макаров. – Но тут это явно преждевременно.

– А эти? – показывала Мария на строгую Умярову. – У вас гражданство-то есть? Откуда? Есть?

Возмущение ее было таким искренним и таким пустым, что часть родителей колебались, не примкнуть ли нему, но все понимали, что это было несколько несвоевременно и стыдно.

– Мария, простите, пока не запомнила отчество, – совсем уже громко и строго вещала Анастасия Вадимовна. – Во-первых, успокойтесь пожалуйста. Во-вторых, поверьте, никто льгот неправомерно не получает. Все граждане. Учет очень строгий.

Ей хотелось добавить, что, в конце концов, это не ее дело, кому и за что полагается этот несчастный обед, но из опыта она знала, что фраза «не ваше дело» может спровоцировать взрыв.

Емкое слово Республика. Зловещее коза ностра. Нет такого дела, про которое в России нельзя сказать, что оно общественное. Нет такого дела, про которое точно известно, что оно не наше. С незапамятных времен сельской общины до партсобраний на тему «Половая жизнь токаря Иванова в контексте решений последнего съезда партии». Со времен проработок на комсомольском собрании до кухонных посиделок. Почти у любого на подкорке. Любая деталь. Любая проблема. Это дело «наше». Не стоит пытаться искать нелепые отговорки о неприкосновенности частной жизни. Не стоит стыдливо прятаться за конфиденциальностью тем и пикантностью ситуаций. Слова «не ваше дело» звучат оскорбительно. Они как бы выключают либо произносящего их, либо того, в чей адрес звучат, из социума. Из коза ностры. Из республики.

Чувствуя, что говорить так не стоит, Анастасия Вадимовна, погасила разрастающийся конфликт иначе.

– С льготниками мы обсудим отдельно! Отдельно. Теперь важное. – Это было сказано ей так уверенно, что Мария замолчала и обратилась в слух. – Через неделю, класс едет на первую экскурсию. Едем на автобусе. Едем организованно и с сопровождающими. Соответственно...

Анастасия Вадимовна взяла паузу, чтобы удостовериться в том, что споры окончены. Она с удовлетворением отметила тишину в классе.

– Соответственно, родителям необходимо будет подписать доверенности на сопровождающих, – выдохнула она и, взяв со стола стопку листов, протянула их перед собой, родителям на первой парте. – Я попрошу каждого заполнить бланк. И вписать туда наших родителей из родительского комитета. Я сейчас напишу на доске. Раздайте, пожалуйста.

Она встала из-за стола и вывела на доске фамилии и инициалы членов родкома.

– Заполняете так: ФИО ребенка, ваши данные как законного представителя и сегодняшнее число.

Стоя у доски, она смотрела на заполняющих формы родителей. Отсюда они напоминали ей настоящий класс. Они выводили фамилии на листах. Кто-то сосредоточенно, заглядывая к соседу в листок, словно списывая контрольную. Кто-то небрежно, явно показывая, что навык письма не утрачен и используется и во взрослой жизни. Не писал лишь папа Макаров. Он сидел перед своим листом и задумчиво на него смотрел. Потом поднял глаза и, встретившись с Анастасией Вадимовной взглядом, виновато улыбнулся.

– Вы простите, – сказал он, и сидевший перед ним Бушков раздраженно обернулся, ожидая очередной шуточки. – Я не могу это заполнить.

– Вам, может быть, что-то неясно? – спросила Анастасия Вадимовна.

– Нет. Все ясно. – Макаров как-то виновато развел руками. – Просто я не имею права это заполнять. Я лишен родительских прав.

Теперь к нему повернулись все.

Папа Макаров смутился. Он понял, что сказал лишнее и попытался если и не вернуть, вылетевшее слово, то хоть как-то его смягчить.

– Я хотел, Анастасия Вадимовна, позже это с вами обсудить.

– Божечки, – выдохнула бабушка Амвросиева. В тишине, повисшей над классом, ощущалась неловкость. В ней было что-то липкое.

– Да, конечно. Давайте после собрания, – все так же улыбаясь папе Макарову, сказала Анастасия Вадимовна. Она предвидела, что вопросов будет не избежать именно теперь. – Задержитесь потом. Мы уже заканчиваем.

В голове каждого из собравшихся образ человека, лишаемого родительских прав, был сформирован давно и крепко. Точнее два образа: мужской и женский. Лишенная родительских прав женщина была для них спивающейся и небезопасной. Эта женщина пренебрегала ребенком и гуляла черт пойми где и черт пойми с кем. Ребенок был ей обузой, мешавшей строить свои алкогольно-амурные отношения. Наряду с чувством легкого омерзения, она вызывала чувство превосходства. На нее можно было смотреть сверху вниз. И делать это с полным основанием. Может быть, поэтому она могла вызывать еще и жалость. Лишенный родительских прав мужчина был страшнее. Лишенный родительских прав мужчина ассоциировался с двумя словами: насилие и инцест.

– Я, конечно, извиняюсь, – сказала Мария, глядя на Макарова, но обращаясь вроде как не к нему. – Но, может быть, родительскому комитету хотя бы будет тоже интересно узнать детали?

– А, простите, как родительский комитет с этим связан? – ровным тоном осведомился Макаров.

– Я, конечно, еще раз извиняюсь, – Мария интонационно подчеркнула, что извиняется она не всерьез. – Но все-таки дети наши учатся в одном классе и их безопасность важнее?

– Важнее, чем что? – Макаров действительно не понял, что Мария имеет в виду.

– Важнее, чем ваши эти «после собрания»? Что вы там такого сделали?

– А каким образом я могу быть детям небезопасен? – Макаров спрашивал спокойно, но уже начал понимать, что сказал лишнего и так просто с него уже не слезут. И совершенно зря добавил: – Тем более вашим.

– Ну все же дети учатся в одном классе! – строго вступила в разговор Варакина. – И, конечно, будут с вами пересекаться!

Это ее «конечно» звучало так категорично, будто само собой разумеется, что папа Макаров будет сидеть с ними в одном помещении регулярно. Тянуть руку с задней парты, ходить к доске и бегать на переменах по рекреациям.

– Кто знает, что вы такого совершили? – вторила ей Мария.

– Еще и разведенный, наверное, – вздохнула бабушка Амвросиева.

Если папа Макаров зря сказал «вашим» детям, будто имел право представлять опасность для собственного ребенка, то бабушка совершенно зря вздохнула о разводе. Добрая половина присутствовавших на собрании мам была разведена. Замечание бабушки не могло собравшимся понравиться.

– Развод ни при чем, конечно. – Мария повернулась к Амвросиевой. – Мало ли что в жизни бывает? Я сама разведена. И слава богу!

– Почему слава богу? – вступил в разговор Бушков.

– Потому, что не ваше дело! – осадила его Мария, но затем начала зачем-то пояснять. Было ощущение, что она хотела проговорить сообщаемые детали, и если бы Бушков ее не прервал, то она их сообщила бы сразу. – У меня муж был – не приведи господи. Ни работы, ни ума, ни заботы, ни внимания. И на ребенка сил не оставалось. Ходил, ходил. Чего ходил? Куда? Тюкал, тюкал.

– Может, вы все же расскажете, что конкретно произошло? – пыталась вернуть разговор к теме родительских прав Варакина. Она обращалась к Макарову, но Мария уже вошла в раж и решила, что вопрос к ней.

– Как что произошло? Я его выгнала, и теперь хоть время есть. Хоть на себя время есть. А не то ходил. И все не так ему, а сам? Хоть бы копейку принес. А сейчас хоть вот его с алиментами прижали, и мы вот в том году в Анапу съездили. – Мария отвлеклась настолько, насколько это было возможно. – Ребенка в кружки записали! Не хуже всех живем...

– Не помогал совсем? – бабушка Амвросиева проявляла участие. – А сейчас хоть алименты платит?

– Да куда там платит. – Мария усмехнулась. – С него сейчас автоматически списывают. С карты. Прямо с карты. У меня хоть на себя время оставаться стало! Хоть записали в кружок! Ребенок учится!

Анастасия Вадимовна наблюдала за этим потоком сознания. Улыбки на лице уже не было. От стояния у доски снова заныло колено. Она, вздохнув, вернулась за учительский стол. Казалось, будто эта родительница прямо сейчас объясняет им, почему именно ее – Марию – ни в коем случае нельзя лишать родительских прав. Будто она доказывает им, что живут они бедно, но очень неплохо. Что развелась с мужем она не зря. Что ребенок у нее обеспечен, устроен и обучен не хуже, чем у других. Словно слушалось ее дело. Словно вообще слушалось хоть чье-то дело...

– И хоть копейки сущие, но теперь все строго – прямо с карты мне и отчисляют! Вот сюда! – Мария положила на стол карту Сбербанка, невесть откуда появившуюся у нее в руках. – А то он раньше скрывал. Он оформлялся в серую. Ни денег, ничего! И алиментов не взял! Но я...

– Я прошу прощения. – Анастасия Вадимовна прервала, наконец, монолог. – Это очень интересно, но давайте перейдем к собранию? Вы подписали доверенности? День будний, всем завтра на работу.

Мария наконец замолчала.

– Мы-то подписали, Анастасия Вадимовна. – Варакина протянула свою доверенность. – Но может быть вы, как педагог... как класный руководитель, можете нам разобраться?

Она мотнула в сторону Макарова головой.

– А почему вы не оформите льготы? – неожиданно рационально, хоть и опять уводя тему в сторону, спросила бабушка Амвросиева Марию, которая только отдышалась после монолога. Оставаясь, впрочем, верной себе, бабушка указала пальцем на Умярова и добавила: – Вон таджикам же дали за что-то?

Мама Умярова смотрела на Амвросиеву широко распахнутыми глазами. Она снова поняла, что речь точно о ней, и выглядела собранно и строго.

– Давайте мы сначала, Анастасия Вадимовна, разберемся с папой. – Варакина была непреклонна и явно намеревалась довести дело до конца. – Если вы не возражаете.

Анастасия Вадимовна пожала плечами. «Что тут возразить?» – читалось в этом жесте. «Вы же все равно не отстанете», – имела она в виду. Глядя на нее, начал говорить папа Макаров. Ему было очевидно не отвертеться от объяснения.

– Уважаемые родители, – начал он. – Раз этот вопрос вас так интересует...

– Конечно, интересует! – Бушков оживился. Ему было приятно видеть неловкость и определенную загнанность этого хохмача.

– ...я хочу вас заверить, что лишение родительских прав в силу еще не вступило. Но и не в этом дело. – ровным голосом, но несколько виновато говорил Макаров.

– Какая разница, что не вступило? – вставила Мария.

– Дело в том, что никакой опасности ни для каких детей я не представляю. Ни для своей, – он сделал паузу, но так и не сказал «дочки», – ни для ваших. Это все результат несправедливости и, скажем так, не очень честного разбирательства по расторжению брака. И если вы уверены, что родительских прав так просто не лишают, смею вас разочаровать.

– А как лишают тогда? – спросила Варакина с акцентом на «как».

– Из мести. И из глупости, – грустно произнес Макаров.

– Что ж ты такого сделал, так мстить, сынок? – бабушка Амвросиева неожиданно включила какой-то новый уровень фамильярности. Макаров, впрочем, отнесся к нему абсолютно спокойно.

– Ну во-первых, я неудачно женился. Во-вторых, я неудачно развелся. И, наконец, – он вздохнул, – моя бывшая жена вышла замуж за крайне непорядочного, мстительного, злого и, увы, могущественного человека.

– Мэр, что ли? – неожиданно сочувственно присвистнул Бушков.

– Не мэр, – покачал Макаров головой. – Но похоже. Как сейчас говорят, силовик.

– Так у нас охранник из МВД! Может, спросим, чем помочь? – Бушков вспомнил свой перекресток с вахтером. Он почему-то проникся к Макарову. Причем очень резко. Он почувствовал себя частью какой-то сложной истории, в которой участвовали таинственные и могущественные лица.

Макаров грустно посмотрел на него и отверг очевидно абсурдное предложение.

– Спасибо, конечно, но думаю, что школьный вахтер тут не очень поможет. – Потом он обвел взглядом остальных родителей. – Так что, уважаемые родители, будьте спокойны. Никакого вреда я никому не причинял и вообще вел себя максимально прилично. И соответственно, максимально безопасен и вообще рекомендован к общению.

– Ну вот и славно, – сказала Анастасия Вадимовна. – Пусть дочка заявление донесет. Уважаемые родители, спасибо вам за то, что пришли. Я думаю, что надо закругляться.

За окном шел проливной дождь и пахло осенью. Проведя в школе два с половиной часа, Анастасия Вадимовна заперла кабинет и попрощавшись с вахтером, пошла к остановке трамвая.

Панегирик

Наталья Сергеевна Варакина села перед чистым листом бумаги. На столе стояла кружка с чаем, лампа. На углу стола она с раздражением увидела стопку каких-то бумаг. Перед любой работой она всегда тщательно готовила рабочее место. И то, что работа эта была на дому, ее скорее мотивировало делать это особенно тщательно. Здесь не на кого было свалить бардак. Здесь был ее дом, ее правила. Стопку, видимо, оставил на столе старший сын. В последнее время, он стал заметно отбиваться от рук. По крайней мере, так казалось ей. Все чаще он перечил. Все больше проявлял «самостоятельность» – она нарочно говорила это слово тоном, полным презрения. «Умный совсем стал!» – естественно, слово «умный» тем же тоном.

Варакина, вздохнув, встала из-за стола и взяла листы. Какие-то университетские записи. Почему не в тетради? Почему надо обязательно свалить их тут? Сто раз говорили на эту тему: чистый стол, значит порядок в голове. Отнесла листы к шкафу, положила их на полку и вернулась обратно. Досаден был не беспорядок. Досадно было пренебрежение правилами дома. Установленным ей порядком. И если порядок на столе уже восстановлен, то порядок в доме все более явно нарушался. Варакина приступила к письму.

Она организовывала празднование юбилея классной руководительницы. И теперь, организовав уже почти все, села писать речь. К таким вещам, как публичные выступления, она всегда относилась очень серьезно. Речь была важна.

«В этот знаменательный день родительский комитет, я от его лица и лица всех родителей, хотели бы выразить Вам, Анастасия Вадимовна, свое глубочайшее почтение и свою безграничную благодарность. На протяжении тридцати трех лет, которые вы посвятили служению школе и детям, Вы показали себя профессионалом высочайшего уровня, что более важно, чутким, отзывчивым человеком! Вы стали второй мамой для нескольких десятков параллелей...»

Не многовато ли восторгов? Не добавить ли если не ложку дегтя, то хоть немного сомнения? Наверное, нет. А вот подчеркнуть значение настоящих мам...

«Долгими вечерами, делая домашние задания, занимаясь воспитанием, выполняя работы над ошибками, мы – родители – ощущали Вашу безграничную поддержку. Труд мамы нелегок. Дети требуют внимания и заботы. Зачастую, придя с работы, уставшие и лишенные сил, мамы могут сложить руки. Тем ценнее для нас Ваше участие. Ваша преданность профессии ни для кого не секрет. Как не секрет и то, что в любой час дня и ночи придя в школу, в ней всегда застанешь Анастасию Вадимовну!»

Варакина вспомнила, как приходила в школу прошлым летом на подачу документов. В школе не было никого, кроме вахтера. Не было даже секретаря. Она вспомнила свое негодование: «Летом у них отпуск два месяца! А ты ходи, лови...». Вспомнила бесконечные учительские разговоры про «сил нет» и большую нагрузку. Как она ловила себя на коварной мысли о том, что нагрузка-то: сорок минут, да перерыв, да сорок минут и в три свободен... Нет. Так мы хорошую речь не напишем.

«В любой ситуации Вы всегда сохраняли уверенность и контроль».

Дописав слово «контроль», она посмотрела на сложенные на полке листы и подумала о старшем сыне. После поступления в институт он заметно изменил поведение. На ее вопросы о лекциях и заданиях отвечал односложно. Становилось само собой разумеющимся, что он бросал «Это мое дело» на замечание о том, что пришел поздно. А трюпка-муж ему это спускал. С тем же равнодушием и отстраненностью, с которыми относился к сыну всегда.

С пятого класса, наверное, муж уговаривал ее дать ребенку, как он выражался, больше личного пространства. Не готовить с ним уроки. Не проверять домашнюю работу. Очевидно было, что с его стороны это было проявлением равнодушия. Его вечного ни то ни се. Сам он, наверное, именовал это бесконфликтностью. Даже с собственным сыном не хотел ссориться, и потому отстранялся от воспитания.

Наталья Сергеевна окончательно отвлеклась от речи и сосредоточилась на муже.

Со стороны он, наверное, казался вполне волевым человеком. Со стороны он мог казаться добрым человеком. Знала она его волю. Знала она его доброту. Когда нужна была воля, чтобы настоять на переоформлении бабушкиной квартиры, муж мямлил что-то про «нехорошо» и «не по-людски». А когда своя семья живет в однокомнатной, доставшейся от ее – заметить! – мамы, это по-людски? Когда в доме нет денег, потому что он опять кому-то из своих бесконечных родственников сделал перевод – это по-людски? Когда тебя просят. Хорошо просят. Пожалуйста, потребуй в конце концов хотя бы машину, на которую ты имеешь полное право. Машину, которую твой отец обязан был тебе завещать, ты им так помогал! Где воля?

Или доброта. Легко казаться добреньким, когда тебе все равно. Легко говорить: «оставь ему пространство для ошибок», когда тебе просто не хочется заниматься собственным сыном. Хочется появляться на его выпускном, расплывшись в улыбке, и хвастаться, как сын поступил в институт на бюджет? А заставлять сына сквозь слезы, сквозь крики, сквозь пощечины продирается через школьную программу, чтобы на этот бюджет поступить, не хочется? Легко быть добрым, когда все это проходит мимо тебя. Когда другой занимается с твоим ребенком. Когда другой занимается домом. Когда ты приходишь домой и воспринимаешь чистоту как должное. Когда ужин на столе – само собой разумеющееся. И пучить свои бесстыжие глаза: «А почему у Паши двойка по математике?» – А потому! И пыхтеть: «Надо с Пашей позаниматься» – позанимайся! Это не доброта, когда просто не обращаешь внимания.

У Натальи Сергеевны сбилось дыхание. Она неподвижно сидела за столом, склонившись над листом с речью. На лист падали слезы.

«Мы бесконечно благодарны Вам за заботу о самом дорогом, что есть в жизни каждого родителя. Каждой мамы. Каждого папы. За заботу о наших детях. За ту теплоту, которую Вы вкладываете в каждого из них. И хотели бы поздравить Вас с юбилеем и вручить небольшой подарок».

Нагрузка

Она просыпается и заваривает кофе. Черный как смоль. В турке. Запах разносится по квартире. Дочка во вторую смену. Будить не стоит. Проснется по будильнику. Сама.

На кухне тихо работает телевизор.

В студии люди. Эксперты в пиджаках. На одном – галстук. Звучит тревожная, но динамичная музыка. Ведущий – мужчина средних лет надвигается на камеру из-за кулис и говорит на ходу.

– Добрый день уважаемые телезрители! Новый день – новые тревоги. Саммит стран Европейского Союза в Париже. На полях саммита проходят встречи, которые многие называют судьбоносными для Европы, а кто-то говорит, что и для всего мира! Об этом и многом другом мы поговорим в нашей программе!

Музыка замолкает. Ведущий поворачивается в камеру невыспавшимся лицом. На нем тень измощения.

– Итак. Президент Франции встретился с канцлером Германии. По итогам встречи состоялся подход к прессе. В очередной раз звучат навязшие на зубах требования к России. В очередной раз звучат угрозы. Петр Ильич, что скажете?

Камера переключается на пожилого мужчину в галстуке. Титр объясняет, что Петр Ильич – директор института межличностных геополитических коммуникаций глобального Юга и стран Центральной Африки и Америки. Петр Ильич выглядит бодро. Говоря, он то и дело рубит ладонью воздух.

– Ну, сразу скажу, что именно такой исход встречи мы все в общем и прогнозировали. Ничего принципиально нового сказано не было. И как совершенно верно отметил наш Президент, европейцы продолжают рубить сук, на котором сидят. С кем встречается президент так называемой Франции? С канцлером Германии. Страны, как мы знаем, породившей фашизм.

– Ну фашизм все же породила Италия, – возражает ему молодой человек с аккуратной бородкой. В студии он отвечает за фронду. Тут же студия оживает. Слышны выкрики «Какая разница?» и «Там тоже фашизм!».

– Ну вы меня поняли, – резюмирует Петр Ильич. – Это страна, проводившая последовательный геноцид. Отмечу – советского народа в том числе. Миллионы матерей потеряли сыновей. Миллионы. Мы не забыли блокаду Ленинграда. И я напомним, что в ней принимали участие не только немцы. Вся Европа! И эти вот люди, это потомки тех самых зверей.

Выкрики «Голубая дивизия!». Ведущий улыбается и поднимает палец вверх.

– Президент так называемой Франции, – Петр Ильич разводит руками, – теперь имеет еще основания что-то заявлять о якобы так называемых требованиях.

– Там падение ВВП в этом году уже 0,7 процента. – Молодой эксперт с бородкой. Камера переключается на него.

– Да, вот интересно! – говорит ведущий. – Ильрак Ахмедович, экономика – это не всегда понятно нам, простым смертным. Но можете вы нам вкратце пояснить?

– Конечно, – соглашается молодой эксперт. – В пятом году наблюдался устойчивый рост. С того момента, а особенно с момента всем известных событий, роста нет, волатильность определенная имеется – это да. Но роста нет. Возникает риск рецессии экономики Германии, которая неизбежно подталкивает и экономику Франции. Даже полтора процента роста – это не рост.

– Вот за что я Вас люблю, Ильрак Ахмедович, это за простые объяснения сложных вещей, – довольно улыбается ведущий. – Мы прервемся на короткую рекламу и вернемся в студию через несколько минут. Не выключайтесь.

Анастасия Вадимовна выключает телевизор. Она допила кофе.

Вещи собраны. Когда она уходит, на кухню из комнаты выходит сын. От двери, гремя ключами, она как можно более громким шепотом:

– Я пошла. Сегодня собрание. Буду поздно.

– Хорошо, – бормочет сын и идет в ванную комнату.

На улице вовсю весна. Час ранний. Когда она выходит из подъезда, за поворотом дома гремит трамвай. Пахнет зеленью: ночью был дождь, запах свежий и почти густой. Выйдя из подъезда, она останавливается, будто собираясь вернуться за чем-то забытым. Потом, будто таясь, достает из кармана плаща пачку сигарет. Закурив, она стоит у подъезда. Минут десять есть. Можно не спешить. Курит она не спеша, но иногда вращает головой. Так курят школьники за гаражами.

В трамвае почти никого. Она с облегчением садится. Колено слегка гудит – почти незаметно, но она знает, что к вечеру каждый лишний шаг будет критичен. Если много ходить с самого утра, уже к обеду болеть будет нестерпимо. Она смотрит в окно. Трамвай звенит. «Следующая остановка “Зоопарк”», – приятным ровным голосом. Она не читает. Привычку читать в транспорте, откровенно говоря, она так и не приобрела. Качает. И зрение не то. Снова звенит. «Следующая остановка “Поликлиника”». За окном просыпающийся город. Черный от влаги асфальт. Чирикают воробьи. Она их не слышит. Она слышит «Следующая остановка “Школа”». И звонок. И звонок. Двери закрываются.

– Вы рано, Анастасия Вадимовна!

– Что делать, Пал Петрович! Служба!

Она делает несколько шагов по коридору, останавливается.

– Кто сегодня дежурный учитель?

– Евдокимов, – сверяется с записями на столе вахтер.

– Пал Петрович, я Вас попрошу, до его прихода, если что, сразу звоните меня.

– Конечно, Анастасия Вадимовна!

Она знала, кто дежурный. Она знает, что Евдокимов опоздает.

– И как он придет, позвоните мне, пожалуйста. И в любом случае заметьте время.

– Конечно, Анастасия Вадимовна!

На часах семь утра. У нее полтора часа до первого урока. Полтора часа для бумажной работы. Она не успела дописать ответ в Минобр по результатам срезов знаний. Все эти «по результатам контрольных групп из параллели девятых классов, семьдесят процентов учеников показали результат “хорошо”». Ей надо подбить статистику. И потом самое важное. Самое важное.

Она печатает. Пальцы привычно по клавиатуре. Каждый божий день за компьютером, а метод слепой печати так и не освоен. У нее метод «полуслепой печати». Какие-то буквы вслепую. Большинство, сверяясь с тем куда жмешь. Она внимательна. Любая опечатка практически фатальна. А тем более ошибиться с цифрами, не дай бог.

Семь сорок пять. Звонок.

– Пришел, Анастасия Вадимовна.

– Спасибо, иду! – она поднимается и идет на вахту. Она идет по коридору, попутно докручивая себя до нужного настроения. Ей нужно чуть злости. Важно не переборщить. Говорить она начинает, еще не дойдя десятка шагов.

– Антон Михайлович, доброе утро. Спасибо, что пришли!

– Доброе утро, – говорит Антон Михайлович. Ему двадцать пять. Математик. Второй год в школе. И ничего не меняется.

– А расскажите пожалуйста, почему вы опоздали сегодня? – как бы приветливо говорит она. Это «как бы» явно слышно.

– Почему опоздал? – отвечает математик с вызовом. – Уроки в восемь тридцать.

– Вы дежурный учитель. И должны быть на дверях в семь тридцать. И вы прекрасно это знаете, – несколько монотонно.

– А это где-то записано? – математик самоуверенно смотрит на нее.

– Антон Михайлович, это записано в правилах внутреннего распорядка, например. И я хочу в очередной раз обратить ваше внимание на недопустимость опозданий. Вы же учитель, в конце концов.

– Вот именно. Вот именно. – Математик заметно выше нее и сейчас начинает как бы нависать, слегка подавшись вперед. – Я учитель, а не вахтер. Почему я должен торчать тут на час раньше уроков?

– Потому, Антон Михайлович, что хотим мы с вами или нет, это – часть нашей работы. – Она смотрит на него совершенно спокойно. Тон ровный.

– Моя работа – это вести урок. – Он отступает и поворачивается к дверям. Дает понять, что разговор окончен.

– Не только. Не только, к сожалению. Я попрошу вас отнестись серьезно и к этой части ваших должностных обязанностей. – Она берет паузу и ждет реакции. Реакции нет. Как нет оба года его работы. Наконец, выдержав паузу, она добавляет: – К сожалению, школа вынуждена будет лишить вас премии.

Антон Михайлович заметно оживляется. Он опять надвигается и нависает. Теперь еще и жестикулирует.

– Что за порядки! Я на вас управы, что ли, не найду? Меня вон в третью школу зовут, в конце концов! С математическим уклоном! – он показывает рукой в пространство за стеклом. Где-то в пространстве стоит третья школа. С математическим уклоном. Его не зовут туда. Его никуда не зовут. Как преподаватель он слаб. Но дефицит кадров, и его никуда не денешь. – Я буду писать в управление образования!

Она пожимает плечами и идет обратно в кабинет.

– Пишите. Я не могу запретить вам писать, – кидает она, уходя. Он будет писать. Многословно и бессмысленно, как он писал уже несколько раз. В прошлый раз он, кажется, даже нашел какого-то юриста по трудовым спорам. Но юрист этот был так же плох, как плох был учитель математики. Видимо, какой-то друг или бывший одноклассник. Письмо было полно обид и безграмотно со всех точек зрения. Сейчас вряд ли будет лучше. Время у школы отнимет, но толку не будет.

«Отнимет время у школы», – думает она, садясь обратно за компьютер, и возобновляет работу. Это «у школы» – не абстракция. Он отнимет время у нее. Ей разбирать эти малограмотные каракули. Ей писать обоснование в надзорный орган. Ей идти в трудовую комиссию. Но это потом. Потом. Сейчас восемь.

В учительской планерка. Говорит речь. Она совсем коротко и только о важном. Кто болен? Кто не оформил журнал седьмого «Д»? Мальчик не говорит по-русски? Помилуйте, почти год учите. Это ваша недоработка, а не его недостаток. Курят в уборной? Я зайду сегодня проверю. И вы проверяйте. Удачи, коллеги.

Восемь двадцать, и пора в класс. А потом, потом самое важное. Меж уроков.

И идут уроки. Девятый класс. Перерыв. Седьмой. Перерыв. Опять девятый. Большой перерыв. Пятый. Ее класс. Перерыв.

Шестнадцать ноль семь. Она в кабинете. Она печатает.

«...может быть охарактеризован только с положительной стороны. Активно участвовал в жизни и воспитании ребенка. Регулярно посещает родительские собрания. Несмотря на препятствия со стороны матери ребенка и ее нового мужа, пытается сохранить влияние на воспитательный процесс. Школой его влияние на дочь оценивается глубоко положительно. Ребенок тяжело воспринимает разлуку с отцом и радуется любой возможности с ним встретиться...»

Звонок с вахты.

– Анастасия Вадимовна, к вам пришли!

– Спасибо! Пропустите, конечно.

В кабинете скуластая брюнетка. Дочь в отца, но и от матери что-то есть.

– Вы вызывали по поводу Светы? – брюнетка говорит подчеркнуто вежливо, но слегка раздраженно. Брюнетке явно неприятен этот вызов.

Она говорит, что да, и они долго говорят. Что ребенок выглядит подавленным и школа озлоблена. Нет, вряд ли она всегда такая. На ребенка влияет атмосфера вокруг. Нет, в школе как раз

все хорошо. Есть подруги. Определенный авторитет в классе. Успеваемость хорошая. Но видно, девочке не всегда просто сосредоточиться. Да, это скорее от ситуации в семье. Все хорошо в семье? Я вас ни в чем не обвиняю. Конечно, я понимаю. Конечно, я понимаю, что у нее все есть. Конечно, не наше дело. Да, мы вовлечены. Это часть нашей работы. Да, опека консультируется. Ну что вы! Пишем, как есть.

Они расстаются вполне нейтрально. Брюнетка все понимает. Они с мужем последят.

– Я понимаю, что это личное, но почему вы все же лишили бывшего мужа родительских прав? – спрашивает она брюнетку наконец. – Он все же приличный человек, насколько я понимаю.

– Дело не в нем, – улыбается брюнетка вполне доверительно. – Просто понимаете... Мы сейчас часто путешествуем. И получается не очень удобно.

– Простите? – она внимательно смотрит на брюнетку.

– Ну, неудобно, знаете, каждый раз доверенность на выезд оформлять. А Артем, ой, бывший муж еще и не всегда давал ее. Понимаете? Да и когда давал, лишняя морока. – Брюнетка смотрит искренне и незамутненно. – У меня супруг человек занятой. И эта беготня за разрешениями раздражала.

Брюнетка исчезает.

Анастасия Вадимовна садится за стол и допечатывает.

«В связи с вышеизложенным, школа поддержала бы решение о восстановлении гражданина Макарова А. О. в родительских правах».

Самое главное завершено.

Двое на одного

Совершать благие дела в одиночку несложно. Хороший поступок наполняет человека радостным воздухом, напоминающим, как говорят, веселящий газ. Совершать в одиночку гадости способны только самые последние негодяи, обладающие к тому же определенным чувством самоиронии. Для совершения гнусности почти всегда нужна толпа. На худой конец, небольшое совещание. Человек на десять-двенадцать. Чтобы «слушали-постановили» размыло ответственность. Чтобы у голосовавшего за подлость человека могли остаться иллюзии на свой счет. Сомнения в правоте и правомерности, муки совести – все скроется за лесом поднятых рук. Одна рука – дерево. Видно ли его за лесом?

Когда Анастасия Вадимовна вошла в кабинет директора, там уже были трое. Сама директор, Лидия Степановна, сидела почему-то на приставленном к ее столу стулу, сбоку. Перемещенная из своего кресла, она пыталась сохранять обычный торжественно-деловой вид, но давалось ей это с трудом. В массивном, но невероятно удобном директорском кресле сидел крупный мужчина в костюме. Несмотря на свежий ремонт директорского кабинета, костюм мужчины смотрелся слишком дорого для помещения. У мужчины было крупное красное лицо. «Поговорим?» – как бы застыло на этом лице, и видно было, что говорить лишнего с мужчиной не стоит. На стуле у стены сидела завуч по воспитательной работе Елена Михайловна. Крупная женщина, она как-то по-детски ерзала, словно слясь со стеной, а там уже – чем черт не шутит? – вывалиться сквозь эту стену в соседний кабинет.

– Анастасия Вадимовна! – директор, слишком бурно радуясь, вскочила со стула. – Вот! Хорошо, что пришли!

Директорская реакция явно диссонировала с ее обычным формально-назидательным тоном. Казалось, что она ждала Анастасию Вадимовну давно и не верила, что та появится. «Ай радость-то какая!» – казалось, выкрикнет она.

– Добрый день, Лидия Степановна. Здравствуйте, Елена Михайловна. – Анастасия Вадимовна кивнула обоим женщинам. Мужчина за директорским столом молчал.

– Садитесь пожалуйста! – директор повернулась к мужчине. – Вот наша классная руководитель и завуч. Анастасия Вадимовна. Прекрасный педагог.

Анастасия Вадимовна села у стены рядом с Еленой Михайловной. Мужчина встал из-за стола и представился.

– Платов Сергей. Очень приятно. – потом, сев обратно, посмотрел на директрису, усаживающуюся на свой приставной стул. – Вы не обращайтесь на меня внимания, пожалуйста. Начинайте.

Директор чуть отдышалась. Потом начала. Она старалась говорить максимально обычным тоном. И ей это совершенно не удавалось. Ну хотя бы потому, что она отчего-то стала говорить во множественном числе.

– Мы, собственно, по такому, Анастасия Вадимовна вопросу хотели с вами поговорить. Месяц назад вы от имени школы подписали бумагу, касательно биологического отца одной из учениц вашего класса. И предоставили эту бумагу...

– Вы, Лидия Степановна, про Макарова? – спросила Анастасия Вадимовна.

– Да-да! Эта бумага! – горячо откликнулась директор. – Помните?

– Да, я ее не только подписала. Я ее составила.

– Это нормальная практика! – выпалила директор, повернувшись к Платову. – Это так всегда делается. Школа пишет постоянно характеристики, например.

Платов кивнул.

– Анастасия Вадимовна! Это очень хорошо, что вы помните! Значит, в детали не придется вдаваться! – обрадованно сообщила директор и торопливо продолжила: – Надо эту бумагу переделать. Там, к сожалению, дана неверная характеристика.

– Лидия Степановна, подождите. Я составляла все сама, и характеристика верна, – ответила Анастасия Вадимовна.

– Позвольте я, – неожиданно заговорил Платов. Перед ним на столе Анастасия Вадимовна увидела ту самую, ей составленную, бумагу. Платов говорил и сверялся с ней. – Вот вы, Анастасия Вадимовна, пишете, что Артем Олегович может быть охарактеризован с исключительно положительной стороны. И пишете, что он оказывает на дочь позитивное влияние.

Платов внимательно посмотрел на Анастасию Вадимовну.

– Но вы же не знаете о нем толком ничего. Видите его только тут иногда. В школе, – он вздохнул. – Вы не знаете, какие сайты он читает. О чем он говорит с друзьями. Что он думает. А утверждает, что только с положительной...

Платов говорил с уверенностью человека, точно знающего, что папа Макаров читает, говорит и даже думает.

– В современном мире, Анастасия Вадимовна, влияние на молодежь очень важно. Особенно если оно подспудно оказывается через, – он сделал паузу, чтобы подчеркнуть следующее слово. – Биологического отца. Ребенок, как губка, впитывает различные деструктивные паттерны и модели поведения и не понимает, что они деструктивны.

– Вы позволите? – хотела было возразить Анастасия Вадимовна, но Платов не позволил.

– Я закончу, – резко сказал он и продолжил. – Сейчас особенно важно воспитывать в детях правильные чувства. Патриотизм. Любовь к Родине. Уважение к старшим. Любовь к семье. Послушание, наконец. Показывать им правильные фильмы. Читать им правильные книги. Вы, не разобравшись, написали, что биологический папа участвует в воспитании. Но разве это участие в воспитании?

Анастасия Вадимовна слушала Платова автоматически, как слушают много раз слышанное. Она не понимала, как излагаемое перекладывалось на любовь к семье, о которой Платов говорил.

– Света возвращается от него домой, и ребенка не узнать! – продолжал Платов и становилось, наконец, ясно, кто он такой. – Она, простите, говорит такие вещи, что ум за разум заходит! Она мне говорит, что уважение надо заслужить. Мне! Она говорит, что у нее может быть свое мнение. Мнение! Говорит она мне. Мне! И много еще чего. Я не буду тут растекаться мыслью.

Он замолчал. Заговорила директор.

– Вы, Анастасия Вадимовна, наверное, уже поняли, что Сергей Семенович – это папа девочки. Но это и не важно! Важно, что мы разобрались, – она с улыбкой взяла со стола другую бумагу. – Вот, мы подготовили корректный вариант. Исправленный. Елена Михайловна напечатала. Нам всем, и вам, Анастасия Вадимовна, необходимо подписать.

На Елену Михайловну было страшно смотреть. Она тяжело дышала, стараясь при этом не дышать. Анастасия Вадимовна пробежала бумагу глазами. Повернулась к Платову.

– Мне, Сергей Семенович, ваша жена совсем не так изложила суть дела и почему вы не хотите восстановления родительских прав у Макарова. – Она смотрела спокойно. Без тени вызова.

– Да что она понимает, – отмахнулся Платов. – Вы слушайте меня. У бывшего мужа не так все просто. Он плохо влияет на дочь. Это очевидно. И мне и надзорным органам.

– Я все же, знаете, Лидия Степановна, – так же без тени вызова Анастасия Вадимовна протянула бумагу обратно, – останусь при своем мнении. И это подписывать не буду.

В кабинете воцарилась мертвая тишина. Бюст Льва Толстого на директорском столе смотрел на Анастасию Вадимовну удивленно и ободряюще.

– Мне, конечно, не совсем понятно ваше упорство, – мрачно сказал Платов. – Мы же вроде говорим о простых вещах. О Патриотизме. Об уважении. К старшим. К ветеранам. К нашему Руководству. Без уважения, без понимания того, как это важно, к чему мы скатимся? А ведь все начинается со школы.

– Мы ведем уроки патриотического воспитания! Анастасия Вадимовна – историк! – включилась директор, на Платов ее не слушал.

– В школе закладывается вся та основа, из которой получается гражданин. Настоящий гражданин. Не лезущий со своим мнением, когда его не спрашивают, а готовый пожертвовать всем. Готовый жизнь положить на алтарь Отечества. Школа – фундамент Государства. Недаром и выборы проводят в школах.

– У нас очень хороший результат на выборах! Очень хороший! Процент очень... – директор торопливо говорила Платову, сжимая неподписанную бумагу в руках. – Все очень довольны. Анастасия Вадимовна член избирательной комиссии.

– Вы, как педагоги, именно этому должны учить детей. Соборности. Жертвенности. Уважению. Пониманию того, что целое всегда важнее частного. Мы с вами понимаем друг друга?

Лучше всего друг друга умела понимать директор, и она откликнулась.

– Конечно, Сергей Семенович! Конечно! – поспешно обернувшись на завучей, она объявила: – Коллеги, давайте голосовать! И по результатам голосования мы подпишем бумагу!

Шумно выдохнув, Елена Михайловна подняла правую руку.

– Собранием педсостава! Кто за принятие текущей версии? – сформулировала вопрос директор и тоже подняла руку. Она с надеждой смотрела на Анастасию Вадимовну. Та смотрела на Льва Толстого. – Анастасия Вадимовна, вы за?

– Я – нет. Не за, – вздохнула Анастасия Вадимовна. Платов вопросительно смотрел на директора.

– Ну, общему-то решению вы подчинитесь? – все еще с надеждой спросила Лидия Степановна.

– Давайте вы просто без меня подпишете, раз уж так? – Анастасия Вадимовна бесхитростно смотрела директору в глаза. – Я, в конце концов, может быть и лишняя там, в бумаге?

Луч угасшей было надежды осветил лицо директора. Она радостно повернулась к Платову и выпалила.

– Это же прекрасная идея! Анастасия Вадимовна могла бы быть, например, на больничном! Ее могло просто не быть сейчас! – и пока Платов не опомнился и не вернулся к своим философским исканиям о судьбах отчизны: – Анастасия Вадимовна, спасибо, идите! Мы поговорим в понедельник!

Анастасия Вадимовна шла по коридору с той легкостью на душе, которую могут позволить себе люди, избежавшие участия в сооружении дурных поступков. В этой легкости было что-то

детское. Коридор пах школьной столовой. В большие окна был виден залитый зеленью парк. Если бы не боль в колене, она, может быть, даже и пробежалась.

Вернувшись в кабинет, она улыбнулась.

1995

Когда Настя молодым специалистом только попала в школу, даже говорить о деньгах, в ней зарабатываемых, было странно. Деньги в школе не зарабатывали. Деньги платили. И то не слишком часто, чтобы подсобить не успевал привыкать к хорошему.

– Мы здесь не ради заработка! – резонно отмечала директор школы на планерке, когда вопросы о невыплаченной зарплате оставались единственными в повестке. – Помните об этом!

– Ну это забудешь! – смеялась Настя со стула у двери учительской. Неодобрительно оборачивались пожилые учителя.

– Вам вот все только смеяться! – стыдила учитель русского и литературы. – А у людей семьи! Мы третий месяц на обещаниях живем!

– Я и не смеюсь. – Настя делалась серьезна, нарочно слишком серьезна, чтобы можно было в это поверить. – И потом, у меня же тоже семья.

И семья действительно тоже была. Все как положено. По паспорту: получите и распишитесь. Молодая ячейка молодой страны. Только радость впереди.

– Труба зовет! – Настя выпархивала из постели. – Ты сегодня Вальку из сада заберешь?

– Заберу... – ворочался в полудреме муж. – Ты только сейчас сама отведи. Я посплю еще.

– Все тип-топ и хип-хоп. – Она, улыбаясь, прошмыгивала мимо детской кроватки на кухню.

В свои законные пятнадцать минут одиночества. Без мужа. Без Вальки. Пусть поспят еще. На завтрак вечный кофейный напиток. В турке – как положено для кофе. Как положено для дорогого кофе. А кофе был им дорог любовью.

Привычка государства российского держать своих птенцов в черном теле неистребима, как само государство. Денег в семье начинающего школьного учителя не было бы совсем, но помогали родные. Конечно, вроде и неловко каждый месяц с протянутой рукой, но должны же понять! На что молодому учителю жить, если по полгода не платят? А муж? Ну, он пытается. То тут, то там. Шабашит, но много ли нашабашишь, когда кругом суданская нищета.

– Подъем, дорогой! – Настя будила ребенка и начинались сборы в сад. Уже от двери, оставив одетого сына ждать, она возвращалась в комнату. Целовала мужа. И коротко: – Сегодня Маликов! Не забудь!

– Не забуду, – бурчал муж, переворачиваясь к стене.

На концерт Маликова она откладывала, экономя на обедах. В самом деле, что за жизнь, если вообще никуда не ходить? А тут – звезда! Но до концерта еще дотянуть. Сына в сад. Волчком в школу. Планерка. Первый урок.

– Ну что, лоботрясы? Готовы? – Настя улыбается и подмигивает ученику за первой партой. – Про реформы Александра Второго нам расскажет... Алехина.

Встает Алехина и уныло идет к доске.

– Больше энергии, Маша, – подбадривает Настя. – Тебе сейчас крестьян освобождать, а ты как на каторгу.

Класс смеется. Алехина тоже смеется, понимая, что в шутке подсказка, и уж теперь хоть одну реформу она назовет. Во время ответа Настя смотрит на потомков, освобожденных с легкой улыбкой. Изредка:

– Петров, ты там извелся весь. Сядь ровней. Послушай, про прадедушку. – Смех.

– Шарко, Афанасов, немного уважения к однокласснице! Что шушукаетесь, как эсеры перед мятежом? – Смех.

За этот смех Насте уже влетало. Журила завуч.

– У тебя на уроках какая-то слишком свободная атмосфера. Может быть, ты не справляешься с классом? – смотрит с вызовом. Настю раздражает тыканье. Еще с тех пор, когда она сама сидела за партой. Она даже в какой-то момент думала, что, придя в школу, будет с учениками взаимно на вы. Этот выворот прошел у нее после первого года безуспешных попыток заставить себя всегда говорить пятиклассникам «вы». Выворот прошел, раздражение осталось.

– Нет, Людмила Александровна, у нас все хорошо, – говорит Настя как можно более убедительно.

– Смотри там. Когда хорошо – не смеются, – фыркает Людмила Александровна. Это полная женщина средних лет и какого-то чудовищного стажа. В школе лет двадцать уже. И всегда одинаково недовольна всем и всеми.

– Я обязательно прослежу, чтобы не смеялись, когда хорошо. – Настя спешит ускользнуть прежде, чем смысл слов окончательно понят.

Второй урок, третий, окно.

Само название, кажется, придумано, чтобы выпархивать из школы в парк. Настя хватается книги и спешит на скамейку. Сегодня «Анжелика – маркиза ангелов». Этой макулатурой завалены все прилавки. Ну хоть отвлечься. Граф, виконт, маркиза.

– Ты слышала, что Бурого взорвали вчера? – голос Светы, географички. Настя поднимает глаза.

– Да, передавали в новостях, – отвечает она, не расстроившись, что чтение прервано.

– Какие-то партнеры бомбу под дно машины сунули. У рынка. Паша говорит так. – Светкин Паша человек знающий, мент, значит точно так.

– С такими партнерами до половой жизни и не доживешь! – смеется Настя. – На концерт идешь?

– А то. – Светка садится на скамейку. – Паша там в оцеплении. Так что тоже послушает.

Они разговаривают сорок минут. О концерте, о Буром – криминальном авторитете местного масштаба, о завуче. Потом окно захлопывается. Пятый урок. Там неожиданный вопрос.

– Анастасия Вадимовна, а вот вы говорили, что народ поддерживал советскую власть в гражданскую войну, а папа сказал, что все не так.

– Это, дорогой Леня, предмет для спора такой продолжительности, что я могу подумать, буд-то ты срываешь урок. – Смех.

Ей нравится, что задают вопросы. Ей нравится смех. Единственное, что ей не нравится – это то, что не платят зарплату, но она выкручивается. И она думает, что будет выкручиваться и ходить сюда, даже если зарплату отменят вовсе.

Перед концертом Маликова на сцене неожиданная Наталья Ветлицкая. Публика негодует. Наталья неинтересна. В зале и без нее почти одни дамы. Еще и покрасивей и уж точно поприличней.

– Ну так ничего, – говорит Настин муж, глядя на Ветлицкую и цокая языком. Ветлицкая поет про цветок-василек и извивается. Облако химически завитых волос трясется в разных углах сцены.

– Я те дам, ничего. – Настя легонько бьет его локтем по ребрам.

– Лахудра! – кричит на сцену муж. – Маликова давай!

Заслушан Маликов. Полные впечатлений идут домой. Паша, Светкин муж, с Настиним мужем чуть впереди. Пашина форма отпугивает хулиганов.

– Помнишь Пугачева? – спрашивает Настю Светка. – Ну этот, черепашка-ниндзя?

Смеются. Настя помнит Пугачева. Недалекий и невезучий мужик с дачи. Степень невезучести поражает воображение. Пугачев работал дальнобойщиком и потерял фалангу безымянного пальца правой руки, прыгивая из кабины. Зацепился кольцом за ручку. Жена, переживая отсутствие маркера супружества, заставила купить второе кольцо – на средний палец. Через полгода он точно так же зацепился и им.

– Зовет на шашлыки дачных. Мы вроде наскреблись и пойдем. Вы как?

– Надо денег добыть, – смеется Настя.

В эту альфу и омегу упирается все и не упирается ничего. Ей двадцать четыре, и не в деньгах счастье. В Маликове с его лахудрой Ветлицкой – счастье. В смехе на ее уроках. В шашлыках, наконец.

В субботу, когда наскребли, и счастье совсем возможно, и случилось.

Уже веселые, в том состоянии охмеления, когда откровенные глупости еще пугают, но мелкое хулиганство уже видится допустимым и желательным, пошли собирать ветки для костра. И на ровном месте, оказавшимся не таким и ровным, на ровном месте! Нога провалилась в какую-то яму, и от острой боли в колене Настя едва не потеряла сознание. Шедший рядом муж на руках вернул ее к костру. Искали машину.

– Я выпивший уже! – оправдывался Пугачев, чуть не плача. – Не могу! Прав лишат с работы вылету.

– Ключи хоть дай, быстро! – командовал Настин муж. Голоса сквозь боль звучали отдаленно и неважно. Настя была почти в забытии. Слезы. – Я поеду. Не останавливать.

Гайцы, конечно, остановили. Прямо перед въездом в город.

– Ваши документы, – строго.

– Ты не видишь, мы в больницу едем, начальник? – еще более строго муж. И не скажешь, что уже выпивал. – Помоги!

И до больницы с мигалками. От мигалок ощущение важного и спешного. От мигалок ощущение, что все будет хорошо. А хорошо не будет.

Порвана связка. Спортивная травма. Была бы хоть физкультурником, было б объяснимо. А так еще обиднее. Дальше – обида на обиде. Операция. Пересадка донорской связки. Та не прижилась.

– Видимо, я не такой и хороший человек, если со мной даже связка не прижилась, – шутит Настя на людях. И плачет, когда одна.

Ее учебный год завершен. И новый не начат. Больничные коридоры. Вторая операция. На этот раз человеческие запчасти подошли. Но реабилитация не в один день. Она сгибает-разгибает. Сгибает-разгибает.

– Больно?

– Больно.

Мобилизованы все. Бабушка с внуком. Дедушка со связями. Там и связей-то кот наплакал, но удается пристроить в санаторий. Удастся найти специалистов.

С палочкой по парку. С палочкой в магазин. Пятьсот метров. Семьсот. Пара километров. И, наконец. Наконец, в школу. С палочкой. Отвыкшие от нее, вроде, дети срываются с места и норовят обнять. Окружают кольцом.

– Тише, тише. Опять мне что-нибудь порвете! – смеется Настя. Несколько девочек плачут.

Настя садится за стол и проводит теперь уроки сидя – раньше почти всегда стояла. Все возвращается на круги своя. Стала может чуть строже, но это от болей в колене. До свадьбы заживет.

Наталья ЧЕРНЫХ

ЛЕТО ЛЮБВИ

стихотворения 2025

боже
я не прошу
дай мне силы

боже
я не прошу Тебя
дай мне любовь

но поддержи меня там
где идет к очередному обрыву дня
поток человеческих тел

я не умею падать

поддержи меня
у обрыва нового дня

В наскоро придуманных словах,
не имеющих ни цели и ни смысла,
золотой и мягкий бродит прах,
золотые маленькие числа.
Непонятно легче говорить –
слов понятных человек боится.
Рысь тайком к ручью приходит пить,
песенками ей вода струится.
Некая молчанка по весне
глупость скажет про лужок в стишонке.
Ты смотри, как топят. На блесне
все не ты, а подлость в распашонке.

Наталья Черных родилась в 1969 году в Челябинске-65 (ныне Озерск). Училась во Львове и в Москве. С 1987 года живет в Москве. Публикации в журналах «Воздух», «Новый мир», «Знамя», «НЛО» и др. Автор нескольких книг поэзии и прозы сборников. В «Волге» печатается с 2009 года (поэзия, проза, критика, эссеистика).

Ты смотри, как топят, и топись,
не желая, не умея плавать.
С берега идет Большая Рысь:
плавники твои собой расправить,
ту молчанку взять на коготок,
что топила пьяненьких студентов.
Ты-то кто сама. Индеец чичерок,
дефа камера, мосфильма кинолента.

как много у нас
в хозяйственной сумке
взятой в путешествие
как много у нас
от ада до рая
включая
блаженство и боль
вероятно
это папа и мама

что скажешь ты
о зеленых полях
в волнах дождливого ветра
на которые так хорошо смотреть
из окна рейсового автобуса
от райцентра
в неведомую глушь
можно выйти на любой остановке
лечь лицом к дождю

отличишь ли ты улыбку от маски
цена за отличие невелика
лучше купи четвертинку черного
и треугольник молока

рядом с зелеными полями
тянутся стальные рельсы

ветер несет сырость и пепел
из пространства-времени
где от деревьев осталась только горячая зола
пепел идет по лицу
по твоему лицу

мне бы прикоснуться к нему
если бы не та сторона
я веду по своим щекам
как по стеклу автобуса

ты не увидишь капли
если бы ты знал
невелика цена за счастье

но как много у нас осталось
впрочем
я отдам и то
что осталось

налегке
от блаженства к боли
каждый проходит

сколько можно туда головой
не больна ведь ты ностальгией
и какой вопрос половой
сопрягать теперь с литургией
но послушайте как поет
как в другой вселенной не может
как в финале кода идет
собственного чада дороже
не во времени прошлом смысл
в этом миленьком настоящем
упакованном как кумыс
ноутбуком без дела спящем
и какой здесь ко мне мотив
обращается непредвзято
новостийный аперитив
входит в мозг абсолютным блатом
так с души воротит порой
без нужды насиловать память
вольных звуков скворчинный рой
да от птичьих царапин камедь
слез свояченица смола
глохнуть понемногу счастливо
мозга ствол или мозг ствола
трассы линии перспективы

Где обаянье новой гопоты,
там громко всем до самого рассвета.
Там черное, там не нужны цветы,
ей просто жалко времени для цвета.

Там нет зрачков – не потому что хмурый,
там просто так, на ширину штанины,
летят в ботинках новые амурь,
являя всем ссутуленные спины.
Там холода не сосчитать каналов.
Там кажется, что нет людей на свете:
ни зуммеров и не миллениалов,
а только львы и воюющие дети.
Той гопоты лавина ледяная
идет по улицам, где раньше было жарко.
Но это все не молодежь дрянная,
а только свыше серебрится сварка.
И как при сварке, то в глазах играет,
то звуком пробивает перепонку.
А гопота идет и выпивает
свой энергетик и жует картонку.
Наверно, так шлифуют стены кругом.
Но чем те стены расцветут в итоге.
Идут подростки роем или цугом.
Они не кинозвезды и не боги.
Им ни звезды, ни божества не нужно.
Я б им купила вкусный энергетик.
И этих глаз в очках пустые лужи,
да их тела – ни взрослые, ни дети.

Разбуди меня после полудня.
Мне на сон не хватает всегда
этих денег, которых так студно,
этих лет, из которых беда.
Нужно мне перебрать все игрушки:
книги, кисти и краски, кино.
Но не нужно и медной полушки.
Отдала я все Богу давно.
Но пока Он глядит, как с улыбкой
эти сны и не сны я смотрю.
Пробуждение тошно и зыбко,
Умываюсь, молюсь, говорю.
И нет в этой престранной вселенной
ничего, что фиксирует взгляд.
Что искать мне по матери тленной.
Но игрушки построились в ряд.
Ты возьми, Боже, все, что мне важно,
потому что им лучше с Тобой.
Сон мой сон, до полудня протяжный,
перевязанный крепкой судьбой.

Их не нужно звать. Они приходят сами.
Есть возможность некая у них
проявить неяркий смутный пламень,
свой горячий шоколадом стих.
Они сами скажут имена.
И свои, и тех, о ком болеют
их без веса плоти рамена,
их безвестность, личности аллеи,
их прикосновения в ночи,
их явления днем внезапно мельком.
Эти не поднявши глаз прошли,
этот снится целую неделю.
Их не нужно властью заклинать.
Они лучше видят и мудрее.
Но без человека им страдать –
как пустой корабль с косою реей.
Они сами будут говорить,
если что сказать им надо к сердцу.
Им до самого скончания жить,
не уснуть, не спать и не одеться.
Но тепло того, к кому пришли,
будет им и пищей, и покровом.
Цепь эпох. Строений кошел.и.
Ты пришел. Мы вместе, друг мой, снова.

Кино идет без права на повтор,
без лишних поворотов и загадок.
Так, вероятно, ходит только Бог.
И ход его на первый взгляд неглазок,
но голова кружится и скользит,
по пленке в серебре плывет быстрее.
Здесь памяти последний депозит
висит, качаясь, как сундук на рее.
В глубоком недостроенном аду
Линч слушает, как Боуи читает.
А Бог идет и вяжет лебеду,
на хлеб и платье стебли собирает.
Кино идет, и нет ему конца.
Но Бог сказал, что скоро я увижу
с той стороны экранного лица
всех тех, кто был и есть – всех тех, кто ближе.

они шли и пели песню
слова которой
никак ко мне не относились

они шли
я видела
и во мне повернулась
молодым плодом
любовь

мы не боимся
мы пойдем рука к руке

знаю я что так никогда не будет
что не вернуть скальпов
на пустые черепа

что все наши форты разорены
что вашингтон опять проиграл

что граф орлов скоро умрет
и турция снова готовит подлость

но смотря на шествие
за дурацким гробом
где лежали тряпки

рот мой
сам собой
выводил

мы пойдем рука к руке
во мне больше нет страха

Он утром так сказал: цветы прекрасны –
в ответ на: что со мной сегодня.

.....
Она приходит именно в апреле,
чтоб в августе навеки умереть.
Но все не получается
.....

Мы пели,
кто как умел, и не было гитары,
ни тамбурина и не маракасов.

Все это кратко называлось ВИА.

.....
А волосы за лето распушились.

.....
Мы, сидя на холме и на поляне
воображали светлый лес июньский,
когда она подарит новую нам кожу.

.....
А впрочем, как сказал один поэт,
мы исправления не ожидали.
Ни счастья, ни гармонии, ни силы.
Как должное печаль не принимали.
Как слаб теперь и скучен человек.

.....
Но вспомни в стылом августе под ветром,
что всякий, кто приходит в Сан-Франциско,
захочет принести с собой цветок.

.....
А я всего лишь уличный боксер.
Не перечить моих побед вчерашних.
А нынче я детей вожу по парку
в смешной, раскрашенной как радуга, машине.

.....
Я радугу сломал и бросил в гроб, к цветам и шмоткам.

.....
С бульдогом на дорогу вышел хиппи.

.....
А в этом августе все капли как патроны.

та девочка у золотых ворот

.....
ты говорил
она кричала громко
в ответ на наши теплые улыбки
она так плакала
что дождь пошел короткий
ты мне сказал
она там умерла

.....
а мы кустом красивым расцветали
красивые
мне говорили
люди
идут красиво жить

нам вся вода
под мрачными от зноя небесами

без мыла покорялась
мы росли
преобразив шипы в девичьи пальцы
и мы закрасили корею и вьетнам
восстановив поверженные души
мы войны все как пыль со стекол смыли

.....
но девочка у золотых ворот
смотрела молча словно бы немая
и плакала потом
и умерла

.....
как быстро все случилось
есть
и нет

.....
то лето как старинный дирижабль
взошло и улетело
но куда

.....
когда б я знал
когда б я только мог

.....
когда бы я как летом тем летала
кормя своим девичьим молоком
всю нелюдь волосатую под солнцем

.....
кино продолжится
мы разошлись по странам
но девочка
тогда еще живая
глядит из сердца золотым зрачком
на города ворота золотые

НА СЕВЕР

Рассказ

Он встал спозаранку, на улице ещё горели фонари. Сквозняк продул его комнату, даже под одеялом было зябко. Он достал из-под кровати холщовый вещмешок, света не включал. Собирался. В соседнем дворе запел петух. Он надел вязаный свитер с горлом, две пары штанов, высокие резиновые сапоги и вышел в коридор. Подошёл к входной двери, нажал на ручку. Дверь не открылась. Он нажал ещё раз, посильнее. Дверь не открылась.

– О-ох, господи.

Скинув сапоги, он прокрался в мамину комнату. Стал шарить в темноте по столу.

– Перестань, – сказала мама. Голос её был не заспанный. Задержал дыхание.

– Я знаю, что ты здесь.

– Где ключи? – спросил он шёпотом.

– Ты никуда не пойдёшь, – сказала мама. На этот раз она была готова и говорила спокойно.

– Отдай ключи. А не то в окно выпрыгну.

– Вперёд, – просто сказала мама. Он замер, стал вертеть головой.

– Ты всё равно его не найдёшь, – произнесла она уже нежнее. Он заметил фарфоровую урну, расписанную белым и синим, и поднял её за горло.

– Положи на место, – голос её задрожал.

– Ключи, – только и сказал он. Мама немного помолчала, подошла к столу и звякнула ключами о столешницу.

– А теперь поставь бабушку.

Он помял связку в ладони, нащупывая нужный ключ.

– Сёма, пожалуйста, – сказала она, чуть не рыдая. Сёма поставил вазу с прахом и пошагал к двери.

– И что тебе сдаться этот гарпун?! Ты точь-в-точь отец, – напоследок сказала она ему, и голос её оборвался грудным клёкотом. Сёма открыл дверь, стал обуваться. Из комнаты слышался плач.

– О-ох, господи.

Сёма спустился с третьего этажа. Свернул направо. Прошёл три квартала. С бухты потянуло холодком. Собирался дождь. Сёма подошёл к старым заваренным воротам. Перекинул вещмешок, и сам, поставив ногу на железную тугую ручку, перемахнул и больно приземлился на носки. Впереди его приветствовали грозным грохотом два высоких ангара из профнастила. Сёма всегда знал, какой будет ветер, благодаря их песням. Если скрежещет во всю силу – жди шквала, если гул мерный и ровный – значит, повезло с ветром. В редкие дни ангара молчали, и тогда Сёма ждал до полудня – не запоят ли? – а потом возвращался домой.

Он прошёл к пирсу, выложенному бетонными плитами, встал на колени, потянулся к воде. Частые маленькие волны задирались кверху и не успевали осесть, сразу разбивались под ногами. Вода была холодной и серой, повторяла за небом. «Плохо», – подумал Сёма. В мутном её нутре не разглядишь коряг, не узнаешь рыболовных сетей, и к берегу придётся подходить наудачу. Снова взгремели ангара, Сёма обернулся. У высоких открытых дверей его ждал жилистый мальчуган, младше его лет на пять. Сёма неспешно подошёл к нему.

Никита Удачин родился в 2006 году в Екатеринбурге. Живет в Москве, учится в Литературном институте им. Горького. Публикуется впервые.

– Привет, Чип. Принёс?

– Принёс, – ответил мальчуган и тихо добавил: – Погода сегодня неходовая. Горизонт не видно. В руках у него был небольшой бумажный свёрток. Сёма взял его и тут же раскрыл. Пол-литровая бутылка водки и охотничий нож. Он легко, без нажима, провёл лезвием по руке.

– Точил?

– Точил.

– Хорошо. Мачту поставил?

– Да как же я бандуру такую, – замельтешил Чип и повернулся к перекрестьям железных балок под сводом ангара. На них лежал десяток мачт: железные, деревянные, полые. Ниже, на подпорах, стоял красный ялик. В углу ангара, как моряки в гамаках, повисли старые шлюпы. Больше здесь ничего не было. Сёма нахмурился, подошёл к ялику и сложил всю поклажу, там же покоилась канистра с водой. Чип подошёл к носу, взялся за него.

– Раз, два, три, – скомандовал Сёма и поднял корму. Нос, как всегда, проседал – Чип пыхтел и семеня ногами, часто глотал воздух, лишь бы не отпустить ял. Они пронесли его к середине пирса и поставили на крутой металлический спуск. Сёма взглянул вперёд. Чип не врал, линию горизонта скрыл слившийся с небом туман. Они оба навалились на корму, толкнули раз, другой, третий, и ялик заскользил по воде.

– Я сегодня один пойду, – Сёма достал из вещмешка скрученную рулоном карту. Чья-то твёрдая рука вырисовала на ней островки и полуострова, повторяя скачущий рельеф берегов за печатным собратом. Чип не раз удивлялся этой работе, всё пытал Сёму, что же это за мастер, а Сёма только тихо улыбался.

– Ещё чего, – Чип не сдвинулся с места. – Почему это ты решаешь? Я тоже его строил, и ты мне не командир вообще.

– Ух ты, – Сёма высунул голову и посмотрел на него.

– И вообще, мы либо вместе, либо не ходим. Вот.

– О-ох, господи, – Сёма вышел с ялика, встал прямо перед Чипом. Он был на две головы выше и смотрел на Чипа сверху вниз.

– Не хочешь как хочешь. Видишь, какая погода дрянная. Лучше останься дома, а я сам справлюсь, – его волчи, серые глаза ничего не говорили. Чип дрожал как осиновый лист.

– Нет, не справишься! – кинул Чип. – Вода холодная уже, ноги сводит, перевернёшься – и всё! А ты перевернёшься, гад, а если не перевернёшься, то спрут сожрёт. *Его* рыбаки год назад видели. Я знаю, что ты ищешь *его*, Сём...

– Гарпун, – прорычал Сёма и пошёл на Чипа. – Я ищу гарпун!

– Два года! – крикнул Чип и сжал кулачки. Сёма приблизился к нему вплотную и сказал:

– Пошёл вон.

– Нет, – пискнул Чип, – не пойду никуда. Либо вместе, либо не ходим. Делай что хочешь.

– Ты драться не умеешь.

– Ты тоже.

Сёма неловко, но размашисто саданул кулаком по щеке Чипу. Он повалился как тряпичная кукла, закрыв лицо руками. Кулак не болел.

...Ветер взялся за дело, с силой заполоскал парус. Ялик порвался с места и натянул швартовы, точно пёс на цепи. Сёма внимательно оглядел судно. Развязал носовой швартов. Толкнул нос ногой, и ялик стал поворачиваться к туманному горизонту. Сёма отдал кормовой, поставил правую ногу рядом с рулём, левой что есть мочи оттолкнулся от пирса. На секунду он завис над водой, взглянул вниз. Гладь подёргивалась мутными волнышками. «Плохо», – подумал Сёма. По-хозяйски он уселся у руля на наветренную сторону, взял в руки шкот¹, потянул на себя. Ялик плавно накренился. Сёма решил не оборачиваться и держал руль прямо. Ял шёл на север.

¹ Шкоты – тросы, благодаря которым осуществляется управление парусами, изменение их положения относительно ветра. *Здесь и далее – прим. автора.*

Господин Бог скрыл грядущее на пять корпусов вперёд. Время близилось к полудню, но туманная завеса всё не спадала, а судно продолжало таранить серый эфир, вставший над волнами.

Сёма раскрыл вещмешок и вытащил обмотанные фольгой бутерброды. Запивал их водкой, маленькими глотками. Теплее не становилось. Плеск воды, сродни грохоту поезда, усыплял Сёму. Он съел второй бутерброд, сложил из фольги кораблик и, перегнувшись через корму, аккуратно пустил его по воде. Кораблик запрыгал на волнах и стал уходить в туман. Послышался отдалённый рык мотора. Сёма прислушался. Мотор прерывисто тужился, – видно, кто-то экономил бензин, – и ревел всё громче. Из ниоткуда показался круглый нос надувного швертбота¹. Подобный был у отца, только с парусом, и побольше. В кокпите² встала маленькая рубка, на её крыше мигала сине-красная таблетка. Распоров поверхность воды, швертбот поравнялся с Сёминым яликом. Кораблик из фольги утонул.

– О-ох, господи.

– Есть кто? – крикнул тёмный силуэт с того борта. Сёма промолчал. Тогда силуэт подошёл ближе, сощурился. Мужик. На вид не больше пятидесяти. Синяя кепка с кокардой, оранжевый спасжилет.

– Здравствуйте, – сказал он. – А почему не отвечаем?

– Здравствуйте.

– Есть кто из взрослых с тобой? – он достал откуда-то снизу планшет.

– Нет.

– Ты один? Ку-уда? – протянул патрульный. Водная полиция была здесь не чаще полной луны. – Ял откуда? Угнал?

– Сделал.

– Сам, что ли?

– Да, сам сделал, – отрезал Сёма и вытянулся. От носа и до кормы швертбота, сужаясь, словно усы, шли два надувных баллона, по одному на каждую сторону. Патрульный рассмеялся. Его смех был похож на хрюканье.

– Ну, хорошо. Документы? Права?

Сёма покопался в вещмешке и вытащил ламинированную маленькую бумажку. Патрульный заметно удивился, долго в неё вглядывался, перечитывая.

– Ну, брат, даёшь! Ладно, – он протянул права обратно Сёме. – Только и не ты как будто. На фото улыбочивый такой, и щёки толстые...

– Это всё?

– Ну, вообще нет, – задумчиво произнёс мужик. – У тебя права на четыре квадрата. Это в самый раз для таза. А у тебя тут, – он махнул рукой на бывший из стороны в сторону парус, – раза в три больше выйдет. Да и, вижу, ты водку везёшь. Не упрaviшься ведь с ялом.

– Почему?

– Пацан ещё.

– И что? Дошёл ведь как-то сюда, – посуловел он.

– Ладно, не кипи. Странно это всё. Давно такого тумана не было. Сам немного потерялся. А тут вдруг ты с ялом. Куда хоть идёшь?

– На север.

– Ну, ладненько. Я бы, понимаешь, глаза закрыл на права твои, но здесь опасно. Давай-ка принесу трос, – он ушёл в рубку, насвистывая какой-то дурацкий мотивчик себе в усы. Сёма плавно поднял блестящий охотничий нож, потянулся к чёрному баллону швертбота, занёс руку как можно выше. Ударил. Первый раз лезвие соскользнуло, и баллон остался целым. «А говорил, что точил, гадёныш», – подумал Сёма и навалился всем весом для второго удара. Лезвие зашло прямо

¹ Швертбот – тип парусной яхты, обычно такие яхты небольшие.

² Кокпит – внутренняя полость судна.

в баллон, послышался сдавленный хлопок, и Сёму отбросило в кокпит. Он насилу открыл глаза и, не обращая внимания на звон в голове, взялся за шкоты свободной рукой. Вторая до сих пор, сама по себе, сжимала нож. Ветер подхватил ялик и толкнул его вперёд. Накренившись, судно задрожало, стало гулять вслед за оставленным рулём. Сёма бросил окровавленный нож под ноги и схватился за румпель¹. Позади раздалось несколько хлопков. Сёма пригнулся. У задней шкаторины² появилась дырка. Больше ничего слышно не было. Только спустя полчаса Сёма заметил, что с его предплечья капает кровь.

Не было даже намёка на штиль. Изредка мимо проносились бережки полуостровов, и Сёма навскидку отмечал их у себя на карте. Ближе к вечеру стало теплее, и туман немного спал. Горизонт, отчёркнутый бурой водной линией, ничего, как всегда, не обещал. Сёма зачерпнул ладошкой из-за борта, умыл лицо солёной водой. Он знал, что найдёт *его*. В солнечный день некоторых островов не откроешь: Господин Бог устроил хитро и отпугнул всех трусов. Сёма не боялся, он верил своим рукам. А руки у него были грубые, жёсткие и сухие. Такие руки не обожжёшь и не отморозишь, потому что их день за днём питал тяжёлый труд. Сёме даже карандаш держать было тяжело. Он не расстраивался.

Стемнело. Заката как и не было. Достал ещё пару бутербродов, спешно сжевал их, а фольгу скомкал шариком и отправил за борт. «Дождь так и не начал», – подумал он и улыбнулся. Так улыбаются, когда говорят спасибо. На море стало светло и необычайно тихо. Он лёг в кокпит, подложил под голову вешмешок. Глотнул ещё водки. Сморщился. Стало тепло. Рука продолжала саднить – порез на предплечье был неглубокий, но длинный. Стали проклёвываться первые звёзды, и Сёма сразу заметил среди них полярную, прилипшую к краю маленького ковша. Отец рассказывал, как один раз ушёл с китобойного судна к близлежащему порту за провиантом, провёл там весь вечер и возвращался в ночь. Он долго не мог найти дорогу обратно, а потом выровнялся по звезде и шёл, шёл, шёл. Становилось всё темнее, а китобой так и не появился. Тогда отец испугался. От отчаяния он продолжил грести, и всё смотрел на эту звезду, единственный свет, пока не ударился носом о борт собственного судна. «Верь звезде», – говорил он и незаметно улыбался в бороду. Сёма закрыл глаза. «Верю. Она поможет мне в пути. Только бы дойти. И тогда я убью тебя».

Его разбудил гром. Ял бросало из стороны в сторону, так что Сёма даже не сразу встал на ноги. Он постарался определить, откуда дует. Не смог. Впереди собирался кулак грозы, с тёмной, пенистой водой и обезображенными тучами. Он отвязал руль, решил поворачивать, но заметил вдали, за штриховкой ливня, серую башню. Маяк. Сёма оскалился. Нигде за два года он не видел маяка.

– Н-ну давай, – тихо шепнул он и подобрал парус. Ял сильно накренился, чуть ли не черпая воду подветренным бортом, и полетел прямо в угольную гущу. Совсем скоро начался злой и рваный дождь. Капли бились о затылок. Весь мир вокруг опять завалило туманом, но густым, сродни дыму. Судно потонуло в сторону, потом ещё раз, и ещё. Ялик сбивался с курса. Тогда Сёма взялся за румпель крепче, потянул его на себя, но руль выдрал его из кокпита и выкинул за борт. Чип и здесь не наврал – вода правда была ужасно холодной. Толкаясь ногами, Сёма утопил сапоги. Ветер дул одновременно со всех сторон. Свитер набрал в себя воды и стал тянуть вниз. Ноги свело мелкими судорогами. Отплёвываясь, он схватился второй рукой за румпель, дёрнулся, и наконец пролез в кокпит. Он посмотрел вперёд – и содрогнулся. Мачта медленно шаталась. К ялу бежала большая волна. Ударившая волна поразила его мертвенным холодом. Судно чуть не перевернулось, но всё-таки пролетело дальше, начерпав воды. «Ты не напугаешь меня», – подумал Сёма. В следующий момент мачта свалилась и ушла в бурную водную глубь, вместе с парусами и всеми снастями. Ялик выровнялся. Теперь он стал игрушкой волн. Сёма взял весло и начал подгрёбать то с левой стороны, то с правой. Тело схватила мелкая дрожь. Только руки застыли в мёртвой хватке. Туман потихоньку расступался. Нечто громадное вырисовывалось впереди. Сёма бросил

¹ Румпель – рычаг, закреплённый в головной части руля.

² Задняя шкаторина – край паруса.

вёсла, встал на нос, и тут же прыгнул в кокпит, схватившись покрепче за бортики. Вторая волна была сильнее, и ял запрокинулся, поднял нос к небу, полетел вперёд. На побережье.

Нос в кашу. Корма пробита в трёх местах. Паруса больше нет. Сёма сидел у бедного бережка и ел тушёнку с ножа. «Всё-таки хорошо, что не перевернулся», – подумал он. Неподалёку был кедровый лог, из него Сёма натаскал валежника. Скоро сложился маленький костерок. Дождь ещё немного пошумел, и восояси отступил. Сёма сложил вокруг огня вымокшие свитер и носки, взял нож и пошёл вдоль побережья. Берег был неровен, зелен и лесист. Впереди Сёму ждало взгорье, смотревшее на него отвесным каменным боком. Сёма подошёл ближе, поглядел наверх. Попробовал пару выступов ногами. Стал карабкаться. Он был лёгким и сильным, как муравей. Многие сверстники поначалу недооценивали его в драках, а потом, битые, обходили его стороной, точно прокажённого. Медленно, не торопясь Сёма поднялся наверх. Перед ним лёг маленький серп бухты, проткнутый посередине потухшей свечкой – маяком. Сёма спустился по пологому склону и пошёл вдоль воды. Волны, ещё не успокоившиеся до конца, прищипливали к берегу разный шлак, доски, непонятные клетки. На самом краю бухты виднелись большие белые обломки чьего-то судна. Сёма остановился. Его глаза округлились. Это был *его* швертбот, перебитый надвое, с кирпичного цвета рубкой и надписью «Аврора» на борту, которую *он* сам вместе с Сёмой когда-то вымалевал через трафарет.

Сёма раскидывал сведенные временем фалы и прохудившиеся паруса, лихорадочно бегал глазами по кокпиту и что-то искал. В конце концов, сколько сделали люди белых швертботов на земле, и сколько из них окрестили «Аврорами», но *его* всегда можно узнать. Сёма залез в рубку, выломал парой ударов крышку маленького подполья, куда складывали все запасные снасти. Дёрнул продолговатый свёрток, покоившийся в темноте. Развернул.

– О-ох... господи...

В его руках лежал гарпун. Увесистый лакированный брус с железным наконечником – незатейливая конструкция. Изящный и простой крюк заржавел ещё давно, но сохранил свою форму точно с того дня, как оказался на китобое. Когда-то в туманном прошлом этот гарпун держал один сильный бородатый моряк, он заносил своё оружие над головой и ждал. Стоял в шлюпе посреди моря, внимательно смотрел в водную гладь, старался меньше моргать. Его плечо давно затекло, но он держал гарпун, собрав все силы в единственный рывок, его рука – натянутая тетива, и ни одна сила в мире не сможет её опустить. Он не молится Богу и не ругает черта, а просто молчит, ждёт подходящего момента. Из глубины, он чувствует, плывёт живая громадина, и не подозревает, что её уже приговорили. Он приговорил. Когда она показывает свою блестящую серую спину, гарпун, как намагниченный, летит вперёд, за ней, и заходит в кожу под углом, точно так, как хотел моряк. Громадина отчаянно ревет, обращаясь к небу, но небо ей не отвечает, она бросается в воду, но вода не может её спрятать. Только гарпунный крюк залезает всё дальше и дальше под кожу. Спустя несколько часов моряк возвращается с добычей на китобазу, время близится к вечеру. Он наедается вдоволь сухарями, выпивает стопку водки и ложится спать по-старому, в гамак, хотя на корабле есть много свободных коек.

«Попался!» – Сёма хищно улыбнулся, бросил гарпун в песок и поглядел в чашу, но не пошёл. «Нет-нет, не торопись. Лучше завтра», – подумал он и повернулся к маяку.

Каменный и пустотелый. Сёма удивился, когда зашёл внутрь. Поднявшись по винтовой лестнице, он оказался в тесной фонарной комнате из стекла. Снизу, чуть ли не до горизонта, дыбились кедры и каштаны, непричёсанный остров дышал морским воздухом, качая стволы деревьев. Сёма постоял немного, оценивая его величину, и совсем отвернулся от моря. Там разошёлся туман. Туда уходило солнце. Ему было плевать.

Рядом с маяком обнаружилась бедная, давно покинутая хижинка. Крыша была пробита в нескольких местах, и дождь оставил на дощатом полу свои следы. Первый вечер ушёл на заселение. Был стол, была печь, была кровать. А ещё были старые сапоги, на размера два больше Сёминой ноги. Но он всё равно обрадовался. Натаскал в ночи ещё валежника, разогрел вторую банку тушёнки, съел её наполовину. Насилу уснул.

У него ушло четыре дня, чтобы обойти весь остров. Сначала он шёл вдоль берега, скидывал на видное место булыжник или делал засечки каждый километр, считая шаги, а потом на обратной стороне карты перерисовал всё как увидел. Разделил остров на четыре части и долго шерстил его, взбирался по взгорьям, ел по пути орехи и ягоды, сохраняя скудные запасы. Но Господин Бог продолжал шутить. Когда Сёма попадалась равнина, пригодная для жилья, он тут же срывался с места, но не находил ничего, кроме хитро шептавшихся кустарников. Оставалось только достать из-за пояса нож и сделать пару-тройку засечек. Один раз он чуть не подрался с ужом, проходя сухой овраг, но гад сбежал, и Сёма не смог его догнать. Каждым утром туман прибывал, заведшая рассвет, густел и крепчал к полудню, а на закате рассеивался. И Сёма вставал всё раньше, а приходил всё позже. Его тёмные волосы смешались в гнездо, рана стала всё больше напоминать о себе. Порою он выходил к берегу и окунал руку в солёную воду, но порез продолжал гноиться. По ночам Сёма кашлял.

Четвёртым днём Сёма дошёл до края. Три дольки острова уже перечёркнуты большими красными крестами, с утра, опередив рассвет, он съел последнюю банку тушёнки, выпил до капли весь сок из жестянки и выпрыгнул наружу, в темень. С каждым часом дыхание его становилось тяжелее, он бродил без спешки, внимательно оглядывался, стараясь выцедить прищуром хоть что-нибудь похожее на дом через плотно посаженную чащобу. «Некуда тебе бежать», – думал он спокойно, отсекая ещё одну часть леса своим ножом. То и дело стали показываться толстые пенёчки. Это *его* рук дело. Ни один человек, кроме *него*, не сможет повалить исполина-кедра, и Сёма это прекрасно знал. В сотне шагов, на мелком чистом кургане Сёма заметил нечто, похожее на столб. «Нет-нет, не торопись», – сказал он себе и рванул что есть мочи вверх по склону, одна нога выпрыгнула из сапога, он повалился, скатился вниз, вновь встал, скинул второй сапог и взобрался на пригорок. Остановился. В руке у него был нож. Перед ним – крест. Сбито наспех, неумело. О-ох... Он молчал. Земля ещё не успела высохнуть – свежая утоптанная могила. Небольшая. «Схоронили как скотину», – подумал кто-то за него. Туман на побережье терял силу. Закат скоро. Сёма встал ногами на могилу. Долго, долго смотрел. Плюнул.

– Урод.

Постоял ещё. Сделал засечку на кресте. Всё. Переваливаясь с ноги на ногу, пошёл куда глаза глядят. Нож остался в руке. Он бродил потеряннм взглядом по округе, искал хоть кого-нибудь, как блуждающий шатун. «Сапоги забыл», – подумал он и не стал возвращаться. Ноги вывели его к маяку. Он достал бутылку водки, сел на берег, рядом со швертботом, пил долгими глотками. Потом упал на спину. Нашёл ковш. Нашёл полярную. Господин Бог опять шутил.

«Ты забрал *его*, это ничего. Забери меня тоже. *Ему* нигде не скрыться, даже над звездами. Оттуда *ему* точно некуда бежать, так что я найду *его*. И снова убью».

Он покашлял. Ночь опять принесла простуду. Грудь стала железной, холодной, но внутри ещё что-то теплилось, как в не разгоревшейся печурке. Он уже всё решил, но не торопился. Голова горела. Прибрежные волны касались его ног, морозили пятки.

Поначалу ему было трудно ходить босиком по снегу. Потом привык. Когда он оставался без работы, нужно было ходить по снегу. Но, по справедливости, он остался без работы ещё давно, когда его уволили с промысла. Мама так сказала. И ответила за это. «Опять будет плакать», – подумал Сёма, а сказал только:

– О-ох, господи.

Он сел, взял нож, надавил на руку – тупой.

– Ну уж нет.

Он оглянулся в поисках гарпуна. Ночь была светлая и тёплая. Рядом его не оказалось. Он посмотрел внимательнее. Вспоминал, куда же положил его, и наткнулся на вереницу следов. Две пары. Маленькие ножки и большие сапоги. Большие сапоги. Большие сапоги. Сёма отпрянул, затаил дыхание. Покачал головой, взял бутылку, стал её въедливо осматривать. Простая водка. Следы были свежими, прилив ещё не успел их стереть. Пара пошла на запад, в лесу следы обрывались. Но ему было уже всё равно. Далеко они не ушли.

Лунный свет сквозил через листву, Сёма шёл быстро, поступью кошки. На мгновение он останавливался, закрывал глаза, прислушивался, и потом шёл дальше. Ничего не слышно. Впереди, через сто шагов, доносился шум прибоя. Вдруг его глаз обжёгся о жёлтый свет фонарика. Луч коснулся его бока, и Сёма припал, стиснув зубы.

– Свети сюда, я же просил, – донеслось по правое плечо. Сёма стал дышать чаще.

– Ладно, – ответил детский голос. Свет пополз обратно. Сёма поднял голову. Под разросшимся великим кедром с корнями шириной в локоть стояли две фигуры. Мальчик светил, а он орудовал лопатой. Частый хруст земли и глухой звон металла. Сёма подкрался ближе.

– Папа, пап, – заканючил мальчик.

– Что?

– Мне страшно.

– Чего тебе страшно? – сказал он уставшим басом.

– Тут монстр ходит.

– Ты же знаешь, что здесь никого-никого нет, ты с мамой вчера ходил и ничего не нашёл, – он всадил лопату в землю и опёрся о черенок.

– Нет, есть, я видел! На маяке! Он ходит по лесу и царапает деревья!

У Сёмы по спине пробежал холодок. «Сейчас даст за глупый вопрос», – подумал он и сжал нож крепче. Их разделяло пять метров. Сёма ждал.

– Ну хорошо, – хмыкнул он себе в чёрную бороду. – Завтра идём вместе проверять маяк.

– Пап, а зачем нам хоронить гарпун?

– Гм, – он опять задумался. Когда он думал, его толстые чёрные брови сходились вместе. – Он просто умер. Вчера, когда мама нашла его на берегу, она здорово испугалась. Мёртвых надо хоронить.

– Он умер как Бобик? – грустно спросил мальчик.

– Нет, не так. Ты знаешь, вещи, они по-другому умирают, – голос его был мягок.

Сёма скрежетал зубами. «Не торопись. Не сейчас», – уговаривал он себя.

– А как умирают?

– Они умирают, когда ты ими не хочешь пользоваться. Вот гарпун, да? Он нужен, чтобы убивать китов.

– А кто такие *кеты*?

– Большие рыбы, – резко ответил он и запнулся.

– А-а... И ты больше не хочешь убивать *кетов* этим гарпуном?

– Нет, не хочу. Вообще убивать китов не хочу, – проговорил он медленно.

Руки Сёмы похолодели. «Лжец», – подумал он.

– А можно я гарпуну крестик сколочу?

– Как Бобику?

– Да-а!

– Ну ладно, завтра сколотишь.

– Завтра же на маяк идём!

– О-ох, господи! – вскипел он и взялся за лопату. Совсем скоро он зарыл яму и велел сыну идти домой.

– Мне страшно, – повторил мальчик.

– А чудища света бояться.

– Правда бояться?

– Правда. Иди уже.

Когда сын отошёл шагов на десять, он достал из-за пазухи трубку из груши, чиркнул спичкой, задымил. Сёма узнал запах и зажал нос, чтобы не чихнуть. Он курил медленно, для этого ему нужны были тишина и одиночество. Кажется, их кухня до сих пор пахнет его табаком. Сёма взял нож обратным хватом, выплыл из кустов, поднял руку так высоко, как только можно было. Оставалось три шага. Он сжал кулак что есть мочи, задержал дыхание, натянулся как струна. В эту секунду он жил только ради одного рывка. Лезвие тихо сверкнуло от лунного света.

– Сёма! – раскатисто прокричал *он*. Сёма оцепенел, выронил нож, скрючился, потупил взгляд. «Откуда узнал, гад?! Нет, понятия! Ял я оставил, гарпун этот, костёр разжёл, по лесу шатался – вот приметил! Балда! А-а-а-а!» – пронеслось у него в голове за один миг.

– Да-а-а? – ответил мальчишеский писк.

– Маме ни слова про это! – снова прокричал *он* звонко и полно, словно в рынду ударили.

– Ага-а-а! – донёс *ему* ветер. *Он* ещё немного подымил, пару раз ударил трубкой о ствол кедра, чтобы скинуть пепел, и пошёл своим тяжёлым шагом дальше в лес.

Сёма двинулся следом. Он тихо шипел, как раненное животное. «Это моё имя. Моё, моё! Не твоё! Обоим шеи скручу. Убью их. Убью!» – крутилось у него в голове, пока он пробирался по чащобе. Дорога выводила на маленькую прогалину, которой Сёма не видел ни разу. Это был центр острова. Перекрестье всех четырёх частей, расчерченных на карте. *Он* зашёл в старый хлипкий домик, ограждённый деревянной калиткой, наклонив голову, чтобы не удариться лбом о проём. Дверца со скрипом закрылась. Сёма перемахнул через ограду, подобрался к оконцу, стал аккуратно заглядывать внутрь.

Они жили бедно. Прихожая сразу выходила в кухню, там стоял деревянный стол, на котором, вместо клеёнок, были выстелены газеты. Полная женщина говорила ему что-то своим гулким голосом. Мальчик уже сидел за столом над пустой жестяной миской и качал ногами. Женщина стала разливать из кастрюли суп. *Он* тоже сел, молчал. Его фигура изменилась: *он* отрастил пузо, обрюзг, набрал в весе, и его на редкость пышные волосы местами посеребрила старость. Сёма пожирал его взглядом, ожидая, когда *он* наконец покажет себя. Обычно повода не требовалось.

Сын что-то спрашивает. Его голос бьётся об оконную раму, и Сёма не слышит. «Давай. Возьми его за горло», – заклинал Сёма и невольно морщился. *Он* что-то ответил. Они смеются. Все. Даже *он*. *Он* улыбается. «*Ты* не умеешь...» – растерянно думает Сёма. Женщина наливает супу и себе. Отходит к плите. *Он* начинает что-то рассказывать. Наверное, говорит про огромных спрутов или крабов-гигантов, в общем, выдумывает. Она подходит. Опирается о стол. Стол падает. Кастрюля падает. Всё на *него*, на *его* кожаную куртку, которую ему подарил английский матрос. Сёма пучит глаза в окно, задерживает дыхание, как перед погружением. Сейчас.

...*Он* смотрит себе под ноги, сжимает огромные кулачищи, делает глубокий вздох, а затем берёт стул за ножку и швыряет его в женщину. Снимает промокшую куртку и лупит ей женщину. Она не кричит, только закрывается. *Он* берёт жестяные миски, бьёт их об стол, они разбиваются на кучу частей. Сын стоит. Молчит. *Он* даёт ему оплеуху, кричит раскатистым голосом:

– С дороги! Как же вы все меня заебали!

И сын падает, закрывши лицо руками. А Сёма врывается в их тесную халупу, не думает, не дышит, не живёт – бьёт его в сердце, туда, чуть ниже левой ключицы, точнее правой, если смотреть на себя в зеркало.

...Нет.

Их кухня взрывается хохотом. *Он* не музыкальный, грубый, слишком звонкий даже для колокольчика. *Он* скачет по кухне, проходит через стёкла и щекочет Сёме лицо. Никого Сёма не бьёт. *Он* совсем прислонился к стеклу, уже ничего не пугаясь. *Он* видит, что пол залит супом, и суп плохой, отвратительный по цвету. А они смеются. Все втроём, очень некрасиво. *Он* ненадолго куда-то уходит. Возвращается с тряпкой. Собирает жижу с половиц. Над ними яркая жёлтая лампочка. Слишком яркая. Они всё не могут остановиться, хохочут, пытаются что-то сказать, но снова заливаются смехом. От их окна веет теплом, Сёма чувствует его ладонями. Сёме кажется, что Господин Бог не прячет солнце на ночь, а отправляет его гонцом на эту кухню, и они каждый день греются вот так, а зимой не платят за электричество.

– Не *он*, – слышит Сёма свой шёпот. – Это не *он*.

Он утирает щёки и идёт обратно, к маяку. «Нет, я вернусь и убью его! Я убью!» – думает он по дороге. Он дрожит телом. Только руки у него всё такие же твёрдые. Когда он дошёл до берега, луна была в зените. Он взял бутылку водки. Ушёл в лачугу. Сел, опрокинул остаток в горло. Его стошнило. Он скрючился на кровати. Лежал. Долго лежал. Заснул.

Его разбудил дождь. Сильный ливень продирался через крышу и топил убежище. Он неуверенно встал, вышел к морю. На воде собирался шторм. «Я убью его», – подумал он ещё раз, морщась от головной боли, и пошёл к швертботу. Только сейчас Сёма заметил, что судно стоит слишком далеко от берега, и вытащила его человеческая рука. И поломала тоже. В подполе плескалась дождевая вода. Он нашарил рукой увесистое ведёрко с ржавыми гвоздями. Молотка не оказалось. Через треск ливня продирался шум мотора. Сёма вздрогнул. «Права... Там остались», – с досадой подумал он. Рассекая волны, к берегу приближался красный спортивный катер. Сёма видел такие только два раза в жизни.

– Э-эй! Там! – катер остановился и заглох. Сёма поднял голову. На палубе стоял незнакомец. Обрядя богато, в костюме.

– Это ты ловишь устриц?!

– Что такое устрицы? – устало крикнул Сёма.

– Это здесь живёт рыбак Степан?

Сёма кивнул. Катер остановился у берега, аккуратно выбритый мужичок со спасжилетом, надетым поверх костюма, вышел навстречу.

– Проводишь меня к нему?

– Он умер.

– О-ох, – он занервничал, выколупал из-за пазухи продолговатый мобильник с антеннкой, стал набирать номер. – Шеф, придётся на рынок ехать. Степан умер.

Сёма уже шёл в чашу, накинув на плечо вещмешок. К носку, изорванному в тряпье, пристал жёлтый кедровый листок. «Осень скоро», – подумал он и покашлял. Рядом с кедром стоял кривой крестик из свежих досок. Сёма поднял голову ввысь. Дерево стояло, спокойно раскинув широкие плечи. «Всё-таки есть кто-то посильнее *него*», – подумал Сёма, вытащил крест и разломал его на дощечки. Земля звала к себе, уговаривала прилечь. Он стоял, взяв доски подмышку. Порез неприятно саднил.

Когда он добрался до своего яла, дождь стал тише. Сёма попробовал вытащить его за нос, но только выдохся. Тогда он залез внутрь, приладил дощечки к днищу, где находил течь. В полдень он закончил и отчалил в объятия тумана. Волны были небольшими, зефир усыплял его, и только кашель не давал заснуть и рвал горло. Сёма орудовал вёслами, усевшись лицом к корме. Лопастие еле касались воды, правое предплечье продолжало ныть, но он всё равно не кидал вёсел и верил своим рукам. Полчаса спустя ял подхватило течение, он мог передохнуть. Тогда Сёма высунулся за борт. Окунул руку с раной в воду. Засмотрелся на себя. Осунулся. Побледнел. Глаза впалые. «Как будто умер», – подумал он и искривился в улыбке. Улыбка ему не понравилась. Он лёг в копит, почувствовал тяжесть своего тела. Не заметил, как уснул. Проснулся тоже как в тумане, во рту Сахара. Он приложился к канистре и выпил всё до дна. Снова взялся за вёсла. Рука распухла и покраснела. Он старался не смотреть на неё. Вода была гладкая, как лёд. Штиль. Стал грести, вскрикнул. Где-то совсем рядом по ушам дал резкий звук мотора. Запахло бензином.

– Водная полиция. Сержант Симаков, – послышался знакомый голос. Сёма кинул взгляд на нож у себя за поясом. Посмотрел вверх. Серые усы.

– У меня нет паруса, – хрипло ответил он.

– Ну и что?! Представьтесь! – взъелся патрульный. Из-под кепки виднелся белый бинт. Сёма помолчал. Патрульный завис на несколько секунд, а потом вскрикнул:

– А ну вылезай, засранец! – он стал копать у пояса, взял наручники. Сёма сидел, повесив голову.

– Думаешь, если снял парус – не узнаю? Ты думаешь, я тупой, да? – он перекинул ногу в ял.
– Вылезай!

Вода вокруг запузырилась. И ялик, и швертбот закачались, так что патрульный чуть не упал. Сёма настороженно взглянул за борт.

– Я кому говорю! – продолжал кричать патрульный высоким свинячьим голосом.

– Тихо, – отрезал Сёма. Тогда Симаков схватил его за правую руку и дёрнул на себя, она чуть не отпала. Сёма прорычал, оскалился и незаметно для себя выхватил левой рукой нож.

Сержант бросил наручники в воду. Потянулся к пистолету. И тут из глады, прямо между судами, вышло огромное красное щупальце величиной с дерево. Патрульный повалился в кокпит яла, передёрнул затвор и, не целясь, выстрелил пару раз в его сторону. У Сёмы заложило уши. С другой стороны показалась вторая культа и тут же обвила судно в несколько витков.

– О-ох! господа!

И в следующий миг судно утонуло под воду. Сёма толкался наотмашь, бултыхался наугад, вверх, и увидел мягкий серый просвет. Его руки задубели, и левая не могла разжаться, чтобы отпустить нож. Прямо перед ним засветился весёлый жёлтый кружок, с арбуз. Сёма беззвучно вскрикнул, когда понял, что это глаз. Тьма вдруг расступилась, и он увидел спрута целиком. Огромная мешковатая голова, похожая на спущенный воздушный шар, множество щупалец, растянувшихся сетями, и грозный, полный животной ненависти взгляд. Само нутро затрепетало. Ноги перестали работать. «Мне конец», – подумал он, а в это время левая рука уже вонзила нож в чёрный зрачок. Сёме показалось, что он режет дыню. Даже под водой он услышал внутриутробный гул чудовища и поплыл наверх, наверх. Выбравшись на воздух, он не дал себе отдыха, подгребал обеими руками что есть мочи к швертботу, который качали сильные волны. Зацепившись за борт, он не с первой попытки подтянулся и перевалился внутрь. Даже через палубу он чувствовал, как грохочет вода. Сёма глянул на мотор, нажал несколько кнопок наугад, и швертбот жалобно заскулил, понёсся прочь.

– Симаков. Симаков, приём, – сказали из чёрной радиолы в будочке. – Через пять минут к тебе придет усиление. Приём.

– Не приезжайте. Всё хорошо, – снял рацию Сёма.

– Симаков, это вы?

– Да, я.

– Что произошло?

– Связь сбоят. Всё нормально. Через час вернусь, – сказал он и, сграбастав радиолу и рацию в охапку, бросил всё в море. Швертбот рассекал туман, остававшийся холодными каплями на Сёмином лбу. Уже через пятнадцать минут он стал узнавать по сторонам близлежащие к бухте острова, на ходу он подруливал то влево, то вправо, стараясь держаться как можно дальше от берегов. «Главное, чтобы не узнали», – думал он. Правую руку неистово тянуло вниз. Дрожь преследовала его, он часто оглядывался, не мог надышаться. Уже приближаясь к бетонному пирсу, он заглушил мотор. Господин Бог не тронул их бухту за эти шесть дней. Сегодня наступило воскресенье. Рестораны ломились, рыбаки отдыхали, и ветер не дул. Швертбот тихо ударился о бетон. Сёма ковыльнул на нос и в один маленький прыжок оказался на земле. Пошёл в сторону железных ворот.

– Эй! – окликнули его со спины. Сёма обернулся. К нему бежал покрасневший Чип. Господин Бог не тронул и его. Только подрисовал мешки под глазами. Чуть не врезавшись в Сёму, он встал и замолчал. Сёма тоже молчал и рассматривал ободранные, грязные, мокрые носки.

– Где ял? – спросил Чип и удивлённо, и строго. Сёма промолчал.

– Так и знал, что ничего у тебя не выйдет. Ещё и на них наткнулся, – Чип кивнул на швертбот. Сёма промолчал. Чип сверлил его взглядом и чего-то ждал.

– Отдавай нож.

Сёма покачал головой.

– Козёл! – сказал Чип и вдруг, подпрыгнув, как-то закрутился и попал костяшками Сёме по скуле. Он упал навзничь. Когда оклемался, увидел исчезающую в воротах фигуру.

– Чип...

И он пошёл домой. Дверь была не заперта. Он тихо прошагал в мамину комнату. Она сидела за столом, спиной к нему. Курила. Господин Бог сделал её чуть тоньше. Чёрные волосы убраны в хвост. Молчит. «Она красивее, чем та, толстая», – зачем-то подумал Сёма и сказал:

– Извини.

Она было дёрнулась, но тут же остановилась и продолжила смотреть в окно. Сёма подошёл ближе и заметил на столе заваленную окурками пепельницу. Мама смотрела в окно на прибрежные вереницы портов. Белый свет окаймил её изломанную фигуру.

– Извини.

– А, кто-то здесь есть? – сухо спросила она. Сёма неловко подошёл к ней.

– Мам. Я больше не буду.

– Что? – не сдавалась она. И тут была готова. Тогда он встал над ней, растопырил руки и стал медленно, неловко, будто шарнирная кукла, сгибать их в объятиях. Он почувствовал, как её тело содрогается от знакомого клёкота.

– Ты прямо как он, – она закрыла лицо руками и тихо-тихо заплакала. Сёма кусал себя за губу, а глаза всё равно слезились.

– Давай смеяться, – сказал он. Она не ответила.

– Нам нужно смеяться, мама!

– Нет-нет, – говорила она. Сёма обнял её сильнее.

– Давай. Вместе. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха!

– Перестань. Дурак.

– Ха-ха-ха! – он подошёл к старому буфету, где покоились разные древности, ещё от бабушки. Открыл стеклянную ручку. Схватил чашечку, расписанную под гжель. Ухнул её об пол.

– Ха-ха-ха!

Она обернулась и замолкла. Он ухнул ещё одну. И ещё.

– Ха-ха-ха! – надрывался он, открывая рот как можно шире. Мама выпучилась на него. Её серые, волчьи глаза ничего не говорили.

– Ха-ха-ха! – он разбил весь сервант, и теперь топтался в груде сине-белых осколков. Тогда он взял урну с прахом.

– Ха-ха-ха!

– Хватит! Отпусти!

Он не послушался и шарахнул её об пол. Ветер подхватил серый прах и закружил его по комнате. Мамины тонкие брови сошлись углом. Она внимательно посмотрела на него, а потом вдруг вскрикнула, заметалась по комнате.

– Господи, твоя рука!

– Ха-ха-ха!

– Да что ты хочешь! Боже мой, где тут бинт. Или скорую?! Да когда ж она приедет! – говорила она вслух, и, пробегая мимо открытого буфета, зацепила просторным кардиганом его ручку, потянула за собой. Громадина медленно рухнула. Послышался треск стекла. Сёма успел сцапать её в последний момент. Они оба стояли у повалившейся громады. Сёма перестал смеяться.

– Чуть не убила... – проговорила она рассеянно. Сёма хихнул. Мама вдруг тихо хихикнула.

– Это бабушка тебя за нос ущипнула.

– Потому что я её разбил?

– Нет. Просто беспорядок разводишь.

И Сёма улыбнулся.

Ирина ГУМЫРКИНА

СОСТОЯНИЕ МАЯТНИКА

вывести из равновесия
ввести в состояние маятника
вперёд-назад
качает меня на руках
убаюкивает
ой люли-люли
не боли говорить не вели
я хрупкий ребёнок
боящийся темноты
но темноты не комнат
не пустоты под кроватью
а тёмной пустоты снаружи
хрипящей звенящей свистящей
наступающей на пятки
убегающему человеку

вывести из равновесия
ввести в состояние ступора
одним-единственным словом
и вот я уже маленькая девочка
в битком забитом поезде
идущем на запад
ты одна из них спросит проводник
и я закачаю головой
как одинокий одуванчик
в васильковом поле
когда его целует ветер

стать снова маленькой девочкой
с тонкими косичками красными бантиками

Ирина Гумыркина родилась в 1987 году в г. Зыряновск Восточно-Казахстанской области. С 2007 года живёт в Алматы. Возглавляет казахстанский литературный онлайн-журнал «Дактиль». Соорганизатор и координатор литературной премии Qalamdas, посвящённой памяти Ольги Марковой, сооснователь и выпускающий редактор книжной серии журнала «Дактиль». Участник литературных фестивалей фонда СЭИП в Казахстане (2019 и 2021) и Almaty Writing Residency (2021). Автор трёх книг стихотворений. Стихи переведены на английский, немецкий, итальянский и казахский языки.

привезёнными другом отца из Москвы
в конце восьмидесятых
в начале девяностых задушенного рэкетом
бежавшего от свободы и страха
в Грузию потом в Грецию чтобы спастись
мы же стали внутренними переселенцами
внутри себя потеряли ориентиры
оказались за бортом независимости
кто мы теперь в этом многоголосом звучании
вот бы стать маленькой девочкой и
научиться говорить нет на всех языках

выпорхнуть синицей в окно
не ловите не прижимайте к груди
маленьким клювиком тук-тук
время зовёт умирать
как пожелал один ангел
долететь до жёлтого облака
нырнуть в изнанку неба
здравствуй журавль свободный бог
вот и я со своей запрещённой речью

ночью мы все одинаково смелые
накрываемся с головой одеялом
и пишем историю
которая никогда не будет издана:
доведут до сильного истощения
и выпустят умирать в молчании

я всегда вздрагиваю от стука в дверь
моего прадеда забрали ночью –
вернулся через десять лет

за десять лет можно измениться до неузнаваемости
но мы такие же как тридцать лет назад
держим камень за пазухой
язык за зубами
память в облаке
лишь бы не взломали
не сломали
не выломали под корень
наши побеги слишком неуверенные –
не выдержат никакого давления сверху
снизу кажется что за границей

жизни действительно всё по-другому
не так как нам показывали в объективе

поэтому боже включи vrp и выйди в live
говори о смерти пока ещё это возможно

пиши пока не останется слов
пока не победишь себя
говорил знаток
экспрессивных писем в столбик

я писала в каждой строчке тетради
всем и каждому кто когда-либо –
запнулась на родном человеке:
что сказать тебе если
всё случилось раньше февраля 2022-го?

снились сегодня похороны деда
которого я не знала:
его убили за семь лет до моего рождения
папа писал в «Человек и закон»
но остались одни негативы
и фотографии в бумажном конверте

во сне я долго бежала
через грязное поле к чистой речке
умывалась сидя на чёрных камнях
искала дорогу назад –
попала на похороны к другому деду
жившему в четырёхстах километрах от ядерного полигона

теперь я знаю – это слишком близко
чтобы не бояться смерти
я же проживала её заранее:
покупала ещё живому отцу
похоронный костюм и туфли

сад первого деда умер
дом второго деда снесли
что говорить когда
мы все проиграли?

Андрею Сен-Сенькову

я никогда не любила математику
ещё ребёнком трогала пальцами
выпуклые буквы на печенках
пробовала на вкус составленные слова
красные цветы на тонких ножках
вырастают прямо изо рта человека
покачиваются на ветру
облетят от ветра все несогласные буквы
значит пальцы уже нельзя
скрестить как в детстве чтобы
нас опять не наебали
значит время уже нельзя
перевести на час назад
но можно ещё успеть до
весеннего обнуления
выйти в закрывающуюся дверь
пока некто придерживает другую

все мы ждём смерти
маленькой такой смертушки
после которой остаётся свободный вздох
искусственные слова и цветы
по ту сторону памяти
победа над собственным страхом
победа над бранным телом

все мы ждём смерти
маленькой такой смерточки
тоненькой чёрточки крестика нолика
треснувшего наконец молчания
по эту сторону мира
после которой становится так легко
после которой можно

ОКНО

Рассказ

Неизвестно, кто первый обратил внимание на это окошко. Ничего особенного в нём не было, обычное окошко на цокольном этаже, можно сказать, в подвале. И вид из него был вроде самый обычный – высокое белое здание вдали, ветвистый дуб, небо с облаками, птицы, кусок ржавой крыши. Всё как обычно, как и во всех окошках.

Обычно, да не совсем. Кто-то однажды заметил, что высокого белого здания, если выйти из подвала на улицу, не будет видно. А кусок ржавой крыши на самом деле не ржавый. Что касается дуба – то в окошке он был зеленым и зимой, и летом. Небо же в нём всегда было голубым, даже если на самом деле снаружи мела метель. Это было странно, это было удивительно, и с этого у нас начался интерес к этому окошку. Мы приходили, смотрели, изумлялись и уходили.

Но большинство, хотя и находило это необычным, быстро привыкло и приняло как должное, как нечто такое, что объяснить трудно, но что просто есть. И эти люди уже не приходили. Были и другие, в том числе я. Мы видели, что необыкновенное в этом окошке не только то, что за ним есть, но и как это есть. Объяснить это трудно, и не могу ручаться, что другие видели так же, как и я. Но я уверен: у нас были схожие чувства – не может же человек, замерев, стоять по часу и более в подвале у окна, как будто там показывают какое-то невообразимое представление.

Но в том-то и дело, что в нём ничего не показывали. И ничего чудесного там не было – здание, дерево, крыша, небо, птицы. Всё это можно увидеть где угодно. Однако глядя на высокие глухие стены дома, я забывал о времени. Мне отчего-то казалось, что он – то, каков он есть снаружи, и то, что может быть в нём внутри – имеет ко мне самое непосредственное отношение и как будто говорит со мной на языке, который я слышу, но не понимаю. И будто бы даже, как безумно это ни звучит, между мной и ним есть связь, и смысл этой связи – есть сама моя жизнь!

Но дело было не только в доме – те же непонятные мне чувства я испытывал и от вида ветвистого дуба, и от синевы неба, и от птиц, реющих в вышине. Но самое чудное было то, что и кусок ржавой крыши точно так же пленял меня и говорил со мной, и это казалось совсем уж смешным. Конечно, я имею в виду не буквальное говорение. Я не раз пытался объяснить себе, что же это на самом деле такое и что я чувствую, но не мог – выходило точно так же непонятно, как я только что рассказал. Как будто бы то, что я собираюсь выразить, невыразимо – пытаюсь это сделать, я использую знакомые слова, но в том-то и дело, что оно совершенно незнакомо и слов для него нет.

Кто-то предприимчивый – такие всегда есть, кто не будет просто смотреть и удивляться, а перейдёт к делу – снял раму вместе со стеклом. Вид из-за этого стал гораздо лучше, потому что стекло было покрыто грязью. Теперь небо стало ещё синее, а облака с домом белее, и дерево, такое густое и живое, ещё живее. Птицы летали по-прежнему далёкими галочками, разве что стали более чёткими, а кусок крыши заржавел сочнее и ярче.

Иван Гобзев родился в 1978 году. Окончил философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат философских наук. Печатался в журналах «Нева», «Новая Юность», «Зинзивер», «Дружба народов», «Урал» и др. Предыдущая публикация в «Волге» – рассказ «Другой мир» (2024, № 9-10).

Но дальше дело не пошло – снаружи окна была решётка, не очень частая, но достаточно толстая и прочная. Была идея срезать её, но многие оказались против: не мы ставили, не нам ломать. А потом как-то стали и интерес терять к нему. Все знали, что оно есть и что в нём видно то, чего снаружи подвала нет, но привыкли к этому и перестали удивляться – так всегда бывает, со временем ко всему привыкаешь. Да и в самом деле ничего чудесного там не было. Ну дом, ну дерево, ну небо с птицами... И что?

Но всё же снятие рамы имело одно следствие, которое не всеми и не сразу было замечено: чтобы его заметить, надо было у этого окошка долго постоять, иногда и по несколько часов, и быть при этом очень внимательным. Но и тогда могло ничего не произойти, мне, скорее всего, просто повезло.

Однажды, когда всем уже это надоело, я был в подвале один. Был долго, может быть всю первую половину дня. Я ждал, что вдруг появится что-то новое, например, человек пройдёт или ещё что, но ничего нового не происходило, всё шло по-старому: дом, небо, дерево, крыша и так далее. От постоянного напряжённого смотрения у меня разболелись глаза и голова, и я уже не получал прежнего удовольствия – в котором, кстати, было не только удовольствие, но и какая-то тоска – не получал, потому что просто устал, истомил себя мучительным всматриванием. И тогда я подумал: всё, хватит. Я уйду и больше приходить не буду, есть в этом что-то нездоровое.

И в тот момент, когда я уже отстранился от окна, из него повеяло. Впервые за всё время, что я провёл в подвале, ветер подул в мою сторону, и я ощутил его кожей. Но не это было главное, а то, что ветер принёс с собой едва уловимые запахи чего-то такого особенного, что я точно определить не мог. Сначала мне показалось – это цветочный запах, хотя и не ясно было, из каких цветов он состоит, потом мне показалось, что это горький дух сырой земли, потом – что это пахнет ранней весной, когда бегут ручьи. Потом терпко повеяло солёным морем, и ветер, словно подтверждая моё предположение, донёс еле слышный звук – звук прибоя. Но тут же он пропал, и я услышал (мне казалось, что услышал, звуки были едва уловимы) смех. Он так же быстро прекратился, превратившись в гул, какой бывает в деревьях от сильного ветра. «Уж не этот ли дуб шумит?» – подумалось мне. А потом ветер стих, и с ним исчезли запахи и звуки. И я уже не был уверен, что вообще что-то заметил, потому что слишком кратко это было и ненадёжно.

С тех пор со мной стало происходить что-то странное. Не что-то новое – мне кажется, это уже бывало и раньше, и наверное даже всегда, сколько я себя помню – но я как-то не придавал этому значения. А стало вот что.

Идя куда-нибудь по делам или просто гуляя, я начал замечать, что какие-то виды, вещи, да всё что угодно вызывает во мне внезапное волнение. Это волнение было схожим с тем, что и в подвале: оно было приятным и в то же время болезненным, и причину его я тоже не понимал.

Как-то, проходя какими-то улочками, где я раньше не бывал или бывал очень давно, я увидел сплошь застеклённое здание, в котором всякое отражается. И я, поражённый чем-то, остановился и всматривался в него, и в воображении моём всплывали странные образы, как будто из прошлого, однако, подумав, я понимал, что только сейчас их придумал. «Мне чего-то этого хочется, поэтому я тревожусь!» – говорил я себе в такие моменты, не понимая, впрочем, чего именно хочется. То же чувство у меня могло вызвать и пятно заброшенного газона, и старые качели, и клумба, и камень, и кусок дороги, и случайный запах, да всё что угодно. И я понимал, что дело всё же не просто в каких-то позабытых переживаниях.

Пробуя разобраться, я иногда подолгу стоял у места, вызвавшего это ощущение, и всматривался в него, внохивался, шёл по нему, но всё, что было в результате – так это только то, что через некоторое время ощущение проходило, оставляя зияющую пустоту. Оказавшись в этой пустоте, я, неприятно удивлённый ею, шёл дальше. Одно мне было ясно: есть связь между окошком в подвале и тем, что я сейчас переживал. Связь эта казалась несомненной, потому что опыт был похо-

жий: и волнение, и печаль, и впечатление, как будто кто-то говорит с тобой на непонятном языке о чём-то чрезвычайно важном, касающемся самой сути, но ты ничего не понимаешь и даже не понимаешь, сути чего это касается. Хотя вот что странно, оно настолько рядом, что руку протяни и потрогай...

Все места были непостоянны. Однажды пережив этот опыт, я больше не чувствовал ничего, снова придя туда и увидев те же предметы. Значит, дело было не в конкретных местах и вещах.

Я строил гипотезы, но все они были ничем не обоснованы. Единственное, что мне стало казаться правдоподобным, – в этих моих переживаниях есть нечто детское, но только в том смысле, что они заставляли меня испытывать чувство возвращения к чему-то, отстающему далеко от меня сегодняшнего. Ко мне самому? Но если так, то к какому-то такому, каким я никогда не был.

Дошло до того, что я стал пытаться попасть в тот другой, воображаемый мир. Я убедил себя, что временами как бы открываются некие порталы, и они дают знать о себе, так как, возможно, я с ними связан, и я должен понять, что они до меня доносят, и суметь пройти через них. Конечно, я никому об этом не говорил, потому что воспринимать это всерьёз было невозможно. Я и сам не воспринимал это всерьёз и шутил над собой, но всё же проверял.

Проверял я это так. Вдруг наткнувшись на долгожданное чувство (а иногда этого приходилось ждать месяцами), я останавливался в том месте, где это случилось, и начинал его исследовать. Я ходил по нему вдоль и поперёк, всматривался, внюхивался, трогал и как-то даже попробовал на вкус, и очень напугал этим женщину с детьми, которые в это время играли на площадке поблизости. Но это ни к чему не приводило. Чем больше активности я проявлял, тем хуже становилось – моё чувство покидало меня. Так я понял, что лучший способ действовать – это просто внимать.

Нередко у меня возникало впечатление, что эти порталы на самом деле устроены как лабиринты, и надо лишь, не растеряв по дороге чутьё, пройти туда, куда они ведут. И я пытался, и в самом деле бывало иногда, что находил череду чудесных мест и предметов подряд. Так было этой зимой. Сначала я увидел какую-то будку с деревянными стенками и облезшей краской, и в этом было то самое. Потом, приняв за собаку, идущую по следу, я обнаружил люк в асфальте, говоривший о том же. Дальше больше – ограждение газона, макушки елей, луч солнца на пожухлой траве, морозная свежесть и сияние в стёклах. А потом вдруг: рабица, слагбаум и пустырь, и я понял, что заблудился и иду не туда. Раз потерявшись, найти вход в лабиринт я уже не мог, как будто исчезал сам лабиринт. А в другой раз в прежнем месте уже ничего не бывало. Но наоборот – рабица, слагбаум и пустырь могли вдруг заговорить со мной.

Но разница была – за окошком был не случайный вид, который вдруг заставлял меня испытывать то, что я испытывал, а нечто постоянное. И я снова стал ходить в подвал и часами стоял, прильнув к нему. Там всё было как раньше и так же завораживающе, как будто за тем, что я видел, на самом деле скрывалось нечто совсем иное, просто для удобства обернувшееся обычными вещами. Я опять часами не мог оторваться от глухой стены дома, залитой светом: иногда она казалась мне торжественной и величественной, иногда уютной и покойной. Мне хотелось оказаться под кроной дуба, живущего своей подвижной жизнью, и в какие-то моменты мне даже представлялось, что я там и есть. Я прямо чувствовал необходимость лежать под солнцем на ржавой крыше – такой сочно-рыжей и горячей, и мне представлялось, что я лежу на ней, и всё иначе, чем есть, но что именно иначе, я не понимал. И обычное небо с самыми обычными птицами было самым необычным и вызывало во мне временами такое волнение, что я начинал дрожать, как от холода. А когда, очень редко, поднимался ветерок, и до меня доносились далёкие звуки и запахи, я даже как будто переносился туда, но вдруг потом всё проходило, я уставал и больше ничего не чувствовал.

Со временем я перестал ходить в подвал. Я даже не помню, когда именно это произошло – когда был последний раз. Но всё бывает в последний раз, и это наверное даже хорошо, что мы не помним эти последние разы.

Почему я перестал ходить – видимо, потому что просто надоело до боли в глазах всматриваться. После нескольких часов, проведённых у окошка, я чувствовал себя так, как будто весь день занимался тяжелым физическим трудом. И полное опустошение, ведь несмотря на все усилия, я не получал того, чего хотел – я не оказывался там, внутри. Да, теперь мир за окном я называл не «снаружи», а «внутри».

Впрочем, одна моя подруга, очень умный и учёный человек, которая вообще, кстати, не интересовалась видом из этого окошка, предложила такое объяснение. По её мнению, пережитое мной есть не более чем возвращение – возвращение к детскому восприятию. Эти виды, сказала она, по какой-то причине работают как триггеры, которые активируют ранние неосознаваемые впечатления, а ранние впечатления обычно связаны со специфическим детским мировоззрением, для которого характерны непосредственность, простота и даже (тут она немного смутилась, чувствуя, что звучит не совсем научно) любовь. И торопливо пояснила: речь идёт о типично детской любви к миру, которая потом, в силу ряда физиологических и бытовых факторов, утрачивается.

Она была убедительна и я не имел оснований не верить ей. И правда, согласился я, всё дело в возвращении. Когда я переживал то, что переживал, будь то вид за окошком или что-нибудь на улице, я в самом деле хотел вернуться. Но мне кажется, она дала слишком поверхностное объяснение. Да, я хотел вернуться, но, как это ни странно звучит, куда-то туда, где я никогда не был, даже ребёнком, и где я – не я.

Впрочем, это все досужие и бестолковые разговоры, не имеющие никакой силы. Просто мы всегда пытаемся объяснить что-то непонятное понятным, но действительные причины могут отстоять очень далеко, так обычно и бывает. И как и все, я привык, и перестал удивляться и задавать вопросы. Ко всему привыкаешь.

Но иногда у людей вдруг вспыхивает новый интерес к этому окошку. И они опять начинают приходить в подвал, стоять в очередях, смотреть. И чем длиннее очередь, тем больше людей выстраивается в её хвосте. Как будто основная цель – это не в окно смотреть, а постоять в очереди и этим выполнить некий загадочный долг. Глянув в него мельком, люди с облегчением уходят.

Герман ЛУКОМНИКОВ

АНЕКДОТ И ДВА ВОСПОМИНАНИЯ, ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ КОТОРЫХ ПОКА НЕ ОКОНЧЕНО

Кумир

У Высоцкого в песне «Я не люблю» была строчка «И мне не жаль распятого Христа». Отец Александр Мень услышал, звонит ему: «Володя, вы же русский поэт, гуманист, как же так?». Высоцкий говорит: «Ладно, переделаю». И переделал: «Вот только жаль распятого Христа».

Ещё там была строчка: «Но если надо, выстрелю в упор». Академик Сахаров услышал, звонит: «Володя, вы же русский поэт, гуманист, нехорошо». Высоцкий говорит: «Ладно, переделаю». И переделал: «Я также против выстрелов в упор».

А ещё там были строки: «Я не люблю спортивные арены, / На них миллион меняют по рублю». Ему как раз перед этим друзья в провинции организовали несколько концертов на стадионах, и, несмотря на аншлаги и массовый ажиотаж, ему больше нравилось выступать в более камерной дружеской обстановке, в небольших залах и в гостях у друзей. Но хоккеист Харламов услышал песню, звонит ему: «Володя, ну зачем ты нас, спортсменов, так обижаешь?». Высоцкий говорит: «Ладно, переделаю». И переделал: «Я не люблю манежи и арены...» – так что получилось, что это не про стадионы, а про цирк.

Но тут, уже в таком виде, Никулин услышал, звонит: «Володя, у нас в цирке траур, наш любимый певец нас оскорбил...» Ну тут уже Высоцкий не выдержал и говорит: «Ребята, да сколько ж можно?»

12 октября 2020

Двойник

В детстве я несколько лет занимался в шахматной секции. Общества «Спартак». В городе Баку. В той же секции числился знаменитый шахматный вундеркинд Гарик Вайнштейн, но я его ни разу не видел. Фактически он уже жил в Москве и занимался в школе Ботвинника. Недавно мне попалась шахматная партия между Гариком и нашим тренером (кажется, мастером спорта). Из какого-то турнира. Оказывается, Гарик уже тогда, в 11-летнем возрасте, его обыгрывал.

В те же времена я каждый год занимал второе место на городских математических олимпиадах. На награждении торжественно объявляли: «Первое место – Гарик Вайнштейн! Но он сегодня не смог приехать, так что грамоту и призы получит его мама...» И затем: «Второе место – Гера Лукомников, школа 160» – и я бежал на сцену.

Мы с легендарным Гариком родились и выросли в одном городе, мы практически ровесники (он на год младше, но в школе по классам мы шли параллельно, по крайней мере в пятом-шестом), оба переехали в Москву (он, по существу, ещё в детстве, я в отрочестве), у нас похожие имена... Говорили, что он сын еврея и армянки. Я тоже.

В какой-то момент Гарик Вайнштейн исчез, и в газетах появился Гарри Каспаров¹. И все поняли, что это он и есть, просто сменил фамилию. На мамину. Приблизившись ко мне таким образом ещё и по алфавиту.

¹ Гарри Каспарова (объявлен иностранным агентом) Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов.

В старших классах я почти совсем забросил шахматы и математику и окончательно переключился на литературу и искусство. Блистал в школьном драмкружке. Маниакально, днём и ночью, писал стихи, изводя на черновики горы тетрадок. Отчасти это, возможно, было спровоцировано ощущением, что и в шахматах, и в точных науках я будто бы обречён вечно оставаться в тени этого своего двойника. При этом особенно обидно было то, что, как бы преследуя меня всё наше детство, он продолжал оставаться для меня невидимым. Я и до сих пор его ни разу не видел, кроме как по телевизору и на ютубе.

Эту историю я иногда рассказывал друзьям, и она даже попала в художественные произведения.

Вот фрагмент головоломного рассказа «Когда они встретились» Татьяны Бонч-Осмоловской, написанного не позднее 2008 года. В персонажах угадываются мастера палиндрома и комбинаторной поэзии – Борис Гринберг, Сергей Федин, Дмитрий Авалиани и в.п.с.

«...Борис снова заговорил:

– Здорово, что мы с вами наконец познакомились. Я ведь давно о вас слышал и все хотел рассказать вам об одном замечательном человеке, о том, как я с ним познакомился. Дело было так: в прошлом августе я участвовал в Фестивале авангардной поэзии, и даже стал лауреатом, это неважно, а главное – я подружился там с этим поэтом. Представляете, он родом из Баку, и вундеркинд с детства, но долго не мог найти себя. Сначала он занимался математикой, читал Гарднера, на республиканских олимпиадах поднимался до достойного второго места. Достойного для кого-то другого, но не для Геры! А первые места занимал мальчик по фамилии Вайнштейн. Гарик Вайнштейн. Тогда Гера нырнул с головой в пространство шахматных плоскостей. И скоро мог играть блиц с полудюжиной рыжеволосых дев – на стороне любой из черно-белых армий. Но в турнирах его снова опережал... угадайте, кто?

– Кто? – спросил Сергей.

– Гарик. Только теперь он уже был записан под другой фамилией. Ну да неважно. Так что Гера поразмыслил, осмотрелся по сторонам и стал писать чудные стихи.

– Чудесные, вы хотите сказать?

– Чудесные и чудные, такие уж они у него, – Борис попытался развести руками, но уперся в соседей. – И в стихах тот чемпион уж был ему не соперник!

– Это точно, – согласился Сергей».

А на днях Валерий Силиванов написал анаграмму по мотивам всё той же истории. Невероятно, но обе части, разделённые пробелом (вторая начинается словами «Вот как нарочно»), составлены из одинакового комплекта букв! Я не поленился проверить, всё сходится. В каждой части по 25 «а», 3 «б», 15 «в», 6 «г», 6 «д», 24 «е», 1 «ж», 2 «з», 17 «и», 3 «й», 10 «к», 12 «л», 11 «м», 21 «н», 31 «о», 6 «п», 15 «р», 12 «с», 22 «т», 6 «у», 1 «ф», 4 «х», 5 «ч», 4 «ш», 4 «ы», 3 «ь», 1 «ю» и 4 «я».

Правда, что касается фактографии, то некоторые детали перевраны, но в основном по существу верно:

«Герман Лукомников в детстве достаточно сильно увлекался математикой и один раз завоевал второе место на олимпиаде в Баку. А первым финишировал некто Гарик Вайнштейн.

Чтобы в чем-то преуспеть лучше, Герман переключился на шахматы. Много тренировался. Однако, хоть ты тресни, на турнирах его постоянно снова обходил все тот же Гарик.

Вот как нарочно! Максималист Гера был недоволен, сердит. Томившийся бедняга огорчался, что он не первый в шахматах даже в городе. Мерзко.

Нервно поохав в тоске, он решительно пошел в литературу, стал писать необычайно талантливые стихи.

А тут, естественно, чемпион Гарик конкурировать не мог. И да – он к тому моменту взял фамилию Каспаров».

P.S. В комментариях к Валериному посту поэт и политический активист Кирилл Медведев написал мне: «Но в политике вы точно можете его обойти, ещё есть время!»

Ха-ха, в политике мне не обойти даже ежа.

4 июля 2021

Поэт

Была осень 1979. Мне было 17.

Я шёл от метро «Юго-Западная» по проспекту Вернадского домой. Рядом с метро, на фонарном столбе, увидел наклеенную бумажку с написанным от руки объявлением: такого-то числа в такое-то время в Театре-студии на Юго-Западе – вечер поэзии, участвуют – и несколько ничего не говоривших мне фамилий.

Театр на Юго-Западе был мне прекрасно знаком, он тоже на Вернадского, недалеко от моего дома, чуть дальше от метро. Он тогда ещё не так давно появился, мы с моими родными с удовольствием смотрели первые спектакли. Я даже сам мечтал туда поступить, да так и не решился пройти прослушивание. В этом театре блистал Авилов, гениальный актёр, о котором говорили, что он работает водителем-дальнобойщиком.

Я переписал информацию себе в блокнотик и в указанный вечер пришёл из любопытства. Вход, как мне помнится, был свободный.

В зале почти никого не было. Кроме меня, ещё два-три человека, да и те, как мне показалось, скорее всего, сотрудники театра. Тем не менее вечер начался.

На сцене за столом сидели поэты. Трое парней лет двадцати пяти-тридцати, хотя мне, вчерашнему школьнику, они казались аксакалами. Перед каждым стояла бутылка пива, и на протяжении всего вечера они из этих бутылок прихлёбывали, время от времени ставя пустые на пол и доставая и открывая другие. Это было неожиданно по тем временам и придавало выступлению решительно неофициальный характер.

Читали по кругу. Каждый по три стихотворения, сразу был объявлен такой регламент.

Первым вышел курчавый, невысокого роста, немного пухлый, с круглым лицом. Стихи были длинные, скучные и непонятные, читал он их монотонно и чуть-чуть восторженно.

Вторым – высокий и тощий как жердь, я мысленно окрестил его «длинным», и его стихи оказались ещё вдвое длиннее, скучнее и непонятнее, чем у курчавого. Читал он тоже монотонно, но не восторженно, а, напротив, как-то остранённо, глуховатым голосом, почти как робот.

Я еле выдержал эти первые шесть стихотворений первых двух выступающих. Вся надежда на последнего, третьего. Если и его стихи мне не понравятся, уйду, – подумал я. Но сам он мне уже ужасно нравился, просто своим видом, а ещё он как-то забавно пошутил в начале вечера.

И вот, когда подошла его очередь, он вышел на середину сцены. Усатый, с волосами до плеч. Кажется, в тельняшке и брюках-клёш. Как и первый, невысокого роста, но крепко и в то же время изящно сложенный.

Его стихи и манера чтения захватили меня с первых же слов. Стихи были тоже непонятные, но это была радостная непонятность, интересная непонятность нового для меня, открываемого

мне этими стихами и создаваемого ими мира. К тому же они были очень смешные, они были полны невообразимых словосочетаний, иногда даже безграмотных, но понятно было, что это нарочно. Помню, как меня поразило нарочито-корявое и гомерически смешное стихотворение, написанное как бы от лица солдат и матросов, бравших Зимний дворец в 17-м году, оно совершенно не лезло ни в какие ворота.

И голос автора меня завораживал. Негромкий, спокойный, но очень внятный; в нём была демиургическая мощь, и ум, и ирония, и детское изумление перед всей вселенной, и казалось, что он доносится из какой-то другой реальности.

Досадно было только то, что читал он гораздо меньше других участников, потому что его стихотворения были в основном гораздо короче. Но теперь мне было ради чего терпеть три длинных стихотворения курчавого, затем три сверхдлинных стихотворения длинного... Ради трёх стихотворений усатого! И я терпел, и бывал вознаграждён.

Так они отчитали несколько «раундов», и на очередном, после курчавого и длинного (чьи стихотворения на этот раз по объёму, кажется, уже приближались к небольшим поэмам), усатый встал со стула, подскочил к только что закончившему читать и всё ещё стоящему посреди сцены товарищу, схватил его руку, поднял её вверх и потряс, как судья на ринге, со словами «Ты победил!». Невозмутимое, будто бы вырезанное из дерева лицо длинного впервые за весь вечер тронула улыбка. На этом всё и закончилось. Финал получился дико смешной, но для меня и обидный: мало того, что по времени усатый читал гораздо меньше других из-за относительной лаконичности своих стихотворений, так он ещё и отказался от своей очереди в последнем «раунде».

Тем не менее, я был потрясён. Я открыл настоящего живого поэта! Сам, без чьей бы то ни было подсказки, практически случайно. Его имя и фамилия были записаны у меня в блокноте, и я запомнил их навсегда – Александр Ерёмченко. Но я чувствовал, что вряд ли найду что-нибудь в библиотечных каталогах, и боялся, что вообще, может быть, никогда больше не встречу ни его самого, ни его текстов. Поаплодировав участникам, я вышел на улицу и, преодолевая свою чудовищную застенчивость (я и сейчас застенчив, а уж тогда, в отрочестве и юности...), остановился на углу жилого дома, в котором расположен театр, неподалёку от театральных дверей, ждать своего нового кумира.

Если бы они вышли вместе, всей компанией, вообще если бы он вышел не один, я бы не решился подойти. Но мне повезло – он вышел из театра первым из выступавших и был в одиночестве. И сам направился в мою сторону. Но пошёл не к метро, как я предполагал, а проходя как раз мимо меня, повернул в переулок направо. Был уже довольно поздний вечер. Наверно, к кому-то в гости. В общем, я рванул к нему, поблагодарил, выразил свой восторг и спросил, каким образом можно будет ещё когда-нибудь послушать его чтение. Он сказал: «Дайте мне свой телефон, я позвоню». Достал из кармана початую пачку «Астры» (или «Примы»?) и карандаш (или шариковую ручку? нет, кажется, карандаш) и записал моё имя и телефон прямо на сигаретной пачке. Мы попрощались, и он ушёл в темноту, куда-то вглубь нашего райончика...

К тому времени я уже пятый год, начиная с седьмого класса, рьяно писал стихи. Я сочинял их и раньше, по крайней мере с пятилетнего возраста, но с седьмого класса занимался этим постоянно и направленно, днём и ночью, изводя на черновики горы тетрадок. Поначалу я свои стихи вообще никому не показывал, прятал их дома. Показывать их своему дяде Жене, бабушке, папе, любимому школьному учителю литературы Самуилу Григорьевичу Морозу – я стеснялся. Один из моих любимейших поэтов – Юрий Васильевич Смирнов – дружил с дядей Женей, но сам я с дядей Юрой был едва знаком и соваться к нему со своими стихами тоже не решался. А больше и некому было показывать, остальные мои знакомые поэзией особо не интересовались. В восьмом классе у меня появился друг, который учился классом младше, – Лёша Корюкин (впоследствии он поменял фамилию). И несколько лет я показывал свои стихи только ему, они ему очень нравились. Беда в том, что они не очень нравились мне самому. Вернее, и нравились и не нравились. Сочинял я для своего возраста очень складно. Стихи были

совсем непохожи на мои нынешние. Они, по большей части, не были ни особенно краткими, ни смешными, нормальные такие лирические стихотворения. По существу это были подражания любимым поэтам – Вознесенскому, Арсению Тарковскому, Пастернаку, Блоку... Мне хотелось взгляда со стороны, и не только приятельского Лёшиного взгляда, но взгляда настоящего поэта. Одобрения или хоть разноса, но какой-то профессиональной реакции. Я знал, что Пушкина благословил Державин, Вознесенского – Пастернак, и мечтал, что и мои стихи каким-то образом попадут к какому-нибудь большому поэту, и тогда... Но я ничего для этого не делал, моим единственным читателем по-прежнему оставался Лёша. Учась в восьмом или девятом классе, я однажды пришёл в литературную студию «Алые паруса» в Юношеской библиотеке на Преображенке, эту студию вёл Вячеслав Куприянов (тогда мне это имя ничего не говорило), но из-за своей патологической застенчивости я не решился там не то что показать свои стихи, но даже и вообще что-нибудь сказать или с кем-нибудь познакомиться, и больше не приходил, хотя занятие мне понравилось, было интересно.

В общем, открыв для себя Ерёмко, я, конечно, размечтался, что вот он, тот самый настоящий большой поэт, с которым мы подружимся и который станет моим, так сказать, литературным наставником.

Я рассказал Лёше и дяде Жене, что открыл никому не известного гениального поэта. Правда, я почти ничего не запомнил из его стихов. Но, видимо, у меня так горели глаза, что они мне поверили.

Я был уверен, что моего нового кумира практически никто не знает. До этого я лишь дважды бывал на поэтических вечерах – Вознесенского в Зале Чайковского и Давида Самойлова в Музее Маяковского – и оба раза залы были переполнены, и залы немаленькие (Зал Чайковского так и вовсе огромный). А тут – крошечный зальчик Театра-студии на Юго-Западе был пуст, я оказался чуть ли не единственным слушателем.

Моя жизнь превратилась в ожидание звонка. Но шли дни, недели, месяцы, а звонка всё не было. Да, в общем, чему удивляться, ведь он записал мой номер на пачке сигарет, а докурив пачку, наверно, выбросил. Когда я совсем отчаялся, примерно через полгода после того вечера, звонок наконец раздался. Александр пригласил меня на своё очередное выступление.

Была весна 1980. Местом проведения поэтического вечера на этот раз стал Дом художника, но не на Крымском валу (того тогда, кажется, ещё не существовало; впрочем, нет, Википедия говорит, что уже был), а на Кузнецком мосту.

Я позвал туда Лёшу и дядю Женю. Дядя Женя не смог прийти, а Лёша пошёл со мной.

Я составил подборку из двух десятков своих наиболее удачных, на мой собственный взгляд, стихотворений, аккуратно переписал их в тетрадку и взял её с собой в решимости вручить своему кумиру.

Это тоже был коллективный вечер молодых поэтов, но с другим составом участников. Их было четверо, и ни «курчавого», ни «длинного» среди них не было. Из уже знакомых мне авторов был только «усатый» – мой любимый поэт Александр Ерёмко.

Народу было полно! Перед началом я еле пробился к Александру в коридоре, он был окружён толпой друзей и поклонников. Выглядели они в основном как хиппи – молодые, весёлые, длинноволосые, причудливо одетые. Я, кажется, никогда прежде не видел хиппи (разве что заграничных – на фото в журналах), но почему-то решил, что это они. Я кое-как протиснулся к Александру. Он сидел на корточках, прислонившись к стене и, казалось, был глубоко погружён в себя. Я поздоровался и робко протянул ему свою тетрадку. Он взглянул с удивлением, но взял. Кажется, я даже не решился пояснить, что это такое. Но подборка была подписана моим именем и фамилией.

Зрительный зал здесь был гораздо больше, чем в театре-студии, и он был переполнен. Наблюдалось человек двести, некоторые сидели на полу, да чуть ли не на головах друг у друга сидели. И по реакции публики было очевидно, что собралась она в основном на «Ерёму». Вот тебе и на, вот так и никому не известный поэт! Я в самом деле был уверен, что его никто, кроме меня, не знает, а тут

вдруг оказалось, что, несмотря на отсутствие публикаций, у него тьма фанатов. Видимо, вечер в Театре на Юго-Западной был просто плохо организован.

Стихи остальных участников и на этот раз не произвели на меня впечатления, но я запомнил фамилию Салимон – просто потому что уж очень необычная, и на «лимон» похоже. Ещё выступала поэтесса Ирина Путяева, тоже почему-то запомнил. А ещё одного участника не помню совсем, помню только, что он был.

Эти трое просто читали стихи, а когда вышел Ерёменко, было объявлено, что он будет читать под слайды художника Монастырского. В зале выключили свет, оставив лишь поэта с микрофоном в фонарном луче, и он начал читать, а рядом, на экран или просто на белую стену, точно уже не помню, проецировались слайды, сменяющиеся каждые несколько секунд. Фамилию Монастырский я тогда услышал впервые и запомнил, потому что тоже необычная, а главное – эти слайды мне очень понравились, это были какие-то сюрреалистические цветные фотографии; возможно, коллажи. Это не были иллюстрации к стихам, вообще связь не была буквальная, и всё же они великолепно сочетались со стихами Ерёменко и его потусторонним голосом, придавая им как бы ещё одно измерение и образуя вместе с ними новое, ещё более сложное и увлекательное пространство. На фоне этих слайдов поэт читал странные стихи про девочку дебильную и её хипповую сумку с инструментами, и мне казалось, что эта девочка вот-вот появится на экране, сойдёт в зал и тоже будет слушать...

Мой друг Лёша Корюкин (вернее, к тому времени он уже стал Башкайкиным) разделил мой восторг. Помнится, перед началом вечера мы с ним зашли там же, на Кузнецком, в книжную лавку напротив, и в поэтическом отделе увидели новую книжку то ли Дудина, то ли Матусовского или Долматовского, в общем, какого-то известного пожилого советского поэта, претенциозно озаглавленную «Суть». Очень ржали. Стихи Ерёменко, ни на что не похожие, так контрастировали с этой советской поэзией. При этом они таки действительно выражали что-то очень важное, самую суть того времени, суть нашего тогдашнего мироощущения.

(Окончание следует.)

14 июля 2021

Октавио ПАС

СТИХИ ИЗ СБОРНИКА «ВОСТОЧНЫЙ СКЛОН» (1969)

Перевод, вступление, комментарии Кирилла Корчагина

Октавио Пас (1914–1998) родился недалеко от Мехико. Отец Паса был видным деятелем Мексиканской революции. В детстве жил в Лос-Анджелесе, затем его семья вернулась в Мексику. Первые стихи опубликовал еще в начале 1930-х годов. Учился в Национальном автономном университете Мексики, изучал право, увлекался анархизмом и был знаком со многими левыми активистами, но бросил учебу и уехал работать сельским учителем в штат Юкатан. В конце 1930-х годов, во время гражданской войны, бывал в Испании; в середине 1940-х годов жил в США, а потом работал дипломатом во Франции, Японии и Индии. Считается одним из вождей международного сюрреалистического движения после ухода со сцены Андре Бретона. Автор многочисленных книг стихов и прозы. Эссе о Хуане де ла Крус, Клоде Леви-Строссе, Фернандо Пессоа и других поэтах и ученых. Лауреат множества литературных премий, в том числе Нобелевской премии по литературе (1980).

Отдельную страницу в обширном и многообразном творчестве Октавио Паса составляют тексты, связанные с Индией, где он провел почти шесть лет, с 1962 года по 1968-й. Правда, впервые он побывал в Индии существенно раньше – в 1951 году, в качестве атташе Мексиканского посольства, когда Мексика только-только установила с Индией дипломатические отношения: заметки об этом, относительно недолгом, путешествии составили первую главу книги «Отблески Индии» (1995), где можно найти описания двух крупнейших индийских городов – Бомбея и Дели. Тогда поэту, чтобы добраться до Индии, нужно было совершить морское путешествие – через йеменский порт Аден, а приплыть в Бомбей, где путешественников встречают знаменитые огромные Ворота Индии, возведенные в колониальном стиле всего за четверть века до конца Британского Раджа. До этого путешествия Пас живет в Париже, общается с поэтами и художниками, близкими к движению сюрреалистов – в путешествие он берет с собой небольшой сборник стихов поэта-мистика XV–XVI века Кабира (подарок Анри Мишо) и перевод Бхагаватгиты, который, по словам Паса, стал его «духовным проводником» в индийскую культуру. В следующий раз он вернется в Индию спустя одиннадцать лет в статусе мексиканского посла.

Пребывание Паса в Индии достаточно хорошо документировано: сам он написал об этом большое количество эссе, заметок и стихов, а исследователи довольно подробно показали, какое место индийское искусство и философия занимали в его творчестве. Пас был знаком со многими представителями современной ему индийской культуры, дружил и переписывался с художниками и поэтами, участвовал в совместных с ними проектах. И можно даже сказать, что без его деятельного участия индийская новаторская культура была бы несколько иной. Конечно, было и другое влияние: в том же 1962 году в Индии окажется Аллен Гинзберг, заразивший идеями бит-поколения большое количество молодых литераторов, в том числе и тех, знакомство с которыми водил и Пас. Индийский период Паса закончится в 1968 года, когда он покинет пост в знак протеста против расстрела участников студенческой демонстрации в Мехико.

Пас довольно много писал об Индии: это и поэтические произведения, и эссе с вдумчивым анализом политической ситуации (индийская политика от Ганди до Неру), и наброски антропологических работ (эссе о варнах и кастах) и многое другое. Ключевые книги Паса об Индии – сборники эссе «Соединение и разъединение» (1969) и уже упоминавшиеся «Отблески Индии», поэма в прозе «Грамотная обезьяна» (1974), сборники стихотворений «Восточный склон» (1969) и поэма «Влапсо» (1967), русский перевод которой вышел в № 3 журнала «Перевод». Если «Влапсо» – цельное герметическое повествование, то стихи «Восточного склона» гораздо более укладываются в рамки

Лепет среди равнины,
воплощения
 развоплощения,
вихри из охры
бесплотные как мои мысли.
Виток за витком
в гостиничном номере, на холмах:
земля – кладбище для верблюдов,
и всегда в моем умничанье –
те же обломки лиц.
Ветер, повелитель развалин,
ты ли один мой учитель?
Эрозия:
меньшее всё возрастает.

На могиле святого
вглубь сухого дерева
я гвоздь пригвоздил,
 нет,
как и все прочие – против глаза:
против себя самого.
 (Пробормотал
слова, унесенные ветром.)

И вот примирились высоты.
Без перемены мест
 тополя зашагали.
Солнце на изразцах,
 внезапные вёсны.

В Женском саду
я залез на лазурный купол.
На минаретах татуировки:
куфийская вязь за пределами букв
стала прозрачной.
У меня не было видений без образов,
я не видел, как кружатся формы, пока не исчезнут
в устойчивой ясности,
суфийское бессущностное бытие.
Не испил полноту в пустоте,
не видел тридцать два знака
алмазного тела Бодхисаттвы.
Видел только лазурное небо, оттенки лазури –
зеленого к белому,
а с ними – веер тополей
и над сосной, воздушнее птицы, –
черно-белого дрозда.
Видел мира покой в самом себе.
Видел обличья.
И назвал эти полчаса:
Совершенство Конечного.

Химачал Прадеш (3)

5 маленьких мерзостей
видел, слышал, съел:

Пиршество грифов.
Сожрали столько, что не взлететь.
Недалеко, на скале,
калека-орел ожидает,
что оставят ему от падали.

На веранде *dak bungalow* барристер
из Нагпура вылавливает иностранца
и на слащавом английском предлагает выпить,
корзину слив со своего огорода, карту,
карри на перекус,
правдивые местные новости,
подняться к нему на балкон с видом поистине
уникальным... Жена его искоса смотрит
на это, бормоча оскорбления на хиндустани.

То ли чтобы подышать воздухом или застать
этот момент перемирия,
когда полумесяц поистине –
чистый разум, а солнце – всегда солнце,
пожилая пара выходит наружу.
Оживленно они воскрешают
ярость и страсть насекомых.
Грохот сухих семян:
время для препирательств.

Во дворике клуба шесть эвкалиптов
утопают то ли в меду, то ли в свете,
трое англичан переживших Британский Радж
обсуждают с сикхом крикетный матч в Сиднее,
индийские матроны играют в бридж,
пария на корточках моет полы, стараясь
быть незаметным, черная звезда
разрывается в моей голове как граната
(В ПАРИЖЕ ПОДОЖГЛИ БИРЖУ,
ХРАМ КАПИТАЛИЗМА),
сосны отбрасывают тени на холм.

Пыль и птичьи крики
над палящим полднем.
Я пишу эти бесславные строки.

У мыса Коморин

Херардо Денису

В разбитом лендровере
в середине залитого поля.
Деревья с водою по горло
под новорожденным небом
и белые птицы-флегматики,
цапли и чайки, чистейшие
среди театральной зелени.
На затопленном болоте –
глупые блестящие буйволы,
почти совершенно спящие,
водяные лилии.

Шайка

обезьян-попрошак. Чудесный
ползучий разум, желтый козел
на заостренном камне. Ворон
сидит на козле. И невидимое,
но постоянное, ощущение страха:
не паук и не кобра, Непостижимость,
космическое безразличие,
где подлые и роскошные формы
процветают и отмирают: тщетная толкотня.
Две вспышки в недвижимом пространстве:
солнце вместе с луной. Темнеет.
Зимородок – мгновенный
топаз. Но больше всего угля.
Истаивает в удущье пейзаж.
Кто я? В муках душа или в странствии тело?
Истаивает заглохший лендровер.

Вриндаван

Окруженная ночью
листва шепотов необъятна
широки тончайшие пологи
дуновенья
я пишу перестаю
пишу

(Все что есть, чего нет
все безмолвно ветшает
на этой странице)

Пару минут назад
на машине я мчался
между притихшими домами

Мчался
между пылающими мыслями
Поверх звезд
 тишайших садов
Я был деревом и говорил
покрыт был листвой и глазами
Я был шепотом проносящимся
роем образов
(И вот я слежу за судорогой
знаков
 черный на белом
маленький садик букв
высажен в свете лампы)

Мчался на машине
по спящим предместьям мчался
вслед за своими мыслями
 своими, но и чужими
Реминисценции пережитки фигуры
имена
 То что осталось от искр
 и вечерних смешков
 танец часов
 марш созвездий
и прочие общие места
Верю ли я в людей
 или в звезды?

Я верю
 (здесь вторгается
многоточие)
 Я вижу

Портик трухлявых колонн
скульптуры слепленные чумой
нищих в два ряда
 зловоние
царь на троне
 окруженный
как будто наложницами
покачиваньем ароматов
чистых почти материальных дрожащих,
от сандала и до жасмина, их мороком
Гниение
 лихорадка форм
 лихорадка времени
в их обезумевших сочетаниях
Хвост павлина вселенная вся
глаз мириады
 в иных глазах отраженных
модуляции реверберации одного только глаза

одинокое солнце
 скрытое
за пеленою прозрачности
приливы чудес
Все пламенело
 камни девы вода
Все ваяло себя
 из цвета и формы
из формы и пламени
 Все рассеивалось
Музыка металла и дерева
в келье богов
 матка храма
Музыка
как вода и ветер совместно
и над сцеплением звуков
человеческий голос
луна в течке полудня
След от развоплощенной души

(Пишу, не зная развязки,
о том, о чем я пишу
 Ищу между строк
Мой образ лампада
 что зажжена
посередине ночи)
 Бродяга
обезьяна Абсолюта
 скрючен
на корточках
 покрыт бледным пеплом
садху смотрел на меня и смеялся
Со своей мостовой он смотрел на меня
 дальше дальше
как животные и святые смотрят смотрел он
Голый лохматый замаранный
недвижный луч глаза-минералы
С ним я заговорил
он в ответ заурчал животом
 Ушел ушел
Куда?
 в какую область бытия
в какое существование в ненастье каких миров
каких времен?

 (Пишу
каждая новая буква зародыш
 Память
тверда в своих приливах
и повторяет все тот же полдень)

Ушел ушел

Святой пройдоха святой
в экстазе от голода или наркотиков
Может он видел Кришну
лазурно-искристое дерево
всплеск ночной взрывающий засуху
Может в расколоте камне
он нащупал женские формы
и его нарыв
головокружение без формы
Потому
он живет на пирсе где сжигают мертвых
Одинокие улицы
дома и тени от них
Все одинаково и различно
Мчалась машина
я был неподвижен
между своими разверстыми мыслями

(Ушел ушел

Святой паяц святой нищий проклятый царь
это все то же
то же всегда
и о том же
Всегда в себе самом он
заключен
в то же самое
В него самого включен
идол прогнивший)

Ушел ушел

с мостовой он смотрел на меня
смотрел на меня
со своего бесконечного полдня
Я там в беспокойный час
Машина мчится между домами
И пишу я при свете лампы
Вечности абсолюты
и все в таком роде
не моя это тема
Я голоден до жизни, а с нею до смерти
Я знаю во что я верю и что я пишу
Предвестье мгновения
действие
движение в котором оно ваяет себя
и разрушается внутреннее бытие
Сознание и руки чтобы схватить время
я это история

себя сотворившая память
Теперь только я
всегда говорю с тобой
ты говоришь со мной
Пока я иду в темноте и расставляю знаки

Сумерки

Как приоткрытую прозрачность,
такую сумрачную, держит
свет, испускаемый садом?

Все отягощенные ветви
склоняются в сторону ночи
под тяжестью птичьего бремени.

И по изгородям – нетронуты
в непрестанном сиянии –
мгновения отрешенные.

На свиданиях с ночью
обращаются рощи
в фонтаны безмолвные.

Ринется птица, трава
потемнеет, границы
сотрутся, известь черна,
и в мир невозможно поверить.

Перевал Танг-е гару

Эмилю Чорану

Изрубленная земля:
помечена орудиями зимы,
весна в облаченье колючем.

Слюдяные горы. Черные козлы.
Под их сонными копытами
сланец угрюмый блестит.

Недвижное солнце, прибито
к огромному каменному рубцу.
Смерть помнит о нас.

Воскресенье на острове Элефанта

Проклятье

У подножий возвышенных изваяний,
изуродованных мусульманами и португальцами,
толпы устроили мусорный пикник
для ворон и собак.
Я проклиная их сто раз рождаться
среди свалки,
а прочих –
веками из плоти живой высекать
среди ада толпу изваяний.

Призыв

Шива и Парвати:
 вам поклоняемся
не как божествам,
 как образам
божеского в человеке.
Вы то, что делает человек, не то, что он есть,
то, чем должен стать человек,
когда вдоволь намучится повседневным.
Шива:
 твои четыре руки – это четыре реки,
четыре потока.
 Все твое сущее – источник,
где оmyвается прелестная Парвати,
покачиваясь как изящная лодочка.
Море дрожит на солнце:
это улыбка на полных губах Шивы;
море это долгое полыханье:
это шаги Парвати по водам.
Шива и Парвати:
 эта жена – моя,
а я –
 никаких просьб, ничего,
исходящего из иного мира:
 только
свет над морем,
босой, над спящим морем спящей землей.

Комментарии

Счастье в Герате

Герат – старинный город на западе Афганистана. Уже в древности был важным торговым центром на Великом шелковом пути. Входил в империю Александра Македонского. Герат был главным центром так называемого «тимуридского возрождения». Оттуда происходило множество деятелей клас-

сической персидской культуры – прежде всего, поэт Джами и художник Бехзад. Отсюда родом был и родоначальник узбекской литературы Алишер Навои.

Карлос Пельисер (1897–1977) – мексиканский поэт, один из ранних представителей модернизма. Был известен как путешественник и пропагандист мексиканского искусства.

Ветер стодневный – ветер, который дует в Герате летом.

Святой поэт – имеется в виду суфийский мистик и теолог XI века аль-Ансари. Одно из основных его сочинений, «Стоянки шествующих», представляет собой подробное руководство для подвизавшихся на суфийском пути. По свидетельству Паса, в саду, окружающем его могилу, стоит засохшее дерево, в которое верующие вбивают гвозди, чтобы защититься от глаза и исцелить зубную боль.

Тополя зашагали – традиционный образ классической персидской поэзии, встречающийся, например, в знаменитом стихотворении Рудаки о Бухаре. Ср. в переводе Ильи Сельвинского:

Ветер, вея от Мульяна, к нам доходит.
Чары яр моей желанной к нам доходят..
Что нам брод Аму шершавый? Нам такой,
Как дорожка златотканая, подходит.
Смело в воду! Белоснежным скакунам
По колена пена пьяная доходит.
Радуйся и возликуй, о Бухара:
Шах к тебе, венчанная, приходит.
Он – как тополь! Ты – как яблоневый сад!
Тополь в сад благоухания приходит.
Он – как месяц! Ты – как синий небосвод!
Ясный месяц в небо раннее восходит.

Лазурный купол украшает мавзолей Гаухаршад бегим (1379–1457), жены правившего в Герате ти-мурида Шахруха, младшего сына Тимура. Вокруг мавзолея разбит парк, традиционное место женских прогулок.

Куфийская вязь – орнаментальная форма арабского письма, которая часто используется для украшения монументальных сооружений.

Бодхисатва – см. комментарий Паса: «Бодхисатва – будущий Будда до того, как он достиг нирваны. Для буддизма *хинаяны* идеал совершенства – *архат*, мудрец, достигший блаженства посредством уединенной медитации, следуя примеру Будды; для адептов буддизма *махаяны* такой идеал – *бодхисаттва*, который, движимый бесконечной мудростью (*праджня*) и не менее бесконечным состраданием (*каруна*), отрекся от нирваны, чтобы помочь всем живым существам в их пути к просветлению (*бодхи*). Однако бодхисаттвы не являются ни богами, ни святыми в христианском и мусульманском смысле этого слова: они не-сущности, их сущность – пустота (*шуньята*)».

Тридцать два знака – согласно буддизму *махаяны*, *бодхисатву* можно узнать по определенным знакам или отметинам, обычно их число тридцать два.

Алмазное тело – согласно буддизму *махаяны*, Будда проявляет себя в трех аспектах (телах): *нирманакая* (феноменальное тело), *самбхогакая* (тело блаженства) и *ваджракая* (алмазное тело). Феноменальное тело – это Будда в повседневном мире, тело блаженства – это мистическая форма Будды, алмазное тело – высшее проявление его духовной сущности.

Могила Амира Хосрова

Низамуддин Аулия (1238–1325) – суфийский святой, принадлежавший к тарикату Чишти. В старом городе Дели находится большой мемориальный комплекс, возникший вокруг могилы Низамуддина. Он и описывается в стихотворении Паса.

Амир Хосров (1253–1325) – поэт и ученый. Писал на персидском и местном диалекте Северной Индии, легшем в основу языков хинди и урду. Считается родоначальником новой индийской поэзии.

Семья Амира Хосрова происходит из Центральной Азии и имела, по всей видимости, тюркское происхождение. Низамуддин Аулия был его духовным наставником: они умерли в один год, и их могилы находятся рядом в мемориальном комплексе Низамуддина. На гробнице Хосрова можно прочитать персидскую надпись: «Поэт с красноречием попугая».

Golden Lotuses (2)

Сан-Хосе – столица Коста-Рики, небольшой страны в Центральной Америке.

Парсиец – Мумбаи (Бомбей) известен крупной общиной парсийцев – персов-зороастрийцев, сбежавших от исламского завоевания в VII–VIII веке. Нередко парсийцы – обеспеченные люди, принадлежащие к крупной городской буржуазии.

Химачал Прадеш (3)

Химачал Прадеш – регион в западных Гималаях. Существует мнение, что гимны Ригведы были сочинены именно здесь.

В Париже подожгли биржу – стихотворение написано в 1968 году во время студенческих волнений в Париже.

У мыса Коморин

Корморин – мыс, представляющий собой самую южную точку континентальной Индии.

Херардо Денис (1934–2014) – мексиканский поэт испанского происхождения, известен своим интересом к разговорной речи и поэзии повседневности.

Вриндаван

Вриндаван – город в штате Уттар-Прадеш. Считается, что в древности на месте современного города находился лес, в котором Кришна провел часть детства и юности.

Садху – странствующий аскет в индуизме.

Ушел ушел – формула «ушел, ушел на другой берег» часто встречается в сутрах *Праджняпарамиты*. Это значит, что мудрец вышел за пределы феноменального мира и теперь пребывает в совершенной мудрости.

Лазурно-искристое дерево – в традиционной индуистской иконографии Кришна обычно изображается с кожей синего цвета.

Перевал Танг-е гару

Танг-е гару – старая дорога из Кабула в Пешавар. Во времена Паса использовалась только кочевниками и редкими путешественниками. Однако затем по этому маршруту была проложена автомобильная дорога, до сих пор функционирующая и остающаяся важной транспортной артерией, связывающей Афганистан и Пакистан.

Эмиль Чоран (1966–1995) – румыно-французский писатель-эссеист. Икона современного неконформизма с правоконсервативным уклоном. Был близким другом Мирчи Элиады и Эжена Ионеско.

Воскресенье на острове Элефанта

Элефанта – остров в Аравийском море недалеко от города Мумбаи, где находится большое собрание скального искусства, посвященного богу Шиве. Дата создания памятников колеблется между V и VII веком. Название острову дали португальцы, они же нанесли многим статуям урон из религиозных соображений.

Николай БОЛДЫРЕВ

МЕЖДУ АДОМ И РАЕМ

1

Я помню себя вероятно с полугода или еще раньше. Я лежу на спине в люльке, в этой маленькой деревянной кроватке, и смотрю вверх и вижу сплошные волшебные-цветные полосы-нити-по-токи, струящиеся как тихие ручьи во всех направлениях и составляющие для меня «весь мир». Помню своё тело, ощущение своего тельца, которое еще не могло самостоятельно перевернуться; это своё удивление, что я (?) не могу сдвинуть моё я.

Второе яркое и отчетливо воспоминание – когда я уже вижу мир в «общепринятых» формах. Воспоминание странное: я двух- или трехлетний (или около того) сбегая от взрослых на чердак сарайчика на краю нашего огорода неподалеку от шестого барака. Вероятно, я взбираюсь по лесенке. Лето, жарко. Чердак, похожий на сеновал, открыт с двух сторон. И я оказываюсь там не один, а с каким-то моим дружком-сверстником. И мы, совершенно голые, барахтаемся там и играем, то скачем как козлята, то падаем и лежим в бессмысленном глазенье в небо с текущими легкими-легкими облаками, пребывая в каком-то полном отрешенье от мира и от жизни там внизу. Мы сами по себе. Мы одни в целом мире. Мы космичны как древние греки, мы еще не умеем говорить членораздельно, мы вероятно издаем какие несложные речевые рулады и трели, но они всецело в масштабах тихой смотрящей на нас природы – огородов и речки. А потом мы к этой речке спускаемся, она мелкая-мелкая, и мы барахтаемся уже в ней, часто замираем и лежим в тихом потоке, упираясь о дно ручками и ножками. Человеческая сома и словесность еще совершенно нас не затронули.

Дальше – обрыв. Этот мальчик исчезает из моей памяти, равно как и опыты подобного «древнегреческого» бытия. Да и что было там, на чердаке, пропахшем сеном и смолой на пропёкшихся солнцем досках? Мы были козлятами, отпущенными мамкой на прогулку. И все же не только это. Странно, что затем наступил какой-то кусок зонного времени, когда в меня вошли все табу разом, и я потерял раскованность, но этого процесса (или скачка) я не помню. Вероятно табу были вложены в меня сразу всей массой, так что затем я уже был совсем другим мальчишкой. Мы сложены из разных времен.

Да, жизнь в бараке и события около барака. Странно, но никакого ярого желания описывать свои воспоминания я не испытываю. Зачем? Для кого? Мне скоро уходить, и я унесу их с собою, а «мировой орел» с-читает их и без меня. Неужели, будь я значимой, знаменитой персоной, у меня явилось бы страстное желание описывать события своей жизни? Такова сила тщеславия и иллюзии «бессмертия эго»? Последнее, что я читал в этом жанре, кажется, воспоминания Симоны де Бовуар и Сартра, и думал как раз об этом: откуда этот наивный перечислительный раж? Вы что – волшебные существа, говорящие олени, внеземные оракулы, явившиеся на нашу планету преподать нам уроки и потому каждый эпизод вашей жизни – упоение мудрости и мудростью?

Иное дело, когда воспоминания вплавлены в какой-то «само-познающий» сюжет как у Льва Толстого в трилогии или у Марселя Пруста или Андрея Битова в «Выборе натуры», где они обладают лирической проникновенностью и становятся внезапным для самого автора проникновением в «тайники» прожитого сознания. Происходит вскрытие запертых сундуков с позабытыми сокровищами...

Волшебство художественного зрения конечно не купишь и не займешь. Вот и остаются ничем и беднякам придуманные сюжеты и все иные балаганы цирковых заманок.

И вот я сижу в кресле главного редактора крупного регионального издательства и подписываю в печать очередную книгу. Мой стол завален редакторской правкой и корректурой. Отдельной стопой рукописи. Там и самотек, и заказные тексты, и переводы, частью вычитанные редакторами, частью попавшие сразу ко мне на стол. Кое-что я делаю непосредственно в компьютере, который не люблю. В свободное от срочных дел время продолжаю изучать еще весьма сыроватую рукопись местного поэта – биографию Лермонтова. Рукопись объемна, хаотична, автор каждую неделю приносит мне ворох новых «вставок и дополнений» – главок и подглавок, эссеистических эланов и огромных сносок. На его стиль явно повлиял Розанов. И мы подолгу беседуем, и я уже с головой втянут в оппонирование его смутным «прозрениям». Мне любопытна сама эта идея – опровергнуть паточно-сусальный образ «неотмирного странника и изгнанника». Любопытно и то, что автор «нападающей» биографии – поэт (и неплохой), любящий стихи уроженца Тарханов. И вот он нападает, в сущности, на самого себя, на свое ремесло, где жизнь почти всецело освящается и оправдывается вдохновением. Осознает ли он это?

И в самом деле, а чем оправдываться нам сирым, к кому вдохновение не является, к кому оно не просится? Чем нам оправдываться перед «обществом» и перед Богом? Значит, мы обязаны прожить жизнь пайныками, скромными, кроткими овечками? И ни вопросов Иова, Кьеркегора, Шестова, ни воплей, ни экспериментов ни в одной из сфер? Парадоксальным образом наш поэт встал (невольно, конечно) на нашу сторону, на сторону «обывателя», «честного, порядочного человека». Не посмеется ли критика над такой биографией гения, если я ее издам, да еще со своим предисловием? «Новый мир» возможно-таки сообщит с постмодернистской усмешкой о «провинциальном казусе»... Впрочем, мнение «Нового мира» меня никогда не интересовало, как и мнение иных наших журналов, к поэзии не имеющих никакого отношения. Они ошибались неизменно даже в вопросах экономики.

Меня тревожит другое. Как мне дать понять моему нестандартному автору, что, отстраняясь от Лермонтова, пытаясь сохранить два плана: «объективное» описание его жизни, а рядом свои «смелые» и «личные» комментарии, он так никогда и не уловит центра – ни в Лермонтове, ни в себе. Лишь страстно и одновременно растворенно проникая в существо судьбы поэта, он смог бы что-то дать читателю. Только если бы биография Лермонтова явила бы ему откровение о нем самом, о биографе. Ох уж эта пресловутая вненаходимость! Напротив, надо находиться внутри! Иначе – пустотный разрыв между Лермонтовым и мной, писателем и читателем. Какой смысл читать биографию Лермонтова, если он – не я? Ведь я и он – одно: тат твам аси.

И вот он входит своим летящим аллюром, высокий, гибкий; голубые глаза, зоркий лоб, крупный нос с чуть-чуть горбинкой, густая русая борода с легкой проседью. Внешность идеально контрастная к лермонтовской. Ему чуть за сорок, уже не возраст *героя нашего времени*, да и опыт. Впрочем, в том-то и штука, что, по его же словам, опыт у Лермонтова был несоизмерим с его возрастом. Да, эта «штука» серьезна. Говорил же маг племени яки, что есть порода людей (назовем их белыми магами), способных за несколько часов или дней пережить больше, чем обычный человек за долгую жизнь.

На этот раз разговор у нас зашел о художественном опьянении, о той особой ауре, в которой предположительно плывет поэт и которая делает его неадекватным всем окружающим ожиданиям.

– Я вижу, Иван Георгиевич, вы в целую главу вывели историю с пакетом старика Мартынова. Пакет сыну через Лермонтова. Пожалуй, что это действительно главный эпизод в разгадке тайны дуэли, эпизод, стыдливо опускаемый биографами.

– Они дают его мельком, хотя это ключик не только к дуэли, необъяснимо кровавой, но ко всему характеру той игры, в которую «Мишель» превратил свою жизнь. Главное, что это доказанный факт: Лермонтов вскрыл пакет, доверенный ему стариком Мартыновым (хотя никаким

возрастным «стариком» он конечно не был), вместе с посылкой и дневниками дочерей Мартынова и сестер Николая, в том числе и той, за которой «волочился», пытаюсь обольстить, используя как всегда весь арсенал своих средств и прежде всего красноречие. По любым временами (а тем более по тем) похищение писем и личного дневника – это подлость и потеря чести. И вот Лерма начинает врать, выкручиваться, ибо на его несчастье в пакете оказались, к его изумлению, триста рублей. То есть он попался. История про будто бы напавших на него по дороге абреков, отобравших пакеты и посылки, настолько наивна, что никто из Мартыновых в нее, конечно, не поверил.

– Но никто вероятно в открытую ни слова упрека ему не сказал?

– Разумеется. Но я думаю, в пору бесконечных ядовитых на публике нападок Лерма на Мартынова терпение последнего лопнуло именно поэтому: «как он смеет после этой бессовестной кражи продолжать весело гаерствовать, строя из себя безгрешного ангела и оракула? Еще бы не оракул, прочитавший чужие дневники и теперь смеющийся над нашими диалогами». Вот эта «беспредельность цинизма» и поразила Мартынова, прежде всегда смиренно прощавшего насмешки и шутки товарища. Я уверен, что Мартынов вдруг понял причину этой беспредельной шутковской назойливости Лермонтова, направленной всегда на более слабого: комплекс неполноценности.

– Даже так?

– А как вы иначе объясните эту неуёмную жажду корнета, прапорщика, а затем и поручика доказывать всем и на каждом шагу, что он – самый-самый? Самый крутой, как сказали бы сегодня. Согласитесь, это странно для человека, ощущающего в себе философическую искру, чувствующего свою бытийную полновесность, свою связь с неким центром Всего. Зачем такому человеку доказывать каждому встречному, что он что-то значит, что он умнее и остроумнее каждого из них? Что он самый успешный «альфа-самец»? К чему эти пошлейшие «победы», доказывающие только одно: что он раб своего низшего эго, что он озабочен «мнениями света» и более ничем? Зачем гению выстраивать образ своей мещанской победительности? Зачем гению всё время рваться на сцену и играть там роли?

– Но вы ведь однажды произнесли поразившую меня формулу: поэтическое опьянение...

– Да, тема возможная, я не против ее ввести, но сейчас еще пару слов вдогонку Карлу Юнгу. Собственно, ведь это сама судьба подстерегла Михаила Юрьевича. Старик Мартынов вложил в запечатанный пакет триста рублей, не сказав об этом никому. К Лермонтову, кстати, в аристократическом доме Мартыновых относились как к сыну. И вот поэт, не зная, что о деньгах отец никому не сказал, вручает Николаю триста рублей, объясняя, что большой пакет абреки украли, а этот чудом сохранился. Но отчего же тогда он вскрыт?.. Тут, разумеется, не надо было быть Шерлоком Холмсом. Отношение всей семьи Мартыновых к Лерма резко переменялось; прежде всего и главным образом внутреннее отношение, конечно же. Лермонтовское шутовство стало являть сатанический оттенок. Это угрожало не только Николаю, но и его сестре; и прежде всего ей.

– Встает вопрос: дозволено ли гениальному поэту быть бесчестным человеком? Пушкинское «гений и злодейство»...

– Сотни примеров, что совместны, тем более что гениальность трактуют, кто как хочет. Сам же Пушкин это объяснил в своем «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...»

– Ну да, ну да. Аполлон, Вакх, Дионис... Допустим, Аполлон. А если Вакх-Дионис? Или Люцифер? Духи ведь бывают разные, а значит, и вдохновения идут из разных источников.

– То-то и оно. Комплекс неполноценности – это ведь глубинная штука, почти кармического статуса. У Лерма это можно назвать и комплексом сверхполноценности. Зачем бытийно зрелому существу бесноваться, становясь рабом чувства собственной значимости? Бытийно зрелый спокоен и молчалив, ему не важно и не нужно и не хочется никому ничего доказывать. Жажда первенствовать он давно оставил позади себя. Именно благодаря этой свободе он может наблюдать за бытием как-оно-есть. И это измерение мудреца и настоящего художника...

– Странная меня вдруг пронзила мысль: не значит ли в этом случае, что все, кто объят жаждой самоутверждения, то есть почти все знаменитости во всех областях... Не значит ли это, что все

они столь могуче активны именно благодаря комплексу неполноценности или, как вы говорите, комплексу сверхполноценности?

– А что тут странного? Так оно и есть; я правда об этом не задумывался, но сейчас вижу, что это так. Возьмите хоть Ницше с его «волей-к-власти». Да он ведь карикатурно прыгал вверх, чтобы казаться выше. Разве дело в его сексуальной несостоятельности? И разве дело в том, что живопись Шикльгрубера не была оценена? И разве дело в сломанной когда-то ноге Лермонтова и в его невыигрышной внешности? Ведь он с рождения был почти избыточно (почти как Байрон) наделен материальными и нематериальными благами, преимуществами перед весьма многими. Так что исток комплекса неполноценности – вещь глубиннейшая, это растерянность донного уровня, это если хотите обморок свободы...

– Да, обморок, это здорово, обморок от избытка свободы, я где-то уже читал об этом, кажется у Сёрен... Объевшись свободой, субъект может забыть, как в обмороке, нечто бытийно-центральное, забыть центр своего Долга, индийцы бы сказали – дхармы... Меланхолия Печорина показана Лермонтовым как необъяснимая тоска, как непреодолимая невозможность обрести цель и смысл.

– Кстати, в те же самые годы Сёрен, которого вы упомянули, объяснил исток такого рода меланхолии. С одной стороны – пресыщенность «мирскими яствами» (Мишель был избалован бабушкой), с другой – бессмысленность избранного стиля жизни, названного Сёреном «чувственно-эстетической стадией». Это когда человек, как правило художественно одаренный, хватается за наслаждения минуты со всей страстью. И чем более он эстетически одарен (случай Лермонтова), тем глубже яма, в которую он влезает. Из этой ямы хорошо видны звезды.

– М-да. Это весьма шикарная идея: все преуспевшие люди (почти все или более скромно: многие) действуют из своего комплекса неполноценности. То есть бытийной неполноценности.

– Да, идея шикарная. – Иван Георгиевич (вероятно, все кроме меня называли его просто Иваном) откинулся в кресло поглубже, попросил разрешения закурить. – Но она ведь и прекрасный прожектор. К тому же предельно объективный и правдивый. Ну кто из зрелых монад полезет доказывать свое превосходство над ближним?

– Вы совершенно правы. Мне вспоминаются даже не святые, а просто дурачки-простачки, или даосы, или крестьяне-оратаи. Кто мог бы их втянуть в соревновательность? Я, например, всегда ощущал, признаюсь вам, что всякая власть не от Бога. Даже малейшая власть одного человека над другим. Даже самая кратковременная. И всякая воля-к-власти – не от Бога.

– Не знаю, не думал, возможно, что так. Но *если*, тогда: вот вам и демонизм...

– Но тогда, послушайте, Иван Георгиевич, вам придется еще изрядно попотеть над книгой, сделать ее философскую канву рельефно-смелой, не извиняющейся. В каком контексте вы созерцаете жизнь героя и в каких терминах? Одно дело – в терминах и в измерении «светской жизни» того времени (внутри словаря воспоминаний о поэте), другое дело – в терминах жизни «вечного человека», того человека, которым Лермонтов-отшельник мечтал стать. То есть дайте нам возможность увидеть эту жизнь и в качестве хаотически-цельной, то есть текучей, минута за минутой, и одновременно некой стоячей, вертикально-вечной, увиденной извне уже не демоном, но ангелом, мыслящим, если хотите, универсально-религиозно: из мистических потрохов. В этом измерении я вижу поэта как бы перед стеной, за которой – Упанишады и хохочущий Чжуан-цзы и танцующий Кришна и непостижимо неграмотный Хуэй-нэн.

– Ну зачем так далеко и так экзотично? Есть ведь и наш Серафим, и наш Сергей, и опыт жизни Пушкина, и Иоанн Лествичник, и Четьи-минеи в конце концов...

– Но вы меня поняли. Если вы хотите своей книгой выстрелить, то чтобы уж слышали даже глухие. А без Упанишад и Гаутама они вас не услышат.

– Но не хотите же вы, чтобы я задумывался о княгине Марье Алексевне?

– Избави бог.

– А попотеть – да. Да ведь я схитрил и принес вам тогда не сам роман, а по существу лишь его эскиз несмотря на три с половиной сотни набранных страниц. Вот ведь и словцо вырвалось – роман, хотя речь-то шла о биографии в серию.

– Возможно, и так: биографический роман. Ведь роман и есть попытка абсолютно свободного письма. Только вот – от кого к кому? Если бы это понять...

Мы долго молчали. Потом я угощал поэта кофе с коньяком. Мы созерцали бунинские осенние липы и «цветаевский» рябиновый куст в окне моего кабинета.

– Но что же делать с «художественным опьянением»? – спросил я, вспомнив начало нашей нынешней встречи.

– Давайте до другого раза?! – улыбнулся Иван Георгиевич, изящнейшим разворотом фигуры встав и подав мне руку, на которой сияло какое-то весьма таинственное кольцо. Впрочем, подумал я, сейчас на многих мужских пальцах видишь какие-то на вид очень древние кольца и перстни.

2

Из дневника тех дней.

«Состоятельный духовно человек не полезет на петушиную навозную кучу. Полезет лишь несостоятельный. Вот почему культура несостоятельна, духовно беспочвенна, эфемерна. Её пафос, и шум, и блеск всего лишь фейерверк блефа и актерских поз. Музыкальная шкатулка для приготовишек. Почему мы так много уделяем ей внимания и времени жизни? По духовной слабости. Мы импотенты, и тем большие, чем яростнее рвемся в сексуальные короли. Воистину сублимация. Один лишь Розанов осмелился учуять-унюхать сакрально-вещий смысл соития. Поймал точку рождения духовного семени.

Каким образом Лермонтовым были рождены полтора-два десятка живых духовных монад в пространстве букв и звуков – вот действительно тайна. Сумеет ли мой Иван её разгадать? Боюсь, что ему это не по зубам. Он славный малый, но все же пребывает в клетке ментальных шаблонов. Да, эти шаблоны порой тонки и изящны, но все же они не дают ему совершить прыжок за пределы клетки. Тот прыжок, который иногда совершают гениальные поэты в сфере чисто языковых интуиций. Его романная биография в идеале могла бы стать поэтическим текстом почти в смыслах йенцев или гессевской поздней прозы, однако у него нет необходимой раскованности, способности выйти за пределы себя самого, себе известного... Он слишком хорошо себе известен. Так ему кажется... Впрочем, возможно вообще никто не в состоянии понять, каким образом у прозорливого, беспредельно самодовольного «ницшеанца» Лерма рождались серафические строфы. Ведь это оставалось загадкой и для Льва Николаевича в его дружбе с Фетом; Толстой не мог понять, откуда этот почти сверхъестественно тонкий лиризм в тучном деятельно-деловитом помещике, прошедшем воинскую немалую канитель. Рациональная скрупулезность в делах, румянец щек и глубокое понимание Шопенгауэра, равно и Упанишад. Но ведь этому же феномену дивился и великий этик Альберт в своем любимце Бахе. Почти сверхъестественно прямое чувствование потустороннего и одновременно: деятельный, любящий вкусно поесть бургер, выворачивавший уши нерадивым ученикам и плодивший детей. Две ли души? Или две половины? Совместность двух душ, двух измерений.

Если у Пушкина всё ясно: «пока не требует поэта...», он – пошлый малый, суетный и даже порочный. Но «лишь божественный глагол...» Но ведь Бах писал шедевры почти безостановочно. Да и Толстой, поэт в прозе, не мог иметь пауз прострации, сочиняя «Войну и мир» или «Анну Каренину». Но ведь он в это же время был всерьез погружен в дела и в хозяйство, и в семейно-родовую сутолоку. А когда случилось чудо второго рождения, освобождение и вход в новое пространство в себе, то обнаружил, что «энергия заблуждения» оставила его, огонь потух, соблазн исчез. Да, но возгорелся иной огонь!..

Так будет ли безупречно гармоничное, гениально сбалансированное существо писать стихи, захочет ли этого его душа? Не есть ли сами стихи пламя от трения, от некоего таинственного душевного конфликта, от бури, где борются демоны с ангелами? Зачем просветленному устремляться к свету и жаловаться на мрак, если он в центре света? Да и как нам, омраченным, воспринять полноту чистого свечения? Возможно, эта полнота свершается рядом с нами, но мы ее не видим и не чуем...»

«Да разве же стихи святого человека будут кому-нибудь интересны? Какого-нибудь Серафима Саровского или Шри Раманы? Да что там может быть кроме вполне незатейливой молитвы? Да ведь даже псалмы Давида так возлюблены христианами не оттого ли, что был Давид немалым грешником и просил Бога помочь выбраться из внутренних своих хлябей...»

«И все же Лермонтов – почти лабораторно чистая загадка. В этом прожорливом, вечно хохочущем, острящем и балагуриющем плечистом хлопце, а затем почти карикатурном гусаре, не было ни грана серафичности. Жесткая, если не сказать больше, временами мстительная, четко планирующая свое «светское восхождение» натура; выставляющая на всеобщее обозрение всякое свое дарование, всякий элемент силы. Прямо-таки теряющий жизненный интерес и аппетит, если он не “на сцене”. Воистину задумаешься о корне поэтического нерва: не дитище ли он человека играющего, то есть человека сценического, изнывающего по публике и достигающего в “кривлянье” немалых высот...»

«Принято поэтов считать певцами любви. Но кто из русских поэтов любил, исключая Жуковского, Алексея Толстого, Тютчева, Блока? Остальные влюблялись или играли в любовь. Чем была любовь для Лермонтова? Бешенством самоутверждения. Мне скажут о двух ранних любовях – десяти и двенадцати лет. Охотно допускаю. Но и я в первый раз поцеловал (мы целовались!) девочку-ровесницу у нас в прихожей посреди толпы висевших шуб (гости), когда мне было лет пять. А уже «настоящее» чувство во всей полноте мистических мерцаний пережил во втором-третьем классах, и этот образ жил во мне до класса седьмого (зима), когда я уже влюбился всерьез и на всю длительность внутреннего дыхания. Почему, собственно, об этом моем чувстве никто никогда не узнал, включая сам предмет. Любовь ничего не требует, ни к чему не принуждает. Она ждет, заметит ли её Она – внутреннее существо той, кого ты полюбил. И если этого ничем не спровоцированного, не «организованного» отклика не происходит, она смиренно наблюдает, печально, но без надрыва, ибо понимает, что каждая душа – цельная монада со своим тайным солнцем и планетам вокруг. А искусственно сориентированное внимание лишь опозорит тебя в твоих собственных глазах...

Недостаток страстности? Да нет, не в этом суть, совсем-совсем не в этом направлении. Меня поразила одна цитата в книге Ивана, из воспоминаний одного художника, общавшегося с мальчиком Мишей Л. Он пишет о контрасте глаз Миши: чарующее впечатление, когда кто-то был ему симпатичен, но «во время вспышки гнева они бывали ужасны». И далее: «В личных воспоминаниях моих маленький Миша Лермонтов рисуется не иначе, как с нагайкой в руке, властным руководителем наших забав, болезненно-самолюбивым, экзальтированным ребенком...» Уже в детстве ему нравилось тиранить, отдавать приказы более слабым физически сверстникам. То же самое насилие мы видим в «любобной истории» с семнадцатилетней Екатериной Сушковой: почти шестнадцатилетний Мишель ведет беззастенчивую осаду, назойливо и грубо прямолинейно требуя её любви в ответ на своё якобы великое чувство, демонстрируя стихи по этому поводу. (Как он представлял эту любовь? Сексуальный акт изнасилования?) Рисуется настоящая пародия на якобы влюбленного бурсака, прилипчивого и наглого. Да при всех тайных симпатиях (коли бы они были) нормальная девушка не могла бы не отшить сие животное. Сушкова же нежно, но твердо увещевает Мишеля, насмешничая и зубоскаля, насколько хватает сил. И все это открыто и искренне. Но что же происходит в душе юного поэта? Он затаивает “смертельную обиду” и готовит жестокое мщение, реализованное холодно и планомерно спустя четыре года. И это плод любви? Побойтесь Бога, господа лермонтоведы!...»

«Есть струны, совершенно непонятные. Вспоминаешь-вспоминаешь, пытаюсь найти какую-нибудь отчетливость в сюжете своего то ли влечения, то ли отталкивания, то ли могущей зародиться и где-то вдалеке мерцающей любви, то ли интригующего чувства неизвестности, ощущаемой в чужой душе, но неведомой и самой владелице этой неизвестности. Это как-то мерцало в последних двух классах, я даже провожал её несколько раз до дому (что было против моих правил) в разговорах о прочитанных книгах, ибо мы в классе были двумя книгочеями. И вот оно как-то умолкло, ибо её интересовало (я это почувствовал почти с болью) лишь содержание обсуждаемых книг, а моя чувственно-мистическая структура, которой и был собственно я (так я воспринимал всех людей) не замечалась, словно рядом с ней плыл туман или некая абстрактная конструкция, «вообще человек». А ведь я был несомненно хорош: лучший ученик, редактор школьной стенгазеты, не самого малого роста, защищавший честь школы в разных видах легкой атлетики и т.д. И поскольку я всему этому не придавал никакого значения, то и она могла не придавать этому значения и, значит, мы могли бы обратить внимание на что-то иное друг в друге. Однако я был для нее туманом, «облаком в штанах». И ей совсем не хотелось приоткрыться, поведать свою тайну, которую я в ней ощущал. Разумеется, я её ни о чем внутреннем не спрашивал, я лишь знал, что она растет без отца и что ее мать – экономист. Но ее внешность была столь аристократически-экзотична, что конечно же предполагался сюжет, как же это ее мать оказалась в этом северном уральском городке.

Но и случайная встреча в областном центре, когда она уже училась в политехническом, а я на филфаке университета, мало что дала. Я зашел в домик, который они с матерью снимали рядом с музеем Бажова, померялись ростом, и я снова почувствовал, что она не ощущает во мне мужчину, обладающего своей тайной, какой бы она махонькой ни была. Я оставался абстрактным одноклассником, студентом. Мне хотелось ее изучать, раскрыть как старинный том. Но я выпил чашку чая и ушел в свое общежитие.

Фатум ли в этом или сущность характера, за которым цельная философия? Неужели людей может связывать только сексуальное влечение, которое никогда конечно не дает возможности чистого познания друг друга...»

«Мне было интересно, что она видит, когда смотрит на тот или иной предмет, думает ли она что-то при этом. Мне был интересен сам характер ее высказываний, сами интонации, хотя бы в них не было ничего семантически необычного. Все же в них что-то было, меня интригующее. Мне была интересна сама основа её характера и скрытого от меня мировоззрения. Мне хотелось быть рядом с ней, быть неким почти экранированным вне каких-либо записей.

Но как это осуществить? Ведь малейшая неестественность, а тем более назойливость, сооружение “посредствующих звеньев” вызвало бы во мне приступ тошноты. Никого я так не презирал, как породу приставучих юношей...»

«Конечно же, я не был в нее влюблен. Здесь было что-то иное. Возможно, меня интересовала чужая порода, некий принципиально иной взгляд на вещи, на природу и на человека, взгляд, который я подозревал и в себе, но не мог его “визуализировать”... Потом мы встретились на двадцатилетие школьного выпуска. Туда мы ехали в одном купе – она, я и еще два наших «мальчика», и ничего не было кроме светскости, словно бы я продолжал быть для нее абстракцией; но быть может и все другие люди были для нее абстракциями, некими туманными призраками? Вот мы вышли с вокзала, и нас встретили местные, разбились по парам, чтобы вститься в пешеходную дорожку. Мне хотелось идти с ней, но меня опередил Славка, наш хоккейный чемпион, высокий и чудаковатый блондин, неизменно говоривший парадоксами либо загадочно-хаотичными фразами. И вот я шел за ними, вслушиваясь в их оживленный, страшно мне интересный разговор, но мне мешала моя спутница Лида, с восьмого класса игравшая роль безнадежно в меня влюбленной. Она была мне так же неинтересна, как тени от деревьев, ибо помимо прочего я заранее знал все её вопросы и все возможные реплики. Помню мое изумление несовпадением всех этих ритмов, её нечувствованием меня; так что болтовня Славки, который не просто ее развлекал (был

там какой-то внезапно вспыхнувший меж ними сюжет), оказывалась во сто крат важнее. Я определенно чувствовал, что диалог их, внешне абстрактный, был для них чрезвычайно важен, что у него есть скрытый таинственный план. К тому же и сам по себе их разговор было обменом парадоксальностями, тонкой пасовкой поэтических мячей. Вот-вот, думал я, в ней есть та поэтическая тайна, о которой она не знает, и вот сейчас Славка касается её и изымает её аромат...»

«Никакими приступами, настырностью и хитростями невозможно узнать в человеке его наиболее естественнейшее и значит подлинное. Даже электрон меняет свои свойства при наблюдении за ним. Вот почему познание другого фактически невозможно. И вот почему именно у даосов я нашел приют своему скитальчеству...»

Посему же, кстати, все воспоминания о ком-то – шелуха, призрачная самонадеянность. Лишь проникнув в существо поэта одним прыжком (прыжком мистическим), ты сможешь более или менее настроить свои диоптрии, свой морской бинокль...»

«В московском благородном пансионе у Лермонтова было прозвище – лягушка. М-да... Один из однокашников объяснил это тем, что Лермонтов постоянно ко всем приставал, был неприятно прилипчив. Качество, не только не проходившее, но набиравшее обороты...»

3

В первые годы жизни я был слабо рационален, и тайны сплошь окружали меня. Полати были таинственнейшим пространством, бескрайним. Именно таким. Бывало, спал на чужих полотах, у дружка: они были еще таинственнее. Или игра в жёстку в коридоре барака. Что-то тюремно-ужасное было то ли в самой этой игре, то ли в этом занятии, то ли обряде, что-то жесткое и недосказанное. Зачем мы подбиваем ногой свинчатку с кожаной бахромной подкладкой? Очень слабый свет коридорный, искаженные лица. Кто мне эти люди? Или страдавшая за одной из дверей девушка, умиравшая от чахотки. Что-то страшное было в том, что её кормили сырым мясом лисички, а потом положили в корыто с ледяной водой. Удивительно таинственно было наблюдать, сидя на травке, как твои сестры играют в волейбол на поляне возле железной дороги, играют вместе с другими парнями и девушками. Таинственно было происхождение самой игры, перебрасывание мяча. Почему мяч перебрасывают с таким азартом, а подчас и восторгом? Почему они так радостны и так отсутствуют в мире? Наверное, я не успею дорасти до участия, да и как я смогу бить по мячу, не зная, зачем я это делаю.

А как оттаивала весной завалинка, как прела и дымилась, и как светились сверху сосульки. Мое непонимание, что такое сосульки, было равно моей зачарованности их созерцанием.

Вот старшая на восемь лет сестра в который раз запирает меня в наших двух комнатах, чтобы снова идти играть во что-то там на солнечных лугах в компании сверстниц, а я плачу, упрашивая не закрывать меня на ключ, а выпустить, и вдруг в отчаянии, самого меня испугавшем, хватаю вилку со стола и делаю движение к нападению. Почему я, такой тихий, вдруг восстал, устав от этих незаслуженных затворов себя, которые и прежде бывали, но по воле родителей. И сестра испугалась, изумившись. И сдалась.

А однажды случилось счастье: я проснулся от шума воды, а, открыв глаза, увидел плавающую по квартире чуть ниже полога моей кровати мебель: столы и табуретки. Мой старший брат, фыркая, вынырнул из подпола с чем-то в руках, что-то пытается спасти. Наша река ночью вышла из берегов. Последующие две недели мы катались на плотках по огромному пруду. Вскоре мы переехали в свой дом на более безопасное место неподалеку. Я тоже помогал отцу строить: доставал из болота мох.

Искусство как прием – так стали мыслить в двадцатом веке. Приём ли человеческая жизнь или нечто субстанциональное? Если приём, то чей-то. И с какой-то целью. А если нечто субстанциональное, то значит обладающее каким-то автономным смыслом и тайной. Но если таинственно всё?

Хочу ли я что-то вспомнить? Хочу ли я себя изобличить? В ошибках характера, в недостатке дерзости? Хочу ли беспочвенно скорбеть по утраченным, по упущенным возможностям? По-рой кажется, что не могло родиться человека, который бы так легко и небрежно отказывался от подарков судьбы и так парадоксально охотно вязывался в заведомо проигрышные и обременительные сюжеты. Но чем-то же я всегда руководствовался? Что-то же мною управляло и в отказах, и в приятях? Что стояло за такой парадоксальностью? И надо ли сейчас выворачивать это знание в слова, если это знание в тебе совершилось? Ты ведь понял, в чем дело. Ты уловил важнейшие точки ошибок. В сущности, ошибок было две. И обе они связаны с тем, что ты солгал. В том первом случае ты солгал другу-семикласснику, солгал в пустяке, но это не дало тебе вырасти и уже далее в дружбе ты не был счастлив, эта крошечная ложь тебя давила, поток шел мимо. Ты отказался играть с ним в шахматы, потому что еще не умел, но признаться в этом оказалось свыше твоих самолюбивых сил. Ты оказался здесь подобным Мишелю. Во втором случае ты солгал себе, взяв в жены девушку, которую в сущности не любил. И дальше это привело к целой системе тупиков и искривленных путей; твоя жизнь превратилась в бег с барьерами по сильно пересеченной местности.

4

И вот мы снова сидим с Иваном Георгиевичем за моим редакторским столом. Наша сегодняшняя тема: поэтическое опьянение. Жизнью? Этот простой вопрос ставит нас в тупик. Как и чем опьянялся Лермонтов?

– Только не используйте в ваших «на полях» – метафор и символических фигур на тему Вакха-Диониса и прочего, я вас умоляю, Иван Георгиевич, не будем откатываться к Мережковскому.

– Что вы, что вы, зачем мне в романе плесень и мох?

– Но и постмодерн ведь не подойдет?

– Да ведь это что-то похожее... Лерма часто действовал как пьяный, вы правы. Но разве тот, кто пьянеет от запаха зреющего (или сжатого) поля, или от наблюдения за искрами костра, летящими к звездам, или от созерцания Эльбруса: вот он рядом и все же далеко, – разве не близок к богам и значит к осевой линии поэзии? Есть ведь еще глубина и острота этих опьянений (количество и качество «выпитого»), которые могут ведь выстраиваться в некий единый поток, а он, в свою очередь, отрывает, в почти буквальном смысле, поэта от современников.

– Создавая еще один модус одиночества?

– Оторванности от плана познания и познаваемости. В этом сплошном потоке опьяненности поэт обнаруживает непознаваемость всего и вся. Абсолютную стену волнующего и возбуждающего Тумана.

– Я понимаю, что вы не философствуете, а говорите о Лермонтове.

– Разумеется.

– Ну хорошо, значит ли это, что ощущение и понимание бесконечной своей оторванности от всех центров пониманий и своего космического одиночества, добавлю: при одновременной сверхобычной остроте «чувства жизни», в почти физиологическом её варианте, – что всё это, в одновременности столкнувшись, высекает ту свободу, где, с одной стороны, пишутся пронзительно-наивно-мудрые стихи, а с другой – нечто в человеке Лерма побуждает выплескивать на окружающих олухов и простаков «пьяный кураж», некую раздраженно-обиженную на «жизнь» пену? Своего рода шлаки от невероятной плавки внутри сознания?

– Может быть и так, но я бы предпочел что-то более простое. То, что вы нарисовали, меня скорее запутывает; точнее: из этого я ничего зримо-сюжетного не выужу. Мне важно найти и ощутить момент, когда Лерма оказывается внутри высшего и чистейшего, когда нечто в него входит и он пишет стихи. Не роман, с романом всё проще.

– Да, недалеко же мы продвинулись.

– Ну а что мы знаем о себе? Когда стихи приходят, я их просто записываю. Я не могу их даже редактировать. Приходят они из некой моей суммы, мне неведомой, или просто из ниоткуда, то есть из ниоткуда меня самого?

– Вроде как из местности Нигде у Рильке? Но тогда мы просто дорожные стражи, анонимные хранители намёков, которые подают нам Эоны? И наши житейские качества, качества социальных насельников совершенно не интересуют Эонов. Лишь способность слышать и видеть эти намёки.

– Да, это сгодится. И тут вовсе не следует уточнять, намёки на что и зачем. Понятно, что на истину, в той мере и в той форме, в какой она нам доступна. Но говорить об этом не надо, ибо будет профанацией.

– Но ведь, в сущности, наш поэт просто жалуется на тоску бесконечности и оторванность от Потустороннего Рая? Разве не так?

– Вы хотите сказать, что Лерма не был в истине?..

– А вы как думаете? Ведь это-то и есть вопрос вопросов, разве не так?

– О, вы всаживаете мне нож под сердце. Мне нужен тайм-аут...

На этом мы в общем-то и закончили, но, прежде чем попрощаться, довольно долго сидели молча, задумчиво покуривая и попивая кофе с коньяком. Второго в наших чашках было явно больше.

5

Я знал, что мой автор придет с сообщением, что Лермонтов был разорван на две части, как большинство современных людей, как разорвана вся эпоха, но его разрыв был много мощнее и самоосознаннее, чем у любого среднего поэта, «чем у меня, едва способного учуять в себе эту расщелину». Так оно и случилось. Я был рад, что Иван Георгиевич поднялся до точки этого взрыва, неведомого большинству даже самых талантливых поэтов-словесников. Нас, собственно, и пленяет в Лермонтове эта сила заложенной в нем взрывчатки: он знал (нечто в нем знало), что он изгнан из Рая, и вот, ассоциировав свою участь с участью «печального демона, духа изгнания», «витающего над грешною землей», он пытался вспомнить мелодии и песни Рая, где прежде жил. «И лучших дней воспоминанья пред ним теснились толпой». Вот эта мощь меланхолии, отнюдь не беспричинной и бессмысленной, и влекла к нему людей и отталкивала. Он весь был из этой сверхъестественной работы между яростным присутствием в здесь-и-сейчас и отсутствием: бытием в Там и в Тогда. И это была местность Нигде: райский сад первоначального бессмертного сознания.

Заглянуть в эту трещину «между мирами», в эту расщелину, казавшуюся порой бездной, никто не мог. Вот вам двойной оборот одиночества, абсолютного и полного, как только что набранный кувшин родниковой воды.

Удивительно было, как мирно и понимая друг друга почти с полуслова мы побеседовали с Иваном Георгиевичем в тот раз, спустя две недели после его «нож под сердце». А ведь я думал, что он так и останется Максимом Максимычем, только в интеллигентском варианте. Нет, Максим Максимыч – это конечно хорошо и даже замечательно, но он никогда не поймет и не понял бы Лерма, который был конечно же много сложнее Печорина.

Иван Георгиевич забрал свою рукопись и уехал в деревню, где у него был домик, доставшийся от родителей, а я предался воспоминаниям. «Лучших дней»? Как знать.

Из дневника тех дней.

Деятнадцатый век прошел под знаком Пушкина, двадцатый – Лермонтова. Но «бунт» М.Ю. был понят совершенно неверно. Бунт Л. абсолютно иррационален, это «воплъ из глубины» раскола в душе, одна половина которой изначально просветлена, другая – омрачена. Одна слушает ангельские хоры (которые сто лет спустя слушал Рильке), другая обуяна демоническими сарказмами и блистаниями (*блистания* вообще сфера демонов и асуров, о чем наши эстетики не подозревают). Он не знает, против кого его бунт, ему не ясна его «кармическая ситуация». Он изгнан с Неба и жаждет возвращенья. И в этом разрыве он ведет себя парадоксально и самоубийственно. Так вел себя (в смягченной форме) Тракль.

Социальная рутина? По касательной. Его томило одиночество, его бесила бессмысленность клоунады жизни, но он догадывался, что это его одиночество не предрешено, что есть модус, в котором человек блаженно неодинок, блаженно причастен, присутствен при Бытии. Почему я разорван? – вот был его внутренний вопрос, для ответа на который ему было мало даже Кавказа и царицы Тамары.

В здоровом духе здоровое тело. Все афоризмы ложны, но в этом скрыта нота верного происхождения тщеты. Вот у Лермонтова: дух был расщеплен, и молния выстрела Мартынова расщепила тело.

И все же, хотя у Мартынова, возможно, и были веские основания считать Мишеля если не подлецом, то во всяком случае человеком непорядочным, он не должен был стрелять.

Хотя слышу голос со стороны: Мартынов не умел стрелять и потому стреляла судьба.

Да... Вот так... Что тут сказать. И то верно, и другое. А может быть есть и третье.

Проживать жизнь надо с Начала. И каждый раз, и каждый день.

А цветы... Вон они как растут, недолюбленные нами. Но без сентиментальностей, ибо в них мы, увь, возлюбляем свою похоть самости.

Трещины духа, не Духа, а нашего экзистенциального, набираются в сети морщин, куда уходит наша жизненная сила. И будь наш изначальный дух безупречен, мы бы никогда не заболели телесно и тем более смертельно. Дух – это болезнь к жизни.

Читаешь *тогда* что-то с интересом, когда герой проходит сквозь страдания. Но вот их качество и специфика – в этом всё дело.

Если бы я стал писать роман, то не пошел бы европейскими путями.

Не может быть, чтобы опыт умудрения безвозвратно тонул в Лете вместе со смертью тела. Это было бы и неэкономно с точки зрения Создателя, да и насмешкой было бы циничной над всей совокупной проделанной человеком работой: мышц, сердца, духа.

Зачем живет кошка, целую жизнь спящая на полке старого шкафа на открытом с двух сторон крыльце моего дачного домика? Она блаженно лежит на своих передних лапках, чуть глядя вдаль и чуть созерцая два розовых дерева в чистоте и тишине бытия. Зачем она живет?

Но Бог осуществляет свою любовь и в ней. Эта кошка – бог.

Так Тэдди экстатически наблюдал за сестренкой, переливавшей Бога из кувшина в стакан белой густой струей, а потом она пила этого Бога: вливала Его в себя.

А разве я не видел пятилетним, как мама вздымала Бога пенными струями в цибарке, когда доила корову в полутемном сарае ранним-ранним утром, когда я медленно спускался по лесенке с сеновала.

Кошка видит и слышит не то же, что и мы, я. Её связь с божеством иная: в каждой точке, в каждой точке текущего ручья-жизне-смерти.

Жизнь в безответной любви: внимательная-внимательная – вот смысл и путь к смыслу.

Уясняем ли мы что-то сверх того (и помимо того), что скрыто в словах и выразиимо посредством них? Разве понимание главного не скрыто в промежутках между словами и буквами, между звуками? В сущности, именно этого я и искал и в жизни, и в искусстве. И даже в философии.

И разве не о том же странные слова Витгенштейна, кажущиеся пустым парадоксом: «Мое творчество – это особенно то, чего я не написал». Пьер Адо трактует это как отсылку читателя к этике – основанию мудрости, которая по своему корневищу молчалива. Мне же кажется, что Витгенштейн отсылает нас к творчеству жизни, к труду, который не может быть зафиксирован буквами и строчками.

Еще в детстве я понял, что я с бедными (хотя мы жили богаче других). С раннего детства я испытывал отвращение к мясу; кажется, я нес в себе особое внимание к растениям, птичкам и жукам. Одиночество не казалось мне наказанием или тем более проклятием. Я не видел разницы между уединенностью и одиночеством. Одиночество давало мне тихость прикосновения к наиважнейшему. Я вслушивался в дыхание коровы, лежал часами в полях, превращался в жука, лежа к нему нос к носу, а он превращался в меня. Наблюдал в тишине пустого дома за поведением вещей в гостиной и особенно на полках кухни, для чего я должен бы затихнуть как вот эта вещь и перестать быть человеком. Или замирал, наблюдая, как бесконечно сыплются горошины из моей ладони, всё не достигая пола.

И хотя я был «социально успешным», я неизменно оставался одинок и именно поэтому счастлив. Со мной всегда были боги стихий, вещей, животных. Бог молока, бог корки хлеба и щепотки чая. Со мной всегда был Кто-то.

Какое же сознание было бы в центре моего романа? Ответ ясен, но суть в другом: каков сюжет такого сознания? Может ли оно в принципе обладать сюжетикой? Пластически-словесным материалом самодвижения в сущем, среди людей и вещей? Изобразим ли внутренний путь? Романы Гёте был романами воспитания, т.е. самовоспитания. Роман Лермонтова был поводом показать себе тщету своего пути, показать свой необъяснимо почему «путь в Никуда». То был, без сомнения, первый у нас всплеск и выплеск нигилизма. Вероятно, я тоже выбрал бы жанр дневника: там есть повод для изменения мизансцен сознания. Но в чем Восток? В постановке голоса и зрения героя. Роман должен быть (как и всегда от Пушкина до Битова) способом авторского самоуяснения. Но этого мало. И, разумеется, он не должен писаться «для читателя». Он должен оставаться в рукописи. (Идеальный вариант был у Гоголя, но он как раз испугался читателя.) Тогда адресат письма изменится. Не иначе. Изменится внутренний ритм и мелодика. Вместо служения эстетике придет служение этике: естественно, на иррациональном уровне. Дело не в мелодике: в перемене зрения и слуха: в Возвращении. Ибо это и есть единственный сюжет, достойный пота и бумаги.

Поэзия – это форма чего-то, что определить мы не в состоянии. Я верю, что были времена, когда почти все люди были поэтами. Нет, они не состязались в писании стихов и гимнов: они жили поэтически. Разумеется, представить себе такое общество мы не можем. Вспомнился калека Касснер: Рильке был поэтом даже когда просто мыл руки; он оставался бы поэтом, не написав ни

одной строчки. Да, так-то оно так, но Рильке кормили и укрывали в своих зámках европейские аристократы. А если бы таких рильке были миллионы?.. *Тогда и там*, конечно, был другой, неведомый нам уклад сознания и, следовательно, скромнейших материальных притязаний. Увы, нашему Лермонтову там нечего было бы делать: его постоянный мятеж проваливался бы в пустоту. Сказать ли об этом Ивану Георгиевичу?

7

Вероятно, каждый из нас зализывает свои раны тем или иным способом. Было утро мрачнее некуда: всё небо в тучах и второй день шел холодный дождь. Это в середине-то августа. И вдруг после паузы бездождья выглянуло солнышко и пошел ситечный дождичек как чья-то усада, и всё засверкало: и поле в маках и травах, и сад с шевелящимися от радости листиками груш и яблонь, и крыши домиков. Всё запело междумирной тишайшей баховой прелюдией. Сладостная переменчивость мира, столь пугавшая Соломона, и столь приманчивая для древних китайских даосов.

То была моя отпускная неделя, где я отдыхал от людей, вечно клубящихся возле прелюдий к печатным станкам.

Вспомнилось, как года три назад мне вдруг с невообразимой тоской захотелось (воистину приспичило!) увидеть мою школьную любовь, которую я не видел с самого нашего выпуска. Меня вдруг стала исподволь точить мысль, что она так и не узнает, что я был в нее влюблен и любил всю жизнь. Да и взглянуть захотелось, как она выглядит спустя тридцать семь лет, возраст Пушкина. Каким-то чудом узнал ее адрес от ее бывшей подружки. Отправился в столицу как дурак. Я знал только, что у нее трое детей.

Звоню в квартиру вспотевшей рукой. Дверь открывает живая и ни чуточки не изменившаяся Она, семнадцатилетняя и обольстительно женственная! Спрашивает, объясняя, проводит в гостиную. Большая красивая богатая квартира. «Мама с отцом на даче, вернутся через недельку». Боже ты мой! В голове у меня круженье. Красавица дочь – полное повторение моей возлюбленной из десятиго-бэ. Той, на которую я боялся долго смотреть с близкого расстояния (я этого боялся, ибо не смог бы оторваться и тем выдал бы свою тайну). И вот я получил возможность смотреть на неё, сколько хочу. Мы сидим в креслах вокруг круглого столика, и она угощает меня кофе с разными к нему приятностями. И себе тоже налила. Я почему-то вспоминаю кофейную кантату Баха.

Боже мой, я просидел в их квартире часа два-три, не меньше, мы разговорились вначале осторожно, а потом неистово, я был в ударе и явно заинтриговал ее красноречием, да что там: я заново влюбился, только на этот раз фактически не скрывал не только своей симпатии, но всей силы моей очарованности этим воплощением парящей женственности. Конечно, она постепенно-постепенно всё поняла, поняла, кем мне внутренне приходится её мать, и кажется она даже под конец поняла, что я заново влюблен и чуть ли не готов сделать предложение. И возможно, я так бы и поступил, не будь я наполовину сед и согбен печальным опытом. Пусть и не настолько печальным, как у Лермонтова.

«Нет, я не смогу её дождаться, через пару дней я уезжаю из Москвы. Передайте ей мои приветы!.. Разрешите обнять и поцеловать вас на прощанье, представим, что вы – это она...» Так мы и сделали. Но прикоснувшись губами к ее губам, я через несколько мгновений забыл, что обнимаю дочь, а не её саму, мою Гретхен. Я ушел в другое время всецело. Мы целовались как безумные. Что было дальше, я не хочу и не могу описывать. Я возместил утраченное сторицей. Я ушел из этого благословенного дома-квартиры с каким-то напрочь измененным сознанием, словно это был уже не я, а некто, мне не очень знакомый, некий призрак-странник во времени.

Да, я был потрясен всем случившимся, а потом еще долго пытался это осознать: и с позиций дневного рассудка, и с позиций сновиденного моего двойника. «Вот тебе и двоемирие, – шептал мне один из этих голосов, – вот тебе и расщелина между мирами, между адом и раем».

Иван Георгиевич исчез столь наглухо, что я о нем забыл. Но через два года он вышел со мной на связь. Мы встретились в одной из городских кофеен. Над книгой о Лермонтове он не работал. Но он написал роман. Небольшой. Он показал мне папку с распечаткой компьютерного набора. Мы толковали о том-сем, я его ни о чем не спрашивал.

– Вы правы, Лермонтов или я – разве это не одно и то же существо? По сути, по гамбургскому счету, даже если допустить, что Васин-Макаров прав, называя его богом. Ведь Иисус говорил убогим рыбакам: все вы сыны Божьи. Но, по этой причине или по другой, мне о нем нечего сказать, в его оболочку мне не войти. Я понял, что в глубине души я к нему равнодушен, я имею в виду эту его оболочку. А биографию пришлось бы дописывать-переписывать именно-таки про оболочку. Так зачем дурачить читателя? И если во мне есть какой-нибудь пыл-жар к исследованию своей судьбы (она есть, по большому тоже счету, и судьба Лермонтова), то вот тебе бумага, сиди и обнажай свои истоки. Все пишут о следствиях. Но разве они интересны? Поле, заросшее сорняками, да к тому же заблеванное. Нет, в тысячу раз интереснее истоки. Вот об этом мой роман...

Конечно, в самом конце, когда мы уже встали и начали прощаться, он открыл свою сумку и подал мне папку со своей рукописью. А куда ж ему было деваться, бедолаге.

Не удержавшись, я в ближайшем скверике сел на скамейку и открыл папку. Начинался роман с фрагмента под названием «Вместо эпиграфа»:

«Удивительная погода, вечер, днем немного подтаяло, но сейчас морозно, воздух кристально чистый и гулкий. Небо темно-синее и своей гулкостью ощутимо до звезд. Кажется, что действие происходит в высокогорной обсерватории. Мы едем к вокзалу на троллейбусе. Водитель – ее старая знакомая. На перроне.

– Тебе не кажется всё это нереальным? Посмотри, как пуст перрон, и мы идем. Вдруг скоро выяснится, что всё это нам приснилось?»

– Поезд уйдет в небытие...

– А вдруг поезд в самом деле попадет в крушение. Может, мама даром беспокоилась, что со мной нет документа...

Посмеивается, но где-то на четверть серьезна.

– Как быстротечна жизнь. Лет через двадцать-тридцать ничего этого не будет (она обвела взглядом панораму сверкающих синью и светом современных зданий вокзала, гостиницы).

– Как это – всего?

– Ну, нас не будет... Так сто́ит ли отравлять горечью, мелким волнением столь краткое бытие? Наверное, правы те умные люди, которые стремятся каждую минуту наполнить радостью и потоку порою впадают в легкомыслие...

– ...

– Разве ты не чувствуешь, что жизнь проходит?

– Как это?

– Что она перешагнула через кульминационный пункт, и сейчас наступило начало ее конца, завершения? Разве не чувствуешь?

– Нет, мне так не кажется.

– Мне тебя жаль... Я последние год-полтора прямо физически чувствую, как жизнь уходит – стремительно и невозвратно. Нельзя ее терять.

– ...

– С первого дня работай, много... Соблазнов столько всяких – придется сдерживать себя вначале...

– Главные соблазны совпадают с тем, что необходимо.

– Обзаводись новыми привычками...

Он причастился, как всегда после встреч и разговоров с нею. То главное и светлое в нем по

мановению волшебной палочки, которой она владела, проступало в душе незаметно, но явственно, как изображение на фотобумаге. И какое-то время он ясно видел дали прошлого и будущего, резкую, будоражащую четкость настоящего. Ясность и свежесть воздуха проникли в его душу. И он продолжил с ней мысленный диалог, где говорил ей много добрых слов, сочувствовал и не понимал, почему она, совершенство, не полюбила до сих пор страстно и до конца, почему нет ей такой удачи.

В случае с собой он вполне это понимал: не успел стать настоящим. А может быть, это он был ей предназначен, но не узнал ее, потому что пришел к месту встречи не тем, кем было нужно. Будь я таков, каким мог быть или стать, я бы полюбил ее с первого взгляда – почему бы нет, – думал он. Он ехал в троллейбусе, шел пешком, и ему казалось, что, в общем, ему есть что сказать людям, и он постарается это сказать. Он вспомнил ее слова о необходимости действия – раннего, немедленного, пусть неудачного. Душевное движение должно закрепляться, разрешаться в действии, а не гнить в душе, в сомнениях и колебаниях. Пусть ты бездарность, но попытайся выразить себя, это усилие сделает тебе честь.

В троллейбусе подвыпивший мужик шутил, пытался веселиться. Он подумал, что прежде он чаще всего либо осуждал мысленно таких раскованных, либо настораживался (вдруг тот что-то сделает не так), либо насмешничал над такими типами. А сейчас он увидел мужика ее глазами – добрыми, понимающими, сочувствующими: мужику не хотелось упускать ни это мгновение, ни этот вечер, которые вот-вот исчезнут, ему хотелось радости, он где-то в глубинах своего существа чувял и понимал, что жизнь как метеор кратка и готова погаснуть каждый момент.

И он почувствовал, что благодарен ей за эту поддержку, за помощь в продлении в нем этого ощущения жизни, времени, предназначения, которого в любом случае не может не быть».

Что было потом? Роман я прочел. Но это другая история. Я и не предполагал, что у этого человека столь мудро драматичная (особенно во внутренних анналах) личная тропа. Куда там Лермонтову. Разве они с Байроном нюхали нашего пост-русского пороку? Разве Байрону с Лермонтовым снилась «Роза мира» поэта Даниила Андреева? Что против нее «Божественная комедия» Данте? Роман Ивана Георгиевича нес в себе эти ритмы.

Но, к моему удивлению, разговоров о публикации он не заводил. Просто однажды забрал у меня папку. После этого мы больше не встречались. Да и то сказать – зачем? Свободная даль романа осуществилась.

Июнь 2025

Юрий КИТАЕВ

О МОНУМЕНТАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Брови царь нахмуря,
Говорил: Вчера
Повалила буря
Памятник Петра

Пушкин

Не по щучьему веленью,
И не по моему хотенью,
А от всемирного тяготенья -
Приподнятый краном памятник
Раскачивается, как маятник.

Exegi, говорим, monumentum...

Князю Владимиру (слышали?) памятник в Москве поставили... Возле дома Пашкова... А некоторые не хотели... На Юнеску ссылались...

А почему не хотели? Чего тут такого? И кто она такая, эта Юнеска?

Где-то, говорят, плавленому сырку памятник поставили, где-то граненому стакану, в Питере – Петру Великому (Новый. Он, может быть, и медный, но не всадник) и Чижик-Пыжику... А сколько еще всяких... Почему бы и князю не поставить?..

...В Питере хорошо. Там понятные памятники. И Медный всадник, и Ленин на броневике, и «на площади комод, на комод бегемот, на бегемоте обормот»...

Но это Питер... Питер нам не указ. У них вообще все по-другому.

Там у них, как один великий писатель сказал, *земля до неба достаёт*...

Нам до Питера далеко. И до неба не достаем.

У нас все проще... У нас – что есть, то есть... Данность... Предлагаемые обстоятельства...

У нас князь... Владимир. Киевский... Ясно солнышко.

Но дело не в этом.

Есть более важные предметы.

1.

Перед Иосифо-Волоцким монастырем памятник Преподобному.

И многие приходящие в монастырь и даже приезжающие на автомобилях, останавливаются перед памятником, подходят, крестятся и кланяются, будто это икона...

Юрий Китаев родился в Москве, работал инженером, слесарем, учителем и др. Публиковался в журналах «Топос», «Знамя», «Нева»; предыдущая публикация в «Волге» – рассказ «Зимнее утро» (№ 1-2, 2024).

А рядом, у ворот или на лавке под деревьями, то и дело кто-нибудь очень умный из монастырских наблюдает это и всякий раз вслух возмущается: «Что они делают? Ничего не понимают! Это же не икона... Это просто памятник...»

Другой раз уже и времени довольно много пройдет, и вечер наступает, и к памятнику никто нейдет, и вокруг никого, а он, бедный, все повторяет: «Дураки!.. Это ж не икона, а памятник...»

А иногда и вечером в монастыре он не может успокоиться и рассказывает:

– Подходят, крестятся, кланяются... А это же просто памятник...

2.

Это, конечно, не к вопросу о сносе или несносе всяких памятников (несносных порой), вокруг которого снова и снова столько дурных страстей и шуму со всех сторон, не слишком честного, неумного и чаще всего своекорыстного... Нет, не к вопросу... И не про установку новых. И не про переустановку...

Пока просто о памятниках.

Во-первых, и это главное, каждому историческому памятнику (особенно в своем отечестве – хотя, конечно, не исключительно) мы все (или почти все) обязаны жизнью.

То есть, не памятнику, конечно... При чем тут памятник?.. Хотя всякое случается...

А жизнью мы обязаны тому, кому памятник. Кому поставили или не поставили. Снесли или не снесли.

Разумеется, если это не какой-нибудь там художник, писатель, ученый или композитор, Чижик-Пыжик, граненый стакан или плавленный сырок – хотя и тут не все однозначно... Художники и музыканты тоже бывают разные... Был, например, в Риме один кифарист... Да, и плавленные сырки с Чижик-Пыжиками бывают всякие...

Но пока я имею в виду только «реальных», значительных, важных исторических персонажей: царей, вождей, героев, генералов, политиков, Иванов Сусаниных и др. и пр., так или иначе, заметно повлиявших на ход исторического процесса мирового, отечественного или хотя бы районного масштаба.

Всяких петров, екатерин, павлов, ермаков, заруцких и колумбов, каляевых и столыпинных...

И ближе к нам: совсем уже малосимпатичных лениных, троцких, иосифвиссарионовичей, дзержинских, кировых, молотовых и никитсергеевичей.

Впрочем, и совсем простые, незначительные, вроде нас с вами, люди, в крайнем пределе, конечно, могут иметь для самого факта развития жизни определенное и даже, может быть, решающее значение... Но таким памятников не ставят. Мы – вне истории.

Поэтому пока остановимся на «важных».

Вообразите сами: будь на их месте какие-нибудь другие люди, или если б сами они (те, которые были, которым памятники) сделали бы что-нибудь не так, как они сделали, или хотя бы не совсем так, история (наша, личная!) могла бы пойти хоть чуть-чуть, но другим путем...

А это исторически незаметное «чуть-чуть» для отдельного, частного человека может оказать-ся вопросом жизни и смерти – по крайней мере...

То есть «быть или не быть?» ...Категорически!

Или Зимний дворец (от которого у нас, как от печки, долго принято было плясать – хоть в ту, хоть в другую сторону), днем раньше или позже взяли бы, или не те бы взяли...

Или и вовсе государь не подписал бы отречения... Или, или...

А еще Смольный институт...

...Или бронзовый Ильич со товарищи прибыл бы в немецком запечатанном вагоне неделей раньше или неделей позже, и был бы в качестве шпиона и агента задержан пусть и временным, но правительством... Или в другом составе они прибыли бы...

Или столыпинское переселение народов чуть-раньше или чуть позже бы началось, или если бы Великий князь Василий (Очень темный!) в татарский бы плен не попал, или еще чего-нибудь, иногда мелкое и несуразное – которым нет числа.

Или (вот было бы, кажется, хорошо!) мировой войны вообще бы не было...

...А еще у нас была коллективизация, индустриализация, переселения народов, магнитка с целиной, ликбез с политпросветом, укрупнение деревень и колхозов, строительство и ликвидация больших и маленьких промпредприятий и др. и пр. Чего только не было.

И во всем этом так или иначе всякие «памятники» участвовали...

И все это так или иначе влияло на судьбы и жизнь людей (всех-всех!), на их повседневную деятельность, передвижение по стране, «круг знакомств» и так далее...

И побреди наша история совсем-совсем немного другим путем (просто паровоз, пароход или всенародный самосвал какой-нибудь минут на двадцать нечаянно опоздал), наши мама с папой могли бы просто не встретиться или как-нибудь по-другому встретиться: откуда бы мы (все-все!) тогда бы и на свете взялись?

Стечение обстоятельств...

Вместо нас просто были бы какие-то совсем другие люди.

Возможно, они могли бы быть и лучше и талантливее и даже (страшно вымолвить!) счастливей нас, но это уже другой вопрос...

Все просто.

Одни ученые мужи оценивают вероятность появления на свет конкретной человеческой особи как 10^{-6} , другие – как 10^{-8} , 10^{-10} , и так далее... То есть, в любом случае, вероятность рождения конкретного индивидуума, единственного и неповторимого, тебя, меня, его и так далее – просто исчезающе мала...

А рассыпающийся в своих бесконечных подробностях наш тварный мир един, и все в нем необходимо и неумолимо связано и взаимосвязано.

О Божием Промысле мы сейчас не говорим: это слишком важный вопрос, но для нас, в сущности, малопостижимый...

Хотя многие страшно любят его по-своему толковать и на него ссылаться... *Как они это понимают...*

Или – как научили...

И выходит, что все мы не только «дети», наследники, но и, простите, «продукты» того, что было.

И случись что-нибудь не так, и окажись кто-нибудь другой на наших политико-исторических «памятниках», вместо нас (уж какие есть) о сносе или несносе этих самых памятников рассуждали бы (или не рассуждали бы) теперь не мы, а какие-нибудь совершенно другие люди...

И выходит, что к памятникам (безотносительно от нашего личного отношения к поминаемой личности) следует относиться уважительно или хотя бы терпимо... А то – где бы мы сами были?

Хорошие или плохие, но это неминуемо: «памятники» – свои. Даже если они откровенные чужестранцы.

Правда, мы, захваченные нашими либеральными, или монархическими, или анархическими, или какими-то другими теориями, обо всем этом не склонны думать. Нам привычнее судить – с высоты нашей сегодняшней и сиюминутной исторической добродетельности...

И не только великие герои, но и некрасивые, нечестные, недобрые и всякие другие вожди, прошлые, настоящие и будущие тоже («памятники») суть составные человечества и продукты нашего народа и нашей исторической жизни...

Так что памятники (какие ни есть!) заслуживают все же уважения...

Личное

Когда-то я работал на улице Казакова. Там располагались тогда некоторые предприятия или, как их тогда называли, «конторы» великого и могучего Мосгаза.

И, получив там зарплату, я, случалось, выходил через Курский вокзал на Земляной вал. Иногда шел бродить.

Помню, однажды была несвежая погода, зима, все серое, грязный снег, лужи... Однако получил зарплату и пошел бродить. Присел на лавочке в скверике возле какого-то бактериально-вирусного института, где была когда-то Александровская, а еще раньше Полицейская больница в Казенном переулке, напротив памятника доктору Гаазу...

Смотрел на памятник, умилялся, смягчался сердцем.

Надпись читал: «Спешите делать добро».

А потом мне показалось, что бюст неровный какой-то, большой лоб и большой нос Федора Петровича как будто из папье-маше вылеплены... Чем-то замазан, выпачкан памятник.

Подожел, в самом деле. Грязь какая-то на докторе Гаазе.

Что делать?

Достал нож, попытался очистить.

Не получается.

К тому же постамент высок и скользит, я не достаю.

Брожу с ножом вокруг памятника ищу что-нибудь подложить, чтобы повыше стать... Жалко же доктора (Святого доктора!), за что его так...

Ничего не нахожу.

В это время худенькая женщина в халате, служащая или научный работник, вышла из этого самого института:

– Что вы делаете!.. Бросьте! И не старайтесь!.. Мы уже все, что можно пробовали. Ничего не очищается...

– Да кто ж это его так?

– Молодые люди какие-то... Ведро краски ему на голову вылили и подожгли...

...И охватил меня праведный гнев и возмущение...

В самом деле, откровенное негодяйство, невежество и неблагодарность. Ни над чем-нибудь, ни над кем-нибудь – над памятником доктору Гаазу так надругаться, что никто и очистить не может!..

Так оскорбить, так выпачкать... И кого? Доктора! Федор Петровича! Главного попечителя тюремных больниц... Святого доктора!..

Доктора Гааза, которого не только царь и Святитель Филарет любили и почитали, но и всякая московская и немосквская шпана и каторга...

И долго я так возмущался, и в умную мою голову даже не пришло, что доктор Фридрих Ио-зеф, по-нашему Федор Петрович Гааз, этих малолетних дураков, разумеется, просто простил бы, а случись с ними беда, еще и постарался бы избавить от всякого полицейского преследования, праведного гнева и, особенно, от моего благородного возмущения и негодования...

Александр МАРКОВ, Оксана ШТАЙН

ПОЛИМЕРНЫЙ ВЕК: ХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ 1980–1990-Х

Поиск имени для безвременья

Как назвать эпоху, которая не уместалась в рамки? Период, начавшийся в душевных кухнях «второй культуры» застоя, легитимированный с появлением рок-клубов и допущением «экспериментальных постановок», вырвавшийся на свет в перестроечном карнавале и обрушившийся в хаос и свободу 90-х? «Поздний СССР» – слишком политично и безлико. «Постсоветское» – определяет себя лишь через отрицание предшественника. «Бронзовый век», по аналогии с Серебряным, – соблазнительно, но неверно.

Понятие «Бронзовый век» может быть правильным и уместным, но его ареал строго ограничен. Оно применимо к тем явлениям, что работали с переплавкой классического наследия, создавая новые, но монолитные и веско-материальные формы. В литературе – это роман-лабиринт «Пушкинский дом» Андрея Битова или поэма-антимистерия «Москва – Петушки» Венедикта Ерофеева. Здесь плоть текста – переосмысленная, но узнаваемая плоть классической традиции Золотого и Серебряного века, словно отлитая в бронзу – тяжеловесная, с осязаемой патиной мифа и вечной темой. В живописи – это, например, метафизика Дмитрия Краснопевцева или медитативность Ильи Табенкина. Их натюрморты и сцены – не сиюминутные впечатления, а застывшие, вневременные артефакты. У них есть та самая бронзовая фактура – холодный блеск загадки и матовость утраченного, но вечного смысла.

Однако «бронза» бессильна там, где искусство не отливают, а собирают, не чеканят, а синтезируют. Культовые герои времени творили из лома, шума, пленки и нервных импульсов. Их мир был не литым, а склеенным, спаянным, синтезированным.

Его имя – Полимерный Век.

Это не просто удачная метафора, а ключ к пониманию самой сути явления. Полимер – длинная цепь, где звенья, мономеры, соединяются в нечто новое, обладающее иными свойствами. Такова была культура этих лет: она собиралась из обломков идеологии, осколков мировой культуры, языков разных искусств и технических знаний в причудливые, прочные и в то же время хрупкие конструкции.

Химия духа: Почему «полимер»?

Отсылка к «полимеру» работает на нескольких уровнях, создавая плотную семантическую сеть.

В отличие от гуманитарной интеллигенции пятидесятых, шестидесятых и семидесятых, выпускников ИФЛИ (Твардовский) или Литинститута (Юрий Трифонов), герои 80-х часто вышли из технических вузов. Борис Гребенщиков¹ – математик, Сергей Курехин – музыкант с физико-математическим бэкграундом, Илья Кормильцев – химик. Их мышление было не системно-критическим, как у предшественников, а синтезирующим. Они видели мир не как текст и кон-

¹ Внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов

текст, а как структуру, которую можно разобрать и собрать заново, создав новый гибрид. Курехин с его «Поп-механикой» – идеальный пример: он собирал музыкальные коллажи из джаза, рока, академической музыки и шумов, как химик проводит реакцию.

Русский рок – квинтэссенция Полимерного Века – был по своей сути полифоничен. Это не только гармонии БГ, но и наложение языков: высокого поэтического (песни Кормильцева для «Наутилуса») и уличного жаргона («ГрОб» Летова), мифологических образов и советского быта. Это было полиглотство в широком смысле: Виктор Цой говорил на языке кинематографа и рок-н-ролла, Башлачев – на языке русской притчи и фольклора, а Дмитрий Дибров в «Антропологии» – на языке телевизионного эпатажа и интеллектуальной игры.

Искусство Полимерного Века не брезговало «низкими» материалами. Оно было целлюлозным, прямо с целлюлозно-бумажного комбината: самиздатовские книжки на ксероксе, машинописные журналы, дешевая бумага перестроечных газет. Оно было магнитофонным: культура жила на пленках, которые тиражировались с неизбежными помехами, создавая особый, «шумовой» аудиоландшафт. Оно было пленочным: кинематограф нового арт-хауса работал с грубой, тактильной фактурой жизни. Это был мир не мрамора и бронзы, а поливинилхлорида, магнитной окиси и целлюлозы.

Алексей Балабанов – полимер бракованной игрушки, собранной из обломков мифов 90-х. Его камера не снимает, а словно сплавляет в единый, липкий и агрессивный ком уличный жаргон, блатной фольклор, обломки советской идеологии и шок от новой реальности. Фильмы «Брат» или «Про уродов и людей» – это не повествования, а тактильные слепки времени, отлитые из грубой, ядовитой, но невероятно прочной пластмассы массовых надежд и разочарований.

Александр Сокуров – полимер светоносной пленки, на которую проецируются призраки истории. Его интересовала не фактура распада, как у Балабанова, а сам процесс трансмутации материи – временной, физической, духовной. В его «Молохе» или «Тельце» исторические фигуры и простые люди подвергаются своеобразному химическому воздействию, теряя плотность и превращаясь в полупрозрачные образы, в полимерные цепи памяти и скорби, сотканые из света, тлена и вечности.

Кира Муратова – полимер гротескного коллажа, собранный из криков, абсурда и ключев повседневно. Ее метод – не сплав, а нагромождение, доведенное до виртуозности. Она склеивала в одном кадре высокую драму и площадной базар, физиологичность и поэзию, создавая непредсказуемые и прочные химические соединения. Ее фильмы – это кинематографические полимеры с неповторимой, шершавой фактурой, где каждая сцена – это новый виток абсурдной, но неумолимой реакции распада и нового синтеза человеческих отношений.

Песня Егора Летова «Моя оборона» (с ее культовой строкой «Пластмассовый мир победил») – это не просто констатация, а сложная, поэтическая реакция на эту победу. Это не запоздалый манифест Полимерного Века, а его диагноз и боль. Но именно в этой пластичности, в этой искусственности и заключалась и его сила. Это был мир, который уже не верил в «естественное» и «вечное», а потому мог лепить себя из чего угодно. Полимерный Век принял вызов «пластмассовости» и попытался создать из нее новую красоту.

Текст «Моей обороны» – это и есть звучащий полимер: состояние осознания, отчаяния и поиска новой, парадоксальной защиты внутри самого этого «пластмассового» мира. Он соткан из обреченных, почти детских образов – «последний кораблик», «фонарик», «траурный мячик», «солнечный зайчик» – которые сталкиваются с бездушными, синтетическими понятиями «пластмассовый мир» и «макет». Эта намеренная стыковка разнородных материалов – хрупкой лирики и агрессивной искусственности – и рождает ту самую прочную, хоть и отчаянную, «оборону». Летов не просто констатирует поражение; он создает из обломков искренности и натиска фальши новый гибридный язык, новый способ чувствовать и выживать. Это не капитуляция, а стратегия сопротивления, построенная на принятии условий новой, синтетической реальности, чтобы найти в ее же материале точки опоры для отталкивания. Именно этот сложный, неоднозначный жест

– не бегство от «пластмассы», а попытка создать из нее новую поэзию и новую правду – и делает Летова ключевой фигурой Полимерного Века.

Лица Полимерного Века: Культовые мономеры и великие проводники

Главные герои эпохи – не систематизаторы, а катализаторы, провокаторы синтеза.

Сергей Курехин – Архитектор Хаоса. Его проект «Поп-механика» был живой моделью Полимерного Века: академический скрипач, джазовый саксофонист, рок-гитарист и перкуSSIONИСТ, выбивающий ритм по кастрюлям, существовали в одном пространстве, создавая новую, непредсказуемую полимерную цепь звука.

Александр Башлачев – Поэтический Катализатор. Он не просто пел стихи под гитару. Он сплавил в единое целое язык русской деревни, рок-н-рольный драйв, фольклорную образность и экзистенциальную ярость. Его песни – это короткие, прочные и идеальные полимерные молекулы, до сих пор встроенные в культурный код.

Илья Кормильцев – Интеллектуальный Реактив. Как химик по образованию и главный идеолог «Наутилус Помпилиус», он проводил самые сложные реакции, соединяя мировую провокационную философию (Кастанеда, Юнг) с советской реальностью, создавая мощные лирические сплавы, которые становились гимнами целого поколения («Скованные одной цепью»).

Борис Рыжий – Поздний, Трагический Мономер. Поэт, пришедший на излете эпохи, он – продукт ее распада. Его стихи – это трещины на когда-то прочном полимере, свидетельство того, как синтезированная реальность начинает крошиться под давлением нового времени.

Но будет ошибочно представлять Полимерный Век как явление исключительно маргинальное или молодежное. Его энергия синтеза, полифонии и деконструкции оказалась настолько мощной, что втянула в свою орбиту и переосмыслила творчество маститых мастеров, чей путь начался в иных, часто строго канонических системах. Они стали *проводниками*, через которых дух времени проникал в, казалось бы, герметичные миры классической музыки, академической филологии и станковой живописи.

Святослав Рихтер с его легендарными «Декабрьскими вечерами» в ГМИИ им. Пушкина совершил тихую революцию. Он порвал с гедонистическим потреблением музыкальной культуры, угодением публике, требующей играть на бис, – и превратил академический концерт из ритуала слушания музыки в тотальный перформанс, где музыка, живопись, пространство музея и сценографически выстроенный свет сливались в единое полимерное целое. Это был жест куратора современного искусства, а не просто пианиста. Владимир Спиваков, переняв эстафету, демонстрировал ту же гибкость, работая на стыке высокого академизма и телевизионной популярности, что тоже было признаком новой, полимерной эпохи, стиравшей жесткие границы между элитарным и массовым.

Творческий союз Родиона Щедрина и Майи Плисецкой в Полимерном Веке эволюционировал. Их балеты-сюиты («Чайка», 1980; «Дама с собачкой», 1985) – не классические повествовательные полотна, а скорее хореографические ассамбляжи. Они собирались из ярких, почти автономных номеров-образов, где музыка, пластический жест и сценография существовали на равных. Это был отход от «большого стиля» в сторону мозаики, коллажа, где целое рождалось из сопряжения разнородных, но сверхвыразительных фрагментов – чистейший принцип полимерного искусства.

Анатолий Зверев, всегда бывший «вне систем», в поздний период интуитивно вышел к созданию собственной визуальной теории. Его стремительные, экспрессивные линии и пятна цвета – это не просто портреты или пейзажи; это исследование самой природы энергии, материи и акта творения. Его тексты (пусть и сбивчивые) и его метод работы напрямую перекликались с поисками художников-акционистов, концептуалистов и неоэкспрессионистов и теоретиков современно-

го искусства на Западе. Он был «диким» полимером, русским Поллоком, возникшим в советской среде естественным, почти химическим путем.

В филологии произошел, возможно, самый радикальный сдвиг. Михаил Гаспаров, великий антиковед и структуралист, в «Записях и выписках» предстает филологом-постмодернистом. Книга построена как интеллектуальный блог эпохи до интернета: фрагменты, анекдоты, цитаты, личные наблюдения складываются в полифоничный и глубоко личный образ мысли. Его же детская «Занимательная Греция» – это демонтаж академического нарратива и сборка нового, доступного и при этом сложносочиненного культурного конструктора.

Сергей Аверинцев и Ольга Седакова совершили иной синтез. Они не продолжали Серебряный век, а переплавили его опыт в горниле Катастрофы (Холокоста) и позднесоветского опыта. Их богословие и поэзия – не неосимволизм, а поиск языка для говорения о Боге после лагерей смерти. Это полимер, в молекулу которого встроены осколки разбитой европейской гуманистической традиции, патристики и личной экзистенциальной ответственности.

Владимир Биbihин – ключевая фигура для понимания метафизики Полимерного Века. Взяв у Хайдеггера идею «просвета бытия», он пошел дальше, к философии «леса». Лес – идеальная метафора полимерной структуры: это бесконечное переплетение самостоятельных, но связанных в единую экосистему существ (деревьев, троп, звуков, световых лучей). Его мышление – не выстраивание линейной системы, а навигация по ризоме, прислушивание к множественным головам бытия. Это философское обоснование полифонии, которое делает его прямым союзником Курехина в музыке и Летова в поэзии, хоть и на ином языке.

Людмила Петрушевская работает с языком как с синтетическим материалом, сплавляя высокую литературную речь с советским канцеляритом, уличным жаргоном и сбивчивым, скомканным монологом захлебывающегося сознания. Ее герои – это «люди из подполья» позднесоветской и постсоветской реальности, чья жизнь собрана из обрывков идеологем, бытового абсурда и невыносимой правды. Сама фактура ее текстов – колючая, пористая, составленная из обломков чужой речи, – это чистейший литературный полимер. А ее поздние абсурдистские опыты в жанре сказки и детектива («Дикие животные сказки», 2003; «Нас украли», 2017) и вовсе представляют собой прямой монтаж, ассамбляж из архетипов, страхов и комических ужасов современности, где биологическое и социальное, реальное и мистическое соединены в причудливые, но прочные цепи. Петрушевская не описывает распад – она лепит из его осколков новую, пугающе достоверную форму жизни.

В московском театре дух Полимерного Века нашел своих самых виртуозных и эффектных проводников в лице, например, Марка Захарова и Романа Виктюка. Если Захаров на сцене «Ленкома» создавал масштабные театральные полимеры, где историко-революционный миф сплавлялся с рок-оперной энергетикой, цирковым зрелищем и кинематографическим монтажом («Юнона и Авось», «Поминальная молитва»), то Виктюк был мастером интимной, но взрывной полимеризации. Его спектакли – химические реакции на грани этического и эстетического взрыва, где классический текст, доведенный до пароксизма телесности и чувственности, обретал новую, синтетическую природу («Служанки», «Мастер и Маргарита»). Оба режиссера, каждый по-своему, отвергали металлическую монолитность традиционного театра, собирая свои шедевры из разнородных, часто антагонистичных материалов: высокой поэзии и низкого гротеска, мистического откровения и откровенной плоти, создавая тем самым прочный и эластичный сплав, который и стал визитной карточкой театральной эпохи 80-х и 90-х. Мы не будем перечислять театры в других городах, например, глазовский «Парафраз» или театр Коляды; существенно, что театральная культура полимерна и сейчас.

Особое, скандально-блестящее место в Пантеоне Полимерного Века занимает феномен Жанны Агузаровой, своего рода инопланетного двойника Аллы Пугачевой. Если герои андеграунда творили из грубых, подручных материалов – шума, социального протеста, экзистенциальной боли, – то Агузарова стала мастером гламурного полимера. Ее искусство было тотальным пер-

формансом, собранным из самых неожиданных и ярких обломков мировой культуры: голос, стилизованный под джазовых див 30-х, костюмы, отсылающие то к голливудским звездам, то к советскому агитпропу, то к образам инопланетян, и мелодии, синтезировавшие диско, рок-н-ролл и нью-вейв. Она не просто пела песни – она создавала сверхъестественный культурный гибрид, где не было границы между высоким и низким, своим и чужим, искренним и откровенно бутафорским. В ее образе «пластмассовый мир» не хоронил последние кораблики, как у Летова, а становился бесконечным источником для игры, маскарада и наслаждения собственной искусственностью. Агузарова доказала, что полимерность – это не только удел «сурового стиля», но и язык поп-культуры, способный с невероятной легкостью и иронией переплавлять любое наследие в хит, который одновременно был и блестящей пустышкой, и гениальным высказыванием.

Все эти и многие другие «пограничники» демонстрируют, что Полимерный Век был не стилем, а методом и мироощущением. Он захватывал самые разные области, предлагая универсальный ключ – сборку целого из гетерогенных частей, принятие хаоса как творческой среды и поиск истины не в чистоте, а в сложных, синтетических соединениях. Они доказали, что полимерность – это не удел андеграунда, а единственно возможный способ выживания и развития культуры в эпоху тотального слома и пересборки.

Почему мировой прорыв не состоялся?

Полимерный Век был невероятно богат на культовые фигуры и явления. У него были свои медиа: гламурно-анархичный журнал «Птюч», интеллектуальная дибровская «Антропология» с приглашением множества гостей – от бывшей жены Эдуарда Лимонова Наталии Медведевой до группы «Колибри», рок-пресса и публикации в ведущих изданиях страны. Почему же эта мощная волна не вынесла русскую культуру на новый мировой уровень, как это случилось, скажем, с японским кинематографом или латиноамериканской литературой?

Энергия Полимерного Века была направлена не на завоевание внешнего культурного пространства, а вглубь, на тотальное самоисследование и взламывание собственного кода. Это была культура глубоко автобиографичной рефлексии, завязанной на сверхлокальном и сверхличном контексте. Даже самые яростно-грубые песни Егора Летова были шифром, понятным поколению, переживавшему экзистенциальный коллапс большой Империи. Фильмы Балабанова были не просто «криминальной драмой», а шершавым, тактильным слепком травмы человека, внезапно оказавшегося в мире дикого капитализма. Тексты Кормильцева для «Наутилуса» – не универсальные философские трактаты, а сложная система исповедальных мифологических отсылок и образов, рожденных на шахматной доске позднесоветского идеологического распада. Это был разговор с самим собой у зеркала, услышанный всей страной, но оставшийся малопонятным для внешнего наблюдателя.

Шестидесятиничество, при всех внутренних расприх, было в определенном смысле единым проектом: проектом возвращения к «ленинским нормам», гуманистическим идеалам, лозунгом «социализма с человеческим лицом». Полимерный Век не был проектом. Он был стихийным процессом, реакцией на то, что никакого общего проекта больше не существует. Между авангардным карнавалом Сергея Курехина в Ленинграде, дзен-интеллектуализмом БГ, сибирским яростным панком Егора Летова и уральским надрывным трагизмом Бориса Рыжего лежали не просто художественные различия, а целые мировоззренческие пропасти. Они не составляли единого направления или школы; это был архипелаг одиноких голосов, каждый из которых кричал о своей правде. Такой разрозненный, полицентричный ландшафт было невозможно «упаковать» и презентовать миру в качестве целостного явления, подобного французской «новой волне».

Эпоха менялась слишком стремительно. То, что было актуальным в 1987-м, устаревало к 1993-му. Культура не успевала «улежаться», оформиться в канон, который можно было бы пре-

зентовать. Мир успел узнать и присвоить Тарковского, чье творчество пришлось на относительно стабильные застойные десятилетия и было вписано в контекст «авторского кино». Но он не успел «прочитать» Сокурова, который как раз в 90-е выходил на пик своей формы («Молох», «Телец»), – мир был слишком занят осмыслением геополитического землетрясения, вызванного распадом СССР, чтобы разглядеть тончайшие философские притчи, рождавшиеся в его эпицентре. Искусство создавалось в момент цунами, и его трудно было рассмотреть сквозь пенные брызги.

Наконец, у культуры Полимерного Века катастрофически не хватало медиаторов, способных перевести ее на международный язык. Не было системы продюсеров, арт-менеджеров, дистрибьюторов, кураторов, работающих на глобальном уровне. Пока мир с интересом вглядывался в «новую Европу» – кинематограф Польши, Чехии, Венгрии, – русская культура 90-х боролась не за экспансию, а за физическое выживание. Фильмы снимались на голом энтузиазме (и многие из них не сохранились), альбомы записывались в подпольных студиях и тиражировались на кассетах, художники были предоставлены сами себе. В результате гениальные, но абсолютно «неупакованные» артефакты просто не доходили до западного зрителя и критика, оставаясь достоянием внутреннего, хотя и массового, потребления. Эпоха не сумела найти прочной пластиковой упаковки для своего небывалого, но хрупкого и несистемного содержимого.

Полимерный Век не закончился с приходом нулевых. Он распался, как распадается полимерная цепь, но его мономеры вошли в состав новой культурной материи. «Брат» – Данила Багров – стал мифом. Песни Цоя и Летова звучат в наушниках первокурсников. Эстетика «Поп-механики» просвечивает в современных мультимедийных проектах. Поэзия Рыжего переиздается и цитируется.

Он не стал «золотым» или «серебряным» – он был пластмассовым, целлулоидным, магнитным. Он был собран на коленке из того, что было под рукой, – из обломков утопии и оберток новой жизни. И в этой своей вторичности, синтетичности и отчаянной попытке создать новое из хлама он, возможно, был самой честной и пронзительной эпохой в русской культуре XX века. Полимерный Век не победил. Он просто был. И его химический след до сих пор жжет нам ладони.

Сергей МОРЕЙНО

КУДА ИДЕМ МЫ С ПЯТАЧКОМ

Безпристрастие – последнее убежище достоинства неудачника.
Григорій Ландау, «Эпиграфы»

They Walked Like Men

К чему в распадающемся сочленении времен говорить о текстах, о переводах? Я сказал бы, что тексты предоставляют перевязочный материал для надломанных тектонических плит эпохи, а переводы сшивают эти плиты, *сшивая оба пола сего времени* как умеют. Переводчик – «закройщик тектонических швов» (N. Petrauskienė). Звучит претензией на игривость; но, употребляя термин «игра», я думаю не о вошедших в моду «играх в литературу» или «играх с литературой», а об игре читателя «в себя». Если достигнуто некое единение автора с текстом, то – «в меня, в него».

Страшное слово cancelling для русского глаза созвучно слову selling. В какой-то не самой случайной проекции это вообще одно и то же. Значит, принципиальной новизны в «отмене» – разве лишь скорость. Прежде для того, чтобы двинуться в поход, требовалось поэтапно оповестить всю королевскую рать – нынче целую рать можно спустить с цепи «по проводам». Но быстрота перемен является как сильной, так и слабой стороной катка репрессий. Если всеобщую грамотность счесть за одну из угроз высокой культуре, поскольку массовый обыватель начинает голосовать рублем за снижение планки, всеобщая промывка мозгов лишает последнего способности голосовать – лучший шанс начать все заново.

Латышский классик Эдварт Вирза, которого я отношу к представителям «национального романтизма» в литературе, издал в начале тридцатых роман-поэму «Страумени» (или «Год жизни старого земгальского дома»). Это традиционные 4-частные «Времена года» с нулевой частью – предисловием, в котором 5 главок, но реальные люди, хозяева хутора Straumēni, появляются лишь к концу первой главки. К тому моменту, как они начнут проступать из послеполюденной дымки, абстрактные рассуждения о природе и месте человека в ней уже подготовят текстуальные одеяния для хозяина и его домашних (и, в общем, батраков), будто литьевые формы, куда душевная материя хуторян вот-вот вступит, отвердеет, и они встанут и заговорят звучными голосами на своем все еще языческом языке.

Эффект достигается мастерским использованием латышской фразы, распределением в ней логических ударений, особенной музыкой дифтонгов (двугласных) и долгих гласных, подчиненной художественному обслуживанию латышского микрокосма. Если читать поэму пристально, может возникнуть смертельное ощущение тупика, откуда и весь языческий круговорот не в силах вывести человека – даже если тот посещает лютеранскую церковь! Пылкий борец за независимость Латвии, Вирза тем не менее фактически предсказал падение национального государства. Более того, в стихотворении «Страшное лето» (апрель 1939) он еще раз подвел черту под бегом привычного годового круга (буквально: *радость в Янову ночь не придет как ни зови*). Когда видишь попытки нынешних литераторов приписать Вирзе предчувствие советских танков на рижской брусчатке, делается грустно-смешно. Прежде всего он предвидел свою смерть (март 1940). Далее – хотя Вирза и не входил в группу Trauksme («Тревога», наиболее известен Александр Чак), он безусловно был «тревожен», а интербеллум в целом, длящийся как таковой дольше века и

никак не желающих окончиться, будет все-таки посильнее, чем «Фауст» Гете и превращение ЛР в ЛССР и обратно. Да, конечно, магия текста – танки вошли за неделю до Ligo (аналог праздника Ивана Купалы).

В немецком переводе Straumēni Бертольда Форсмана, специалиста, как он утверждает, по странам Балтии, ничего этого нет. Есть то, что обещано Википедией: символизм, пасторальность. Когда возникают люди, то видятся мне статуями в пейзаже срединной Латвии. Точно так же они и уходят со сцены – некие античные летты. Долгое время я грешил на непонимание Форсманом глубинного латышского (что неудивительно – он осуществляет заверенные переводы с исландского, шведского, эстонского и латышского... издавая учебники по грамматике этих языков). Потом я, кажется, нашел другую причину. Он работает в новой парадигме чтения. Сегодня чтение стало фоновым – в телефонах между ретвитами, стало слушанием – в наушниках на прогулке, а сам текст воспринимается как набросок сценария для RPG. Почтенный Толкиен – реши кто-либо поиграть во «Властелина колец», – требовал обеспечения мечами и мантиями, изучения эльфийского etc. А тут достаточно канвы, минусовки – «Я в предлагаемых обстоятельствах».

Писатели ведут свою игру. Водолазкин вовсе не жаждет, чтобы читатель поверил в Дневник Исидора Чагина. Юзефович никого не старается убедить в том, что «записки Б. А. Солодовникова обнаружены нами в фондах Института восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге, в личном архиве». В «Тоннеле» Яны Вагнер девочка с заднего сиденья маленькой тойоты заглядывается на платье и украшения женщины в высоком порше. На Данилова не пожалею абзаца:

Сережа сидит в зале суда. Да, это суд. Зал суда весьма комфортабелен. У одной из стен зала расположен основательный стол, у стола – три высоких пустых кресла, над креслами герб – сложная комбинация кругов, треугольников, шестеренок и молотов и раскрытая книга с буквами «альфа» и «бета». Удобные кресла (не кожаные, конечно, но будто кожаные). Кулеры с водой. Тихо работает кондиционер. Сережа растерянно мнетя у входа.

Раз Сережа мнетя у входа, как он отличает козам от кожи? Никак – то есть отличает автор. Ну да – это же кино, которое автор снимает. Но к чему тогда слово «конечно»? Выходит, автор еще и режиссер. Отсюда и далее я не верю в пулемет Сашу. Но Данилову и не нужно. Главное, я могу поиграть в Сережу!

Вопрос, в связи с которым пишу, о судьбе русскоязычного писательства, – к кому мы пойдем, захотят ли те, к кому мы придем, поиграть с нами, поиграть в нас? – трансформируется в проблему ребенка в песочнице: внешний (он же взрослый, отсеченный квадратом песочницы) мир в процессе очередного распада, а я тут с ведерком, мячом, игрушечным пистолетом... Я живу в Латвии и пишу на русском и на латышском; у меня, очевидно, большой выбор игрушек. Но к моей песочнице никто не приближается: не радуют? Мои мосты сожжены, моя таможня сторела. Так себе Верещагин – без пулемета, зато с гранатами не той системы.

All Flesh Is Grass

«Песочница», в силу компьютерных ассоциаций (или наоборот), – безопасная площадка. Но располагаются писательские песочницы в полях угроз. Чаще всего это нефизические угрозы. Их поля имеют самый широкий охват, они незаметны постороннему глазу и надолго оставляют свой радиационный след. Таково, к примеру, поле организованного литературного процесса, по-немецки Literaturbetrieb. Премии, стипендии, резиденции, господдержка, издательские программы, интерес блогеров. С начала века в ряде знакомых мне стран поле Literaturbetrieb из комплекса неформальной поддержки авторов мутировало в жесткий механизм управления творчеством. Повестка, цензура и деньги сосредотачиваются в одних руках. В маленьких однополярных обществах данное поле едва не стало инструментом зомбирования – иначе как русскоязычный писатель Эстонии всего за четыре года умудрялся перейти от раскованно-европейской к ущемленно-провинциальной стилистике?

В Польше, стране среднего размера, копирование немецкого образца привело к разложению литературной среды по лагерям (лагерь по-польски obóz, «обоз»). Помню, недоумевал: не слишком яркий имитатор получает приз за призом. Позже сообразил – имитирует сумасшествие, обыгрывая психическое наследие польско-украинского национализма. И «тем любезен я, и этим»; ни правым, ни левым не опасен, поскольку псевдопсих не способен быть правым или левым. Зато натуральный непсих вынужден придерживаться группового (партийного) регламента, не то он будет отлучен от практически бесперебойной (Polska поощряет искусства!) кормушки. Прочитавшую поистине яркого поэта и редактора, бывшего «правого», за заслуги успешно перемещенного в «нейтральные», что редкость:

...Gdy czytam większość wspomnianej produkcji poetyckiej polskich poetów i poetek współczesnych, odnoszę wrażenie, że oni są tacy gładcy i przeuczeni, że nie ma w tym, co piszą, szaleństwa. Nie ma ryzyka. Są obli – o, właśnie tak – obli. (...Впечатление, что такие они гладкие и выученные, что нет в том, что пишут, безумия. Нет риска. Они зализанные – о, именно так – зализанные.)

В какой мере наблюдение относимо к русской поэтике? Ее, похоже, не удалось отрезать от европейской, да и сама она, видимо, не изолировалась от глобальных недугов. Среди заболеваний – фактический запрет на высказывание без моральной подоплеки. Поэтические «за» и «против» с некоторых пор нуждаются в объяснениях: почему? Чистая любовь и чистая ненависть, как класс высказываний, интенсивно вымирают. Их элементарно нельзя продать. Лирическое «Я» более не востребовано; его декларация может, в нарушение принципа инклюзивности, задеть «Другого». А ведь художник обязательно что-нибудь продает, какой-то особый мир, атмосферу, ауру. Толстой – российский универсум, Достоевский – Петербург Достоевского, Стругацкие – мир Полудня. Без Mehrwert, добавочной стоимости, даже неприязнь к Родине (или к какой иной стране) не впарить. «Вечная мерзлота» Виктора Ремизова, сумевшая, в блистательном переводе Франциски Цверг, пробить стену официальной русофобии, продает ни много ни мало реку Енисей – то, чего у немцев с их недисциплинированным, но романтично-рыцарским Рейном попросту нету.

Сам по себе роман строит нехитрую, но забывшуюся ситуацию: далекий деспот – и близкий демиург Енисей, податель жизни и смерти. Перевод предложил игру-довесок, в нем убедительно удалось отразить типично русскую цепочку именовании одной особы: Александр Александрович – Александр – Сан Саныч – Саша – Сашенька. В рамках чтения, совмещенного с раздумьями о себе любимом, читатель разнообразит обращение к собственной персоне.

Положение латвийского латышского писателя сейчас еще незавиднее моего. Марсианские его игрушки – без внятных нам кнопок. Чтобы чуждые кнопки не раздражали, батарейки вынуты (имею в виду слоган литературной рекламной кампании I am introvert). Ни космоса, ни души, ни даже текста он не продаст, как польский фермер не продаст колбасы немецкому бургеру. Только ссылку, лейбл, под который, сказали бы братья Стругацкие, «занаряжены издательские площади» евросоюзного интереса. В принципе, английский перевод латышской книги нетрудно сгенерировать опытной нейросетью; она умело вставит в текст Ригу, Даугаву, стрелков, депортации, «гаснет день, стихает в кронах ветер, траву долу клонит тяжким сном». Но latviskums – латышскость – модель Вирзы и братьев Каудзите... скрипач не нужен, дядя Вова! Тексту неостанет человечности, скорее всего – однако уже сформировался читатель, обходящийся имитацией.

Для нас (для него, для меня) настало время проверки. Казалось, проверки уже произведены в девяносто первом, но оказалось, что только казалось. Тогда мы рвались из Ада в Рай (пусть я и не считал СССР пеклом, а то, куда мы рвались, эдемом, но – «пожалуй в такие дни / лучше бежать за ней / куда бы ни повела / даже в реку» (еженедельник МФТИ «За науку», 1991.04.05)). И вот справа ад и слева ад, идешь как по канату. Чем заняться на этом канате – быть внимательным к миру; никто другой, полагаю, этого не сделает.

Обращу внимание на «нервный узел» рецепции многих ценителей поэзии – на стихи о двух войнах – Великой и Великой Отечественной, – не столько о проживании настоящего, насущного, сколько о предощущении будущего, предвосхищении «потом, после».

Даже смерть похожа здесь на яблоко, / Что упало мягко и легко. (Тихонов, 1916 или 1917)

А эта жизнь – плакун-трава / Пред той широкошумной рощей. (Тарковский, 1939)

Про тебя мне шептали кусты / В белоснежных полях под Москвой. (Сурков, 1941-1942)

Двина, твоё утро / бесконечно и царственен / ветер равнин. (Бобровский, 1959 [Die Düna])

В моей, подчеркнут – моей памяти задерживаются строки, отягощенные вниманием к миру. Наверное, я тоже не купил бы ни чистой любви, ни чистой ненависти, но совершенно беспомощен перед чудом полного кольца созерцания: небытие – рождение – жизнь – смерть – – –

Человеческим вниманием, человеческого созерцания; сверхчеловеческое (ср. с tender narrator или czuły narrator [чуткий повествователь], изобретением нобелевской лауреатки 2018/2019) скоро будет в довольной (dowolny на польском означает «любой») форме предложено ИИ.

The Goblin Reservation

Возвращаясь к прошлому. На днях я наткнулся в гостях на худлитовский трехтомник Макса Фриша (1991). По старой памяти вытащил из шкафа средний том. Угадал: «Номо Фабер», перевела Лунгина; «Назову себя Гантенбайн», перевел Апт. Помню, в юности прогрессовский том «Мастеров современной прозы» потряс меня «Гантенбайном», а «Номо Фабер» оставил равнодушным. Пять дней зависания в Паленке с пивом «Юкатека» – эпизод на всю жизнь (когда заканчивается Yucatesca, герои спохватываются: пора встать и ехать). В остальном текст мутен, сер. Я временно потерял вкус к Фришу, недавно продал за восемьдесят евроцентов Stiller в мягкой обложке. Попробовал читать «Номо» – тоскливо. Открыл «Гантенбайна». Заворожил, как сорок пять лет тому. Лучше оригинала; от Апта – ожидаемо, пускай и неожиданно.

Швейцария и Латвия, при общей несравнимости, неуловимо похожи. Гордая остротенность и тоска по мировой культуре. Правда, Латвия из заповедника медленно превращается в резервацию, но это к слову. Я верю, что реакция обратима. Но есть заноза, деталь. Передел влияния после Второй мировой войны и статус нейтральной банковской державы позволил Швейцарии и странам Ostblock переложить вину и ответственность за уничтожение восточноевропейских евреев (равно цыган и прочих национальных меньшинств (поляков!)) на плечи немцев. Теперь новые государства выходят из имперской тени, а Конфедерация теряет нейтральность. Из шкафов вместо книг выпадают до сих пор не истлевшие скелеты, противоречия желанию сыграть в «гутменшей» («добрых людей», см. статью Ф. Цверг в «Словаре культуры XXI века», сост. – И. Сид. М.: Институт перевода, 2022).

В конце пятидесятых – начале шестидесятых историческая оппозиция швейцарец/немец была очень чувствительной. С первых же строк «Номо Фабер» Фриш всеми доступными способами упирает на присутствие рядом с ним, в самолете, в соседнем кресле, молодого немца, который затем окажется братом другого немца, студенческого друга протагониста. «Лучшего» человека, нежели сам Фабер, швейцарец. Более чуткого (он – повесится). Тонка струна, но виртуозен Фриш!

...Und was mich nervös machte, so daß ich nicht sogleich schlief, war nicht die Zeitung, die unsere Stewardess verteilte, First Pictures Of World's Greatest Air Crash In Nevada, eine Neuigkeit, die ich schon am Mittag gelesen hatte, sondern einzig und allein diese Vibration in der stehenden Maschine mit laufenden Motoren – dazu der junge Deutsche neben mir, der mir sogleich auffiel, ich weiß nicht wieso, er fiel auf, wenn er den Mantel auszog...

«...И меня раздражало и мешало мне уснуть не то, что стюардесса разносила газеты – First Pictures of World's Greatest Air Crash, – сообщение об этом я уже прочитал за обедом, – а вибрация машины с запущенными турбинами да еще, пожалуй, мой сосед, молодой немец, которого я сразу приметил, сам не знаю почему; я глядел на него, когда он снимал пальто...» – удивительно, как Лиляанна Лунгина тратит меньше слов, чем это принято (при общепринятом коэффициенте «расширения» ±1,2), не считая нужным правильно ставить слова под логические ударения. Итог:

прекрасный русский текст Лунгиной – необязателен, надоедает даже быстрее, чем сам Фриш с его плотными поисками идентичности и опрозраченными немецким. Лунгина не включается в рассказ, немец так немец – еврейка так еврейка (возлюбленная немца и швейцарца).

Карлсона она тоже не перевела, а пересказала – гениально, *chateau!* Фабер, будучи мужчиной в расцвете сил, не живет на крыше; пересказать-то можно (Апт тоже отчасти пересказывает), но с полной выкладкой, со всей концентрацией внимания. Не вовлеченная Лунгина против начитанного ИИ – 0 : 3. Помещаю без правок:

...И то, что заставляло меня нервничать, так что я не сразу уснул, была не газета, которую раздавала наша стюардесса, «Первые фотографии крупнейшей в мире авиакатастрофы в Неваде», новость, которую я уже читал в полдень, а исключительно эта вибрация в неподвижном самолете с работающими двигателями – плюс молодой немец рядом со мной, который сразу привлек мое внимание, не знаю почему, он привлек мое внимание, когда он снял пальто...

Глиссандо – аккорд – аккорд – фортиссимо – – –

Фриш вакцинирован, вакцина называется «Швейцария» (а есть такой диагноз – «Латвия», да), но неоднократно, он в силах сопротивляться. Вернее – жить, боля. В русской Википедии я прочел о параллелях «между фабулой романа и древнегреческими трагедиями». В немецкой (и, кстати, в польской) также присутствует Эдип, но не он один. Там кем-то сказано: «Таким путем рациональное мировоззрение Фабера раскрывается читателю как механизм вытеснения и стратегия защиты». И: «Таким образом, язык тут – настоящее место происхождения [Tatort]». Фабер (как и Гантенбайн) любовно обороняется от единственной и неповторимой родины, причем язык является маркером упущенной в переводе ноты, ас/дис/сонанса Hochdeutsch – Schwiizerdütsch.

Он сразу заметил, что я швейцарец, стоило мне только в ответ на его фразу на ломаном английском языке заговорить с ним по-немецки.

«Когда я ответил на его плохой английский немецким, он сразу понял, что я швейцарец», – расставляет ударения Google, и он прав. [Er hatte, als ich seinem schwachen Englisch entgegenkam mit Deutsch, sofort gemerkt, dass ich Schweizer bin.]

Бородатый каламбур – Homo legens VS Homo ludens. А Вальдцелль родит семью искусников, играющих в бисер (снова Апт VS немецкий швейцарец). Homo faber, что же дальше? Всеохватности и скорости современных полевых угроз (не вчера возникших: квази-невнимание Лунгиной должно иметь системную причину – наверное, она откуда-то знала, о чем книжка, и работала с этим своим представлением о ней, в то время как Соломон Апт работал с книжкиным текстом, то есть Лунгина действовала в поле заведомых предустановок, вне которых в наше время не происходит почти ничего) – так вот, их скорости и всеохватности противостоит поле творческой природы (творчество полевой природы), поле непрерывной трансляции внимания и личного (вероятного) понимания.

*

Все-таки Латвия – хаб какой-то, пересадочная станция душ, следующих неведомо куда медитивным транзитом. Рижанами были поэты Олег Золотов и Алексей Ивлев (их почти не знают в России); прозаик и редактор Андрей Левкин; гуру Савва Варяжцев; Куннос – просто Юрис Куннос (они – мертвы). В давние времена в Лудзе или в Добеле приземлился корабль инопланетян и прошел локальное пространство кодами выхода за его пределы, в дробные размерности – избавленные от полей-ингибиторов. Правда, автохтонная гопота с района то и дело вваливается в зал ожидания и качает права.

Назову два имени здравствующих, оба выросли в Латвии. Один снимает полевое кино (Роман Михайлов), другой порождает полевую поэзию (Василий Карасев). О первом скажут и без меня, он достаточно известен, живет в Индии и в России. Второй никак не прорвется за флажки. Написав к двадцати трем годам более трех тысяч стихотворений, Карасев естественно и наглядно

показал, как единицей поэтического послания бывает не стихотворение, не поэма (длинное стихотворение), не цикл, а – поле.

свет в одном свет в другом / окне // и я вхожу / дверь остаётся открытой

Пока он молод, чуть ли не каждый, взявший в руки изготовленный им волчок или спирограф, тянет коллегу в обоз (см. выше): интеллектуальную стратегию, близкую к практикам Аркадия... «детерриторизация» и «ретерриторизация»... эмансипаторное преодоление эдипальной зависимости... русского языка как языка колониального... А всего лет шесть назад, «ощупывая» издали юного Орфея, Гали-Дана Зингер вполне вменяемо – не пожалею длинного предложения – характеризовала: «Едва ли не более всего удивляет и радует в этих стихах их способность говорить о телесном за пределами перечня травм и желаний, и говорить о личном, не выпячивая его, сквозь интерес и внимание к миру».

Без навязчивого своемыслия, без нарочитого инакомыслия. А я задумался – ни Пушкин, ни Тютчев, ни Достоевский, ни Розанов, ни Платонов – вроде бы никто не был инакомыслящим. Осип Мандельштам? И тот – нет, ни грамма «диссидентства». Был боец! Бился великим и могучим словом великого и могучего. Доказательство, например, в «Оде Сталину», написанной на два голоса вместе с Мирозданием. Оно снизошло до того, чтобы написать простой человеческий дифирамб, выбрав себе в помощники Мандельштама... не смог отказаться от предложения. Поясню, как сливается эта пара («Художник, береги и охраняй бойца» ↔ «В рост окружи его сырым и синим бором») в унисон:

М-м. Он свесился с трибуны, как с горы –

М-е. В бугры голов. Должник сильнее иска!

М-м. Могучие глаза решительно добры –

М-е. Густая бровь кому-то светит близко!!

Вечный бой, вечная боль, «утро – зачем твой / багор мне в горло»; из недавней, весенней публикации Карасева *секреты ночного неба / спокойная магнитосфера / поле нерешённых задач / в детстве места / всё более случайны / а не зря ли в бой ведут нас / с этим небом облака...* Вряд ли отношение делающего к играющему когда-либо станет безоблачным, зато hic et nunc оно вторично. Первичен факт, что нами хотят жестко, не литературно сыграть во всех нас. Делающий, читающий, играющий становятся играемыми. Думая о «механизмах вытеснения и стратегиях защиты», отыскал в памяти две вещи.

Один в поле – воин.

Слонопотам идет на свист.

Александр СТЕПАНОВ

СОБЫТИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ:
на выход книги П. Казарновского о поэзии
Леонида Аронсона

**Петр Казарновский. «Изображение
рая»: Поэтика созерцания Леонида Арон-
сона – М.: Новое литературное обозрение,
2025. – 752 с.: ил.**

Вначале приведу строку из моей первой реакции на монографию Петра Казарновского, сразу после прочтения: «Петя, только что дочитал твой труд. БЛЕ-СТЯ-ЩЕ! А “сонетология” – просто “ах!”».

Излишняя высокопарность тут обусловлена взрывной эмоцией, которая, собственно, не ослабла и до сих пор, но которую, вероятно, следовало бы умерить из-за ее явной субъективности, чтобы оценка могла возникнуть в душе каждого читателя самостоятельно. Но, думаю, уже любому читателю затруднительно будет оспорить основательность и глубину проработки автором изучаемого материала, за чем стоит, очевидно, многолетний и незаурядный по напряженности труд. Что не тривиально и ценно всегда, но особенно, представляется, в нынешнюю эпоху, отдающую предпочтение, кажется, провоцирующей оригинальности перед фундаментальностью. Подобный характер рецензируемой работы, наряду с присущей ей высокой плотностью письма (то бишь сгущенностью мысли), возможно, чреват и опасностью, поскольку читатель тут встретит не «развлечение», а то, что требует для освоения встречных сосредоточенности и усилий. Но коль последние все же будут приложены, то вознаграждение навряд ли разочарует. Рассматриваемый литературоведческий текст пронизан той ответственностью, которая востребована самим предметом исследования, т.е. художественным наследием такого значительного поэта 1960-х гг. как Леонид Аронзон.

В рецензии, вероятно, уместны и более частные соображения. П. Казарновский справедливо отметил, что стандартная литературоведческая категория «лирический герой» к настоящему времени не только основательно поистрепалась, став полувразумительной, но и особо неудовлетворительно ложится на разбор поэтики Л. Аронсона. В дополнение и отчасти взамен в книге введено новое понятие «автоперсонаж». Не знаю, насколько удачен выбор именно данного термина (я сам в терминах не силен), но его, так сказать, «направление» представляется не только уместным, но задним числом даже необходимым. Ведь поэтической речи Л. Аронсона в самом деле присуще заметно более сложное и многомерное соотношение между условно «говорящими» лицами, чем это было в поэзии предшествующей (в том числе XIX и первой половины XX вв.). Оттого при анализе уже недостаточно простого различения между речью автора и речью сконструированного им лирического героя (которому сказанное и присвоено). В лирике Л. Аронсона задействована большая, по сути «бахтинская», полифоничность, что П. Казарновским подробно и убедительно обосновано. Чем именно тогда дополнить список необходимых для анализа «говорящих лиц»: «автоперсонажем» или чем-то еще, – я, повторюсь, точно не знаю, но явно нужно хоть *чем-то* дополнить, и «автоперсонаж» (в совокупности с «автором» и «лирическим героем») в монографии П. Казарновского успешно справляется со своей дескриптивно-логической функцией.

Хотя, возможно, ситуация с теоретическим разнесением поэтического языка по условным лицам в данном случае еще более проблематична. После Шиллера и В. Клемперера мысль о том, что «язык мыслит и сочиняет за тебя» повторяется часто, ее цитирует и П. Казарновский. Эта мысль верна применительно если не ко всем, то ко многим, и она тем более оправдана в ходе анализа поэзии Л. Аронсона. Как справедливо подчеркнуто автором исследования, творчеству поэта присущ особый «метапоэтический» характер, не исключая открытой

«поэтологии», т.е. лирических высказываний о самой поэзии и процессе ее порождения. Но если действительно «язык мыслит и сочиняет за нас», то *кто* в нем говорит? Лиризированное «Я», эпистолярное «Ты», драматизированное и эпизированное «Он»? П. Казарновский убедительно показывает, как подобные нарицательные лица в поэзии Л. Аронсона то и дело «скачкообразно» превращаются один в другого, непрерывно перетекают друг в друга, обмениваются поэтически условными именами. Как было сказано самим поэтом, «А я становился то тем, то этим, то тем, то этим...». Вторым вопрос: *кто* говорит в языке, в данном случае в поэтическом языке Л. Аронсона? – В том-то и дело, что это и «я», и «ты», и «он», во всем открытом функциональном многообразии каждого. Но тогда оказывается, что тут настолько скандированная диахроническая и синхроническая «полиперсональность», что возникает вопрос, достаточно ли просто дополнить стандартную теоретическую дихотомию «автор – лирический герой» всего одним, третьим элементом «автоперсонаж». По словам самого литературоведа, «автоперсонаж Аронсона – это молчаливая, созерцающая и созерцательная ипостась лирического героя как *многосубъектного* целого» (с. 83; *курсив мой.* – А.С.). Но *многосубъектность* оказывается теоретически редуцированной в работе до всего одного дополнительного говорящего лица.

Критиковать, впрочем, легче, чем конструктивно предлагать, и для того, чтобы литературоведческий текст обладал дискурсивной внятностью, все же необходимо пользоваться хоть какими-то словами, обладающими приемлемой степенью определенности. По всей видимости, некоторые сомнения в «твердости» нововведенного термина «автоперсонаж» присущи и самому автору исследования, отчего после серьезного обоснования данного понятия он в дальнейшем использует его попеременно и попеременно (т.е. совместно, через запятую) с «лирическим героем» и «автором». И это никак не недостаток, а отвечает природе рассматриваемого вопроса, а также специфике предмета исследования, ведь самой поэзии Аронсона свойственна известная «тав-

тологичность», в которой даже при прямом повторении слов значение второго отлично от первого, не только усиливая, но и семантически «сдвигая» его (ср. с тем, как это происходит в борхесовском «Пьере Менаре, авторе „Дон Кихота“»). Такой факт наглядно проиллюстрирован П. Казарновским, и к данному приему он, по существу, прибегает и сам, ставя рядом, в частности, «автоперсонажа» и «лирического героя»: как бы «и этот, и тот – или же некто между ними или над ними». В самом деле, чрезмерная дискурсивная точность при изучении *поэтических* произведений чревата схематизмом, склонным к догматике, тогда как тут, как правило, уместнее известная «аллегоричность», более близкая по характеру к многозначному образу, а не к «прецизионным» понятиям. Автор книги явно отдает себе в этом отчет, чутко обходя подобные «подводные камни» и видя главную задачу в том, чтобы читатель как можно лучше *почувствовал* содержание именно аронсоновских текстов.

Помимо одновременной множественности «говорящих лиц», сопровождаемой сюжетным мотивом двойничества (и даже тройничества), в произведениях поэта присутствует, как сказано, и их взаимопревращаемость, что принципиально важно для художественно выстраиваемого мира в аспекте его отношения к времени. Ведь о времени, об изменениях допустимо говорить только тогда, когда в нашем сознании заранее зафиксирован объект этих изменений, в дальнейшем признаваемый самотождественным. Движение *чего?* История *чего* или *кого?* Без априорной фиксации объекта или субъекта бессмысленно говорить и о его изменениях. Тогда как синхронное сосуществование *разных* говорящих и созерцающих лиц и их динамические трансформации друг в друга (то же самое происходит с упоминаемыми и описываемыми предметами) делают само представление о времени неадекватным. Таково положение дел, как представляется, в поэзии Аронсона, и П. Казарновский обоснованно подчеркивает устремленность художественной мысли поэта к своеобразной «вечности», однако не выхолощено статической, отчего неинтересной и скучной, а той динамически насыщенной, в составе которой способно происходить

сразу «всё», включая противоположности. По словам исследователя, «красота способствует выходу из течения времени, но и узреть красоту возможно, еще или уже не будучи во времени» (с. 106). Названные «еще» и «уже», восходящие к выражению самого поэта («еще не август, но уже»), корректно перенесены в литературоведческое описание беспрецедентно особенного отношения к времени. В таком мире нет, в частности, и собственно *прошлого*, ибо оно происходит у нас на глазах, что позволяет поэту актуализировать достижения веков и даже тысячелетий поэзии, сжимая их в на- личное «здесь и сейчас».

Во избежание недоразумений нелишне оговориться, что в обсуждаемой «текучести» и «виртуализации» лиц в поэзии Л. Аронзона и книге П. Казарновского ни в коем случае не стоит усматривать прототип современного «сетевого сознания», в котором узлы сети, часто спрятанные под условными никами, второстепенны по отношению к «нитям» этой сети, т.е. многосторонним связям, соотношениям. Такое сравнение выглядело бы, несомненно, вульгарным и не отвечало бы ни инфрапсихологической глубине, интимной личностности, ни, конкретно, «метафизическому» характеру поэзии Аронзона, тогда как у «сети» глубина отсутствует по определению и природе, ей чуждо и «трансцендирование».

Если продолжить тезис «язык мыслит и сочиняет за нас», то его следы, похоже, можно обнаружить и в других аспектах творчества Аронзона. Рассматривая сложную проблему соотношения жизни и смерти в его поэзии, в разделе 15.5 П. Казарновский пишет: «В прозе “Мой дневник” (№ 295) содержится следующая запись: “Михнов говорит сегодня: я так обрадовался, что встретил тебя, а ты – покойник. Сам он матерый труп-с” (т. 2. с. 109). Видимо, оба друга – художник и поэт – понимали, какую цену платят за творчество. Аронзон заведомо нейтрализует смерть, сближая ее с заключительным этапом творчества (“шесть строк” в “Забытом сонете”). Так творческий акт содержит в себе и рождение и смерть, в чем-то меняя их местами: рождение (финальные слова “так пускай живут” как напутствие) не предшествует смерти, а следует за ней».

– Хорошо известно, что авангард типологически повторяет архаику, а ряду древних народов было присуще считать, что смерть предшествует рождению. Последнее мнение выглядит парадоксальным лишь в нашей, постренессансной культуре, тогда как оно очевидно до тривиальности. Ведь ясно, что вначале человека нет и только потом он рождается. Как и вообще небытие предшествует бытию, стоит только задуматься над вопросом о происхождении последнего. Так обстоит и в библейском Сотворении мира из *ничего* и в том, что тьма там онтологически предшествует свету. По тем же резонам суточный цикл еще в Древней Месопотамии начинался с вечера, т.е. умирания дня, а у нас и вовсе с полуночи, т.е. наиболее кромешной тьмы. Аналогично, европейский год начинается с 1-го января, по сути с зимнего солнцестояния, самой мертвой и темной точки годового цикла. Если вслушиваться в язык, честно и искренне сопереживать ему, он в состоянии сообщать то, что, возможно, не понравится «бодрому», «здоровому» сознанию. И путь к «фундаменту» языка, включая язык поэтический, к его первоначальной «субстанции», чреват подобными «неприятными» открытиями, которые, в сущности, являются «первозданностью» или даже «пред-первозданностью».

К смежным выводам можно прийти и на полях анализа П. Казарновским последнего заверченного и нормативно трагического стихотворения Аронзона «Как хорошо в покинутых местах...». Вот фрагмент:

Чтоб застрелиться тут, не надо ни черта:
ни тяжести в душе, ни пороха в нагане.
Ни самого нагана. Видит Бог,
чтоб застрелиться тут, не надо ничего.

По данному поводу П. Казарновский пишет: «В этом парадоксе – застрелиться без нагана – открывается не суицидальный комплекс человека, а его прозрение, что смерть имманентна красоте мира» (с. 710). Последний тезис при всей его беспощадности по-своему естествен для того последовательного и бесстрашного поэтического исследования мира, которое предпринимает Л. Аронзон. Он не

первым, конечно, уподобляет создание стихотворений Сотворению мира, но редко кто отважился пройти по этой дороге столь далеко. Коль мир прекрасен и сотворен посредством Слова («и сказал Бог: да будет...»), то «где» базируются истоки его явленной нам красоты? И тут, наверно, уместно вспомнить о том моменте создания значительных стихотворений, когда конкретного слова еще нет, оно только напряженно подыскивается, подспудно зревает в скрытых недрах души, но поэт уже охвачен и связан чувством той необходимой для него красоты, без которой искомому слову не обойтись – просто для того, чтобы быть не отвергнутым, а окончательно и «навсегда» запечатленным. Но в таком случае красота предстает атрибутом того небытия, которое и предваряет величественное бытие, той ожидающей темноты, которой только вот-вот предстоит быть пронизанной лучом яркого света.

Примерно сходным переживанием, как видится, пропитаны, по-видимому, лучшие и пронзительные страницы монографии П. Казарновского, посвященные исследованию прямых и производных сонетных форм в поэзии Л. Аронсона. По традиции, сонет считается наиболее совершенной лирической формой, и Л. Аронзон с ней активно работает. Однако при этом оказывается, что в природе, несмотря на всю ее веками воспетую красоту, все же «нет сонета»:

И право, где же в ней сонет?
Увы, его в природе нет.
В ней есть леса, но нету древа:
оно – в садах небытия.

Вот как, созерцательное вдохновение и восторг Л. Аронсона предстают неотрывными от драматичного переживания известной «недостаточности» природы, всего мира перед лицом напряженно чаемой своеобразной «квинтэссенции прекрасного». Брезжит ощущение теснящегося в груди отчаянного томления «больше красоты! больше жизни!», но на роль того, что «больше жизни», увы и ах, единственным кандидатом оказывается только смерть. Дерзкое, если не кошунственное, желание «досотворить» природный мир возвраща-

ет к состоянию **до** Сотворения. Другие слова, кроме «небытия» или «ничто», тут человеку неведомы, но это «небытие» оказывается столь всеохватным, столь насыщенным творческим напором, что становится неотличимым от спрессованной огромным давлением полноты жизни. Стилистически такими словами сам литературовед не пользуется, но они невольно напрашиваются как реакция на его детальный и глубокий анализ.

К теме «праистоков» примыкает и следующая фраза из монографии П. Казарновского: «Поэзия Аронсона – преимущественно орфическая по своей природе, так как ей свойственно завуалированное призывание божества и перечисление его многочисленных качеств, то есть качеств мира, нуждающихся в названиях, именах, так что поэт, в соответствии со своей мифопоэтической моделью, призван, подобно Адаму, давать всему сущему имена – “обзывать живое разное” (1965, № 32), “живое все одевать словом” (1966, № 37) и тем самым производить акт оживления» (с. 418). Так и Гомер с Гесиодом, по свидетельству Геродота, дали грекам имена богов. Создание имен – будь то Адамом, Гомером или Гесиодом – есть соучастие человека в творении («досотворении») мира, в результате которого мир не просто удваивается, а обогащается добавочной жизнью, насыщаясь дополнительным смыслом. Эти имена даже обретают потом способность к самостоятельному дыханию, но в еще большей степени – вступая в доверительный контакт с тем, что уже больше человека.

Жанр рецензий, говорят, предполагает указания и на «недостатки». Поскольку серьезные мне отыскать не удалось, постольку ограничусь одной деталью, которой мне в данной книге чуть-чуть не хватило. В перечне повторяющихся образов аронсоновской поэзии П. Казарновский приводит, в частности, упоминания лебедя – по словам литературоведа, «лебедя, устойчивого поэтического образа от Горация до Малларме, от Державина до Заболоцкого» (с. 281). Сдается, в данном месте было бы уместно указать на первичные истоки данного образа, а именно на факт, что лебедь – священная птица мусажета Аполлона. Каждый год на колеснице, запряженной лебе-

дами, Аполлон летел на родину своей матери, в идеально-блаженную Гиперборею. Сразу по рождении Аполлона на острове Делос лебеди семь раз облетели остров с хвалебной песнью в честь теофании лучезарного бога. «Лебединая песня» в мифологии и языке – та непревзойденно прекрасная, которая поется этими изысканно царственными птицами только раз, в момент умирания. Прямое указание таких истоков, по-видимому, удачно легло бы в контекст тех глав, в которых обсуждается соотношение красоты и смерти, ведь и Аполлон, как мы помним, не только целитель, водитель Муз, но и губитель. Впрочем, даже без подобных отсылок автор рецензируемого труда настолько плотно и обстоятельно прорабатывает затрагиваемые вопросы, что любые добавления, возможно, просто излишни, и их лучше оставить на самостоятельное додумывание читателями.

Недавно услышал от Н.И. Николаева, что в контексте исследований отношений и соотношений «говорящих лиц» в поэзии Аронсона, а также рожденного в ней образа идеального «рая», стоило бы в большей степени подчеркнуть значение того «юмора стиля», иронии и самоиронии, которые присущи столь многим произведениям поэта. Ведь предстоящая в его произведениях истинная любовь, колы пропитана нежностью, едва ли в состоянии существовать без подобных моментов, подобно тому как ребенок не только бесконечно любим, но и забавен, и без этой забавности не возникло бы и трогательного умиления. Вполне сходно, искренне дружеские и любовные отношения редко обходятся без взаимных подшучиваний, а при поиске слов для описания того, что дороже всего, людям часто присуща самонасмешка, дабы не «испортить» восторги чрезмерностью (вот одна из иллюстраций автоиронии поэта, приводимой и П. Казарновским: «Там, где девочкой нагой я стоял в каком-то детстве...»). Давно сказано, что смех и эрос (вкуче с филией), если и антагонисты, то только как две стороны медали, подобно дионисийским комедии и трагедии: те и другие вырывают человека из обыденной повседневности, эксплозивным и имплозивным воздействием придавая ей чудесную свежесть новорожденного (ср. аристо-

телев катарсис). Литературовед, как сказано, никак не обходит вниманием такие нюансы, но в должной ли мере, пусть пока остается дискуссионным, ведь есть надежда, что перед нами только первая, а не последняя большая книга об Аронзоне. Мы ценим любые работы за то, что в них *есть*, а не за то, что в них отсутствует, или присутствует, как порою может представиться, в недостаточной мере. В отличие от совершенных художественных произведений, никакая *научная* работа не претендует на исчерпывающую окончательность, а приглашает к дальнейшим исследованиям.

Возможно, впоследствии нуждается в более детальной разработке и такая продуктивно обсуждаемая П. Казарновским тема как роль *молчания* в поэтике Аронсона. Будучи «небытием» или «ничто» слова, воплощаясь в значимых паузах между словами (в визуальной передаче – в пробелах, свободных полях, в «пустоте»: «белой» или «черной»), это молчание органически входит в тезаурус и творческую позицию поэта особенно в последние годы, вероятно, по дальневосточным каналам. Ведь машинописные переводы выдающегося популяризатора японского дзен-буддизма (китайского чань-) Д.Т. Судзуки оказали заметное влияние на целые поколения отечественных интеллектуалов в том числе 1960-х гг.

По контрасту с европейской эзотерикой, дальневосточное «молчание» как «ничто» слова выглядит, если можно так выразиться, более «деликатным и нежным», более «косвенным», чуть ли не «церемонным». Не будучи предметом в мире предметов, такое «ничто» не является тем, на что можно «указать пальцем»: «вот это». (Аналогично невежливо указывать пальцем и на человека.) В результате – наряду с сохраняющейся «прекреационистской» и «эсхатологической» функцией – подобное молчание дает знать о себе не только в промежутках между словами, но и внутри самих слов. Ведь каждая вербальная единица имеет так или иначе определенное значение, но в то же время – *не только* это значение. И речь тут даже не о банальной поливалентности слов, а о том, что происходит «между» этими валентностями, «до» них и «после» них, а также в «зиянии» между предметами и их именами,

предметами и предметами, именами и именами (включая дистанцию между значениями слов и их фонетикой). То деятельное творческое усилие, которое требуется для рождения нового слова и о котором недавно говорилось на примерах Адама, Гомера и Гесиода, тут представляется не столько волевым (чуть не сказал: насильственным) актом, сколько совершенно естественным, неподконтрольным рефлексом, подобным едва слышному дыханию. В этом случае «изобретатель имен» – уже не столько великий герой, сколько любое надевшее жизнью, даже самое малое существо (ср. и детей как незаурядных «изобретателей слов»). Тогда «жить» и «быть поэтом» становится одним и тем же (при всей парадоксальной «данности» того и другого, пронизанной растерянным вопросом «зачем?»).

В последние годы своего творческого пути Л. Аронзон, соответственно, осваивает дальневосточный литературный жанр *бесед*. Этот жанр качественно отличен от значительно более прямолинейных и «жестких» западных диалогов, столь типичных начиная с Древней Греции и Возрождения. Беседы выглядят значительно более «непринужденными» и менее «обязательными», их участники не стремятся что-либо доказать оппоненту, склонив его к собственному мнению. Разговор, на первый взгляд, «ни о чем» или «не о том», тут в действительности помогает собеседникам взаимно почувствовать нечто самое важное. В связи с чем возникает оправданное сомнение: действительно ли именно в *споре* рождается истина? Или же в том, что людей не разделяет, а соединяет? Жанру бесед, в том числе в исполнении Л. Аронзона, присуща также видимая «простота», отчего многие исследователи говорят о заметном «упрощении» авторского поэтического стиля и языка в означенный период, – упрощении, проникнутом мягкой «загадочностью».

В частности, в отличие от европейских метафор, осуществляющих «сопряжение далековатых идей», тут оказывается ненужным тугой аркан, накидываемый на упомянутое «далековатое», чтобы притянуть его к другому слову, ведь, в сущности, разные слова разделены лишь практически не ощутимым «ничем».

Точно так же в графике контуры предметов обозначаются черными линиями, т.е. темнотой, отсутствием света, но если яркий свет все же прольется, то эти границы просто исчезнут. П. Казарновский уместно цитирует в сходном контексте самого Аронзона: «Господи, ты светишь таким светом, что я не вижу тебя!» (1969, № 113); «свет такой, что ничего не видно» (1969, № 126). В вербальной же ипостаси тогда воцаряется молчание, которое значительнее и насыщеннее любых слов. Примерно так, как в хрестоматийном коане «Цветочный ливень»:

Субхути был учеником Будды. Он был способен понимать силу пустоты, точку зрения, что ничто не существует иначе, как в соотношении субъективного и объективного.

Однажды Субхути в состоянии возвышенной пустоты сидел под деревом. Вокруг него начали падать цветы.

«Мы награждаем тебя за твои рассуждения о пустоте», – прошептали ему боги.

«Но я не говорил о пустоте», – сказал Субхути.

«Ты не говорил о пустоте, мы не слышали пустоту», – ответили боги, – значит это истинная пустота».

И цветы хлынули на Субхути как дождь.

(На с. 123 П. Казарновский, обсуждая строку из IV части «Записи бесед» Аронзона «Молчание о молчание – звук», ссылается на другой коан: «Увлеченный Востоком, Аронзон не мог не встречать знаменитый дзенский коан о хлопке одной ладони»). В отличие от бессодержательной «дурной пустоты», которую также упоминает литературовед, и в отличие от той, что вызывает страх, если не ужас (в облики «зияющей бездны»: как говорится, «если долго смотреть в бездну, то она начинает вглядываться в тебя»), «пустота» тут оказывается не только «доместичированной», но и, можно сказать, «интимной». В таком понимании она, как было сказано, не столько разделяет предметы, а также людей – включая «говорящих лиц» в поэзии: лирического героя, автоперсонажа, самого автора, – сколько служит их соединительной средой, сочленением: тем, что нежнее самого нежного. Ведь пустоте не свой-

ственно ни сопротивление, ни насилие. Так и молчание порой по-цицероновски красноречивее слов, а будучи погруженным в слова и между словами, оно придает выражению неповторимую силу, которая, однако, не заставляет, а мягко склоняет.

В заключение хочется поздравить П. Казарновского, а также нас, читателей, с появлением замечательной книги. В ней удалось не только сказать много интересного и существенного, но и самым тоном, манерой изложения обозначить, на наш взгляд, перспективы дальнейших исследований, что всегда не менее важно, чем то, о чем непосредственно сказано.

Ирина МУРАВЬЕВА

«НЕЛЬЗЯ НЕ ЖИТЬ...»

Владимир Гандельсман. От фонаря. – М.: НЛО, 2024. – 312 с. – Серия «Художественная словесность»

В одном из писем к Ольге Фрейденберг Пастернак воспользовался английским выражением «chainless mind», то есть «сознание без цепей», и на первый взгляд проза Гандельсмана «От фонаря», почти лишенная сюжета, подходит под это определение. Как, например, оценить внезапно появившуюся внутри текста такую картинку: *«Провезли мальчика-калеку. Такая длинная шея, как будто она росла и росла, а он в росте остановился. Служащий толкает тележку, а сестра (видимо, сестра) поддерживает его голову... Порция горя внезапного».*

О чем это? Зачем появляется мальчик-калека, который исчезнет навсегда и больше нигде не мелькнет? Я читаю эту книгу, погружаюсь в неё, и она, теряя твердые очертания, вырисовывает то край ускользающего неба, то мелкие волны реки, то город, то острое горе любви, и постепенно всё отчетливее проступает в ней прячущаяся за чужими спинами личность автора. О том, за чьи спины он прячется, я скажу позже, но с первых страниц очевидно, что это свидетельство памяти, которая сохранила все: людей отдаленных и близких друзей,

родителей, дома, себя самого, – то мальчика, то вполне зрелого мужа – и чад сновидений, и город, и мир. Собрать в одно целое жизнь – задача нелегкая. Ведь жизнь твоя – больше, чем ты. В ней много дыханий, не только людских, поскольку и город твой дышит, и снег, и даже слова, кем-то обороненные. И воспоминанья твои и все твои выводы основаны на этом жадном и жарком дыхании: *«Смысл любви в том, – пишет Гандельсман, – что все самые последние соринки, живые и неживые, становятся связаны воедино. Быть может, только в этом смысл больших чувств вообще. Если спасение (от чего и куда? От страха «никуда» в никуда) понимать, как блаженное переживание связанности всего явленного, то чувство, самая демократичная, если не сказать низшая способность живого существа, – это возможность спасения».*

Я уверена, что эта уникальная по своей красоте книга, включая ее иронические и юмористические вкрапления, на самой последней своей глубине есть просьба о личном спасения. Хотя ведь все умные книги написаны так. Она в их ряду.

«Я вышел на площадь Искусств, к памятнику. Есть романтическая фантазия, что умирающий Пушкин сказал «прощайте» книгам. Уверен, что так и было. Людей ждет та же участь, зачем прощаться? А книги – либо неумирающие, либо мертворожденные. Во всяком случае, мне говорили, что там их нет».

Гандельсман редкостно одаренный человек. Легко быть «носителем» дара? Совсем нелегко. Ведь дар тот же крест, ломающий ребра. Вспомнив «романтическую фантазию» об умирающем Пушкине, он не позволил себе ни одного слова про «там». Он лишь повторил про отсутствие книг, сославшись, что *кто-то* ему так сказал. Поэт, пишущий прозу, не выбирает стиля, стиль зарождается сам, он подчинен приливам и отливам достоверности в той же мере, в которой он подчинен приливам и отливам незарифмованного стиха. Книга получилась свободная, пытливая и настолько насыщенная мыслями, что, читая её, чувствуешь, словноходишь в лес, и он поглощает тебя, сам меняясь: то чисто сосновый, с его крепким запахом, то вдруг начинаются свежие саженцы, то путь твой ныряет в овраг, где тьма и крапи-

ва, которая жжется, и ты возвращаешься весь в волдырях.

«Почему человек просыпается? Потому что его сон кончился. Там, где я бродил в своей неприемимости, я переключивался из сна в сон, пока он счастливым образом не иссяк. Но в старости или в смертельной болезни эта дурная бесконечность разыгрывается совсем по-другому, и хотя там тоже томление, но оно существует в другом своем значении, в значении "умирания"».

В прозе Гандельмана времени в его четком хронологическом понимании нет. Однако при очень пристальном чтении, которое, как мне представляется, слегка мешает, можно расчлнить текст на некие доли, каждая из которых может быть еще несколько раз расчленена, поскольку проза эта состоит в основном из поэтической материи, подверженной подъемам и падениям, наплывам и умолчанию, – но если, повторяю, постараться все-таки нащупать хронологию, то она, оказывается, существует, заросшая снами, стихами, вставными эссе, внезапными вспышками памяти, как пруд зарастает травой, тростником, болотными лилиями. Повествование начинается в 2007-м году. Автору под шестьдесят. Тридцать лет назад он закончил институт, стал преподавать физику, встретил Марию, свою судьбоносную любовь, с которой через пару лет расстался и переехал в небольшой провинциальный город, где все так же преподает физику. В 1995-м году он оказывается в Америке, куда его пригласили работать по контракту и где он снова преподает физику. Вернувшись в Россию, в тот провинциальный город, куда он сбежал, потеряв Марию, он внезапно заболевает, но не умирает, – нет, он просто не может больше преподавать и меняет разные занятия, в конце концов став фонарщиком. Но и фонарь, который он зажигает вечером, внося в текст дыхание андерсовской сказки, не совсем фонарь, он двоится на то, что «здесь и сейчас», то есть предмет, предназначенный для освещения улиц, и в то же время он – стихотворение, которое освещает саму жизнь и прокладывает лирический ток через огромное жизненное пространство. «Я хочу, чтобы стихи стояли спокойными попутными фонарями, не обязательно мои. Пусть освещают», – говорит он.

В книге несколько главных героев, но каждый из них впитал в себя автора так глубоко и органично, что ни они не осязаемы без него, ни он без каждого из них. И это не подспорье, не костыли, это крайне жесткая необходимость, как гласная необходима после согласной и выдох после вдоха. Фонарщик – поэт, Леонид – прозаик, Дым – ценитель всевозможных художеств, эстет и бабник. И самый последний – Андрей, стихи которого одновременно и есть стихи самого автора. Происходит нечто вроде сращения нескольких позвоночников сразу, и они образуют крепкую, как камень, основу текста.

Понятие «литература» – растяжимо и многосоставно. Если я скажу, что проза Владимира Гандельмана «От фонаря» настолько же исповедальна и беззащитна, насколько и «литературна», я не унижу её достоинства. В ней есть какое-то врожденное лукавство, которое отличает большую литературу от средней, не способной к внезапному смеху и безобидной мистификации. И этой в чистом виде «литературы» Гандельсман не сторонится, когда, не моргнув глазом, цитирует стихи Мандельштама:

*Событие великопленной жизни
Здесь и сегодня так громадно,
Что в воздухе висят флажками призмы
Домов, и зелень скошенная ароматна.
В ветвях уже закат рыжеет,
А проявление коры так крупно,
Что то, что любишь, в корне хорошеет,
Нельзя не жить и быть собой не трудно.*

Да нет у Мандельштама таких стихов! Нет и никогда не было. Так ведь он и не утверждает, что были. Стихи читает какойто угольно загоревший старик, босой и прокуренный, который заходит на огонек к студентам из строительного отряда, заброшенным в Казахстан. Читайте внимательно: дремучий край, дремучий старик, приходит со своей неизменной цигаркой, безошибочно произносит трудное имя «Мандельштам» и с ходу наизусть читает его стихотворение! Бывает такое? Разумеется, нет. Неужели поверили?

Об этой книге можно написать много, поскольку она растормаживает и твою, читатель,

жизнь, прожигает и твою, читатель, память, мнет в своих легких, горячих ладонях твое – да, не спорь! – недоступное «я». Ты просто не знаешь об этом.

Александр МАРКОВ

АНАТОМИЯ ИДЕТ ЛЕСОМ, ИЛИ О РАСТУЩИХ СТИХАХ И КАРТИНКАХ

Пётр Кочетков, Ника Третьяк, Кирилл Шубин. Лес растёт: Книга стихов и картинок / Комментарии Кирилла Корчагина, Татьяны Грауз и Александры Цибули. – М.: Территория ноль тысяч, 2025. – 130 с.

В начале было... что именно? В начале был «ноль» – так предлагает мыслить отправную точку Пётр Кочетков в своём программном предисловии к альманаху «Лес растёт». Этот «ноль» – не пустота, но «подвешенный на дереве плод», существо в напряжённом промежутке между «нет» и «нет», точка разрыва и одновременно начала, «туннель чёрной дыры, в замочную скважину которой мы можем увидеть, как из небытия (sic) растёт лес мироздания» (sic принадлежит Петру Кочеткову, а вовсе не автору рецензии). Эта сложная, почти схоластическая метафизика – не просто авторская причуда, но точный ключ к поэтике всей книги, созданной усилиями трёх авторов: Петра Кочеткова, Ники Третьяк и Кирилла Шубина. Книга предлагает модель не-человеческого соавторства, где поэтический язык не описывает природу, но пытается стать её продолжением – спорами, мицелием, целлюлозой страницы.

«Лес растёт» – не просто сборник, а лабораторный стенд, на котором испытываются на прочность границы между поэзией, визуальным искусством и философским трактатом. Точнее, это масштабный проект биомедиального искусства. Это книга-организм, книга-экосистема, где тексты, подобно деревьям в лесу, переплетаются корнями, тянутся к свету, сбрасывают листву и вновь прорастают. И как в любом живом лесу, здесь есть свои зоны света и тени, буйные заросли и прореженные поляны.

На первый взгляд, трех авторов разделяет если не всё, то очень многое. Пётр Кочетков строит свои стихи как меланхолические гимны, где распад – форма существования вечной природы. Ника Третьяк мыслит жестами и тактильными образами, превращая страницу в организм. Кирилл Шубин дробит язык, чтобы собрать из осколков новую, причудливую грамматику реальности.

Однако всех их объединяет одна фундаментальная установка: отказ от антропоцентризма. Их поэзия – не взгляд на лес со стороны, а попытка говорить из леса, языком леса. Если Биbihин, написавший великую книгу «Лес (hyle)» – это философ, терпеливо сидящий на опушке с блокнотом, то авторы книги «Лес растёт» – исследователи, забравшиеся в самую чащу. Они принимают не только тишину и порядок леса, но и его хаос и жестокость. Они идут дальше созерцания: они пытаются перенести его законы – рост, ветвление, распад, симбиоз – на структуру языка и композицию книги.

Кочетков ищет «нулевую органику» – точку сборки мира до и после человека. Третьяк в креолизованной «Ядерной поэме» с наложением цифровой графики описывает липу, чьё цветение вписано в контур онкологического отделения, стирая грань между природным циклом и техногенной мутацией. Шубин и вовсе населяет свои тексты гибридными существами вроде «тараканов-херувимов», которых правильно увидела Александра Цибуля как один из комментаторов книги.

Их общий проект – децентрация человека и поиск поэтического выражения для той сложной, не-человеческой сети акторов, которую мы по старинке называем «природой».

Пётр Кочетков: Меланхолия и климат

Стихи Кочеткова, как точно подмечает в своём комментарии Кирилл Корчагин, преопределены климатом. Не в бытовом, а в метафизическом смысле. Это поэзия средней полосы России, доведённая до состояния космогонической драмы. В его текстах борются, как говорит Корчагин, два потока: «воля к смерти, меланхолическое влечение к распаду»

и «стремление к идиллии, к сентиментальному путешествию по московским улицам». Эта борьба не имеет победителя; она закручивается в спираль ДНК, где распад и жизнь неразделимы.

«...начистил диск коры до блеска, лаком / натер, отшлифовал, оставил сохнуть, / бессмысленный и страшный свет обрезал / и хорошо, и чисто. и ночное / слово возненавидел на губах»

Здесь ритуальный акт насилия над словом и зрением («вынул глаз / правый и левый») оборачивается странным актом творения: в пустые глазницы засыпана размельчённая «в неосязаемой ступке» трава. Мортальные образы – «гробовая прохлада», «иссыхающие голоса» – не вызывают отторжения, а, парадоксальным образом, катарсически умиротворяют. Смерть у Кочеткова – еще одна фаза природного цикла, «печальная, но неизбежная», по Корчагину. Его стихи, при всей своей мрачности, – идиллии наизнанку, где утешение можно найти в самом факте смены времён года, в «климатической» природе бытия. И комбинаторные и фигурные его стихи, состоящие из цифр, формул и геометрических фигур, поддерживают этот прогноз погоды.

Квентин Мейясу некогда увидел (и мы знаем это благодаря переводу Корчагина) в «Ударе костей» Малларме не просто стихотворение, а материализацию абсолютной случайности. Ключевым для него является число 707 – единственное необходимое число в тексте, которое, однако, обозначает результат броска костей, то есть чистейший акциденс. Это число-событие, число-разрыв, которое вторгается в ткань реальности и учреждает новую необходимость. Но если у Малларме расположение слов на странице подчинено идее Космоса как Абстрактной Книги, то у Кочеткова оно имитирует природную, фрактальную структуру. Первый лист произведения «Игра в шар. Тетраптих Н. Кузанского», стихотворение, состоящее из многократно повторяющегося слова «одно», сложившегося в букву Б, или число 6, или вообще, я думаю, схему клетки – это не вычисленная последовательность, а скорее визуальная симуляция митоза, деления клетки, роста кристалла или капель дождя на листе.

Второй лист – пунктирный круг. А вот третий лист (а четвертый – это просто пустой лист) тетраптиха о Кузанце (которого, кстати, переводил Библихин):

1234567890

2
3
4
5
6
7
8
9
0

Мейясу настаивает, что фигура корабля, тонущего в конце стихотворения Малларме, – это не образ, рождённый метафорой, а прямой след математического события-числа. Стихотворение должно совпасть с кораблекрушением. У Кочеткова фигурное расположение строк – это тоже след, но след иного события: события роста. Это комбинаторика не счёта, а произрастания, буква Г как минимальная схема произрастания. Здесь «число» – это не 707, а, если угодно, «ноль» из его манифеста – та точка, где возможность ещё не стала формой, но уже перестала быть пустотой.

Ника Третьяк: Органика жеста и креолизованный код

Если Пётр Кочетков мыслит категориями климата и космоса, то Ника Третьяк пишет из самой сердцевины органического. Её поэзия – это не описание жизни, а её симуляция на языке. Стихи Третьяк часто фигурные, они используют цвет, фотографии, расположение строк, имитирующее «природную органику». Ключевой для её поэтики является категория жеста – «неощутимого», обеспечивающего преемственность между движениями, между людьми, между прошлым и настоящим.

«ты соблюди условие природы не тронуть никого, не съесть кузнечика. / Ты соблюдаешь. / Ты раскрываешь перепонки, / и радости предела нет; / безумию тем боле. / Танцуй, моя лягушка, / в чистом поле / свой танец отречения от страха».

Эта техника отречения от страха переносится и на работу со словом. Её тексты буквально растут на странице, как «плоды, как вещи растут в сознании – и распадаются, и снова растут» (Татьяна Грауз, комментарий). Визуальная составляющая здесь не украшение, а продолжение смысла.

В её «Ядерной поэме» сталкиваются научный дискурс, мифология и телесность, создавая пугающую и заволаживающую картину мира, где всё связано радиацией любви и распада. Графику (размеры шрифтов, лесенку, цифровые иллюстрации радиации) невозможно передать в цитате, но несколько слов приведу:

«Мы находимся / В антикварной / Лавке, в кольце / Детекторов, / В онкологическом / Отделении / на / ку- / шет- / ке- / Облучённые мы».

Кирилл Шубин: Грамматика распада и тараканы-херувимы

Поэтика Кирилла Шубина – пожалуй, самый сложный и сопротивляющийся элемент этой экосистемы. Его тексты кажутся аналитическими, намеренно усложненными, но, как точно замечает Александра Цибуля, за этой сложностью стоит попытка «ухватить неопостижимое и зафиксировать его средствами распадающегося и вставшего на колёса безумия языка».

Шубин работает на микроуровне грамматики. Он разбирает язык на детали, чтобы собрать из них новые, немислимые конструкции. Его неологизмы («клёноликий скворцедворец», «тридней // двадней / четыредня») интуитивно достоверны, они подчиняются своей внутренней, безумной логике. Его текст-коллаж «Душненко А. и К. Серешка любя друг друга», оформленный одновременно как бурме из обрезков слов, подростковая игра, и как отрывное объявление, – это гимн хрупкой, obsessивной подростковой любви, распадающейся на «бесплатное крошево задохших чернил К» и «бесплатный пластик от вытекших глаз А».

Это не просто игра в устаревший медийный формат бурме и объявления с повторя-

ющимися навязчивыми отрывными листочками. Это отчаянная попытка найти новый язык для описания аффекта, который старый язык передать не в состоянии. Его герои – существа, в которых низменное соединяется с божественным, а его поэзия – это визионерская колесница, собранная из обломков знакомого мира. Лаборатория, вдруг оказавшаяся между землёй и небом, между органическим и неорганическим.

Книга как полукруг

Итак, сначала мы читаем гипотезу – манифест Кочеткова о «Нулевой Органике» с ответами двух других авторов. Затем следуют «сырые данные» – стихотворения и визуальные работы. И наконец, «интерпретации» – комментарии трёх приглашенных экспертов (Кирилл Корчагин, Татьяна Грауз, Александра Цибуля), которые не столько разъясняют, сколько продолжают разговор, предлагая собственные версии прочтения. Здесь напрашивается прямая параллель с лабораторией в смысле Бруно Латура. Латур показал, что научный факт – это не откровение, а продукт сложной сети: приборов, записей, дискуссий между учёными, публикаций.

Так же устроен и «Лес растёт». Книга не претендует на то, чтобы дать окончательную истину. Она демонстрирует процесс производства смысла. Она – акторно-сетевая теория в действии, где поэты, комментаторы, дизайнер, шрифты и расположение строк на странице – равноправные участники коллективного труда по выращиванию нового высказывания. Это не книга-результат, это книга-лаборатория, где мы наблюдаем за самим экспериментом.

Можно ли отнести этот сборник к science art? Однозначно – нет; и в этой неоднозначности его главная сила. Если под science art понимать лишь иллюстрацию научных концепций с помощью художественных средств, то «Лес растёт» – нечто большее. Скорее, это «science-as-art» или даже «poetry-as-science».

Авторы используют не готовые научные данные, а сам научный метод – наблюдение, гипотезу, эксперимент. Стихотворение Петра Кочеткова «Орнитолог», построенное на цита-

тах из сухого научпопа, с креолизированным наложением полустертых записей прежних научных парадигм и блэкаутами как бы неудачных экспериментов – это не поэзия о биологии, это поэзия, использующая биологический дискурс как один из языков описания мира, столь же условный и метафоричный, как и любой другой. Они не обслуживают науку, они вступают с ней в партнёрские, а подчас и конкурирующие отношения, где микроскоп не отменяет пророческого видения, страшных стертых или зашумленных текстов уже состоявшихся научных дневников.

Альманах «Лес растёт» – это и впрямь авторы ведут «разговор на троих, встав в узкий и надорванный полукруг», как сказано в аннотации. Полукруг обращён к читателю, приглашая его завершить круг. Это не законченный продукт, а живой процесс. Лес действительно растёт. И после прочтения он начинает прорастать внутри читателя, заставляя по-новому смотреть на трещину в асфальте, на полет птицы, на собственные руки, в которых, если приглядеться, тоже пульсирует эта самая «нулевая органика» – зияющая паутина с чернеющим центром, из которой рождается мир.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРОВ ЗА 2025 ГОД

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

- Алексей Александров.** «Дремлет в порванном чулке...» и др. стихи. № 7-8. С. 112
- Владимир Аристов.** Течение ночи. Стихи. № 1-2. С. 3
- Каринэ Арутюнова.** «Скажи мне так, чтобы я тебя увидел» . № 11-12. С. 16
- Янина Балтаз.** «Пока ты по лестнице вверх, смахивая чердачную паутину...» и др. стихи. № 1-2. С. 150
- Анна Безукладникова.** Собачий ангел. Рассказ. № 3-4. С. 122
- Дмитрий Брисенко.** В начале в конце ноября. Стихи. № 11-12. С. 3
- Денис Бычихин.** Регулярно ходили жить. Стихи. № 3-4. С. 26
- Сергей Вараксин.** Атланты и кариатиды. Рассказ. № 7-8. С. 159
- Настя Верховенцева.** На той горе света. Рассказ. № 7-8. С. 137
- Михаил Вистгоф.** «Вот оконные соты. Пузырьки желтизны...» и др. стихи. № 11-12. С. 28
- Дмитрий Волковой.** Угасание. Стихи. № 1-2. С. 131
- Константин Волчков.** Цветы бетонные. Роман. № 3-4. С. 8
- Ирма Гендернис.** Смешанные мишени. Стихи. № 1-2. С. 119
- Иван Гобзев.** Окно. Рассказ. № 11-12. С. 142
- Владимир Гуга.** «Женщина-праздник» и др. рассказы. № 5-6. С. 204
- Юрий Гудумак.** Поле в Молдавии. Стихи. № 5-6. С. 185
- Ирина Гумыркина.** Состояние маятника. Стихи. № 11-12. С. 138
- Данила Давыдов.** «двигайся предположим по скоростному шоссе...» и др. стихи. № 3-4. С. 3
- Сергей Дигол.** Будь по-моему. Повесть. № 11-12. С. 32
- Владимир Ермолаев.** Ясный день. Стихи. № 7-8. С. 70
- Антон Ермолин.** Петя и Виктория. Рассказ. № 5-6. С. 169
- Андрей Ефимов.** Зеленые яблоки. Рассказ. № 9-10. С. 143
- Андрей Жданов.** «Позднее утро какого-то года» и др. стихи. № 1-2. С. 177
- Екатерина Жилина.** «Место 404, маршрут или комната...» и др. стихи. № 7-8. С. 156
- Дмитрий Замятин.** Тантрическая типографика. Стихи. № 9-10. С. 121
- Елена Зейферт.** Из китайского цикла. Стихи. № 5-6. С. 208
- Вечеслав Казакевич.** Пустырь. Рассказ. № 3-4. С. 101; Карманное зеркальце. Рассказ. № 9-10. С. 127
- Алексей Колесниченко.** «всё время повторяется всегда...» и др. стихи. № 9-10. С. 137
- Владимир Коркунов.** Вторая рукопись реки. Стихи. № 5-6. С. 200
- Павел Кошелев.** Литералли рокенролл. Рассказ. № 3-4. С. 111
- Дмитрий Лагутин.** Платон мне друг. Роман. № 5-6. С. 7
- Никита Ларионов.** Модератор. Повесть. № 11-12. С. 94
- Иван Макаров.** Русский язык для иностранцев. Рассказы, сказки, стихи, анекдоты и прочее из Новой Русской Азбуки. № 1-2. С. 136
- Люба Макаревская.** Мертвые не пишут стихов. Стихи. № 11-12. С. 63

- Игорь Малышев.** *Tombe la neige и др. рассказы.* № 1-2. С. 157
- Евгений Малякин.** *Последняя песенка. Стихи.* № 7-8. С. 110
- Ян Махонин.** «человек истинный...» и др. *стихи.* № 7-8. С. 3
- Егор Мирный.** Третичные и четвертичные тексты. *Стихи.* № 11-12. С. 88
- Елена Михайлик.** «Как ныне собирается вещий Олег...» и др. *стихи.* № 5-6. С. 146
- Сергей Морейно.** «Хиршберг» и др. *рассказы.* № 7-8. С. 84
- Михаил Москалёв.** Гаджо. *Рассказ.* № 11-12. С. 67
- Михаил Нисенбаум.** Времена Годо. *Стихи.* № 3-4. С. 141
- Александр Ольхин.** Светлячки в Песках. Миркой. *Рассказы.* № 9-10. С. 149
- Алиса Орлова.** «В парке» и др. *стихи.* № 3-4. С. 160
- Сергей Попов.** Мама. *Околонаучные записки.* № 1-2. С. 127
- Ксения Рогожникова.** Через раз. *Стихи.* № 9-10. С. 146
- Тимур Селиванов.** «баллада о дяде» и др. *стихи.* № 9-10. С. 131
- Андрей Сен-Сеньков.** «Красная Болонья» и др. *стихи.* № 3-4. С. 107
- Марат Серажетдинов.** Голипэ. *Рассказ.* № 7-8. С. 118
- Александр Скидан.** Траншеи в конце второго тома. *Стихи.* № 5-6. С. 3
- Дмитрий Смагин.** Я сплю на ходу. *Стихи.* № 5-6. С. 165
- Сергей Солоух.** Еще семь штук. *Стихи.* № 9-10. С. 157
- Сергей Трафедлюк.** Бррр Бррр. *Стихи.* № 7-8. С. 129
- Владимир Тренин.** Разговоры о любви на Янтарном берегу. *Рассказ.* № 1-2. С. 172
- Михаил Токарев.** Приключения фрезеровщика в стране Оз. *Роман.* № 1-2. С. 8;
В пубертатном лесу тихо плачет альтушка. *Роман.* № 9-10. С. 14
- Андрей Торопов.** «Просыпаются астры, осыпаются астры...» и др. *стихи.* № 1-2. С. 165
- Никита Удачин.** На север. *Рассказ.* № 11-12. С. 127
- Данил Файзов.** «писать письма из темноты...» и др. *стихи.* № 9-10. С. 3
- Асия Хайруллина.** Все будет хорошо! *Рассказ.* № 3-4. С. 149
- Алан Цхурбаев.** Что-то, что ты кому-то должен. *Рассказ.* № 3-4. С. 132
- Наталия Черных.** Лето любви. *стихотворения 2025.* № 11-12. С. 119
- Ксения Чижикова.** Обычная история. *Повесть.* № 7-8. С. 12
- Татьяна Щербина.** 2024. *Стихи.* № 3-4. С. 97
- Вадим Ярмолинец.** «Три игрока в пиклбол, жена и аллигатор» и др. *рассказы.* № 5-6. С. 154

ПЕРЕВОД

- Элизабет Бишоп.** Море и его берег. *Перевод Ирины Машинской.* № 5-6. С. 210
- Октавио Пас.** Стихи из сборника «Восточный склон» (1969). *Перевод, вступление, комментарии Кирилла Корчагина.* № 11-12. С. 152

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

- Виктор Іванів.** Пасифик и Бициклет. *Подготовка текста и комментарий Алексея Дьячкова.* № 3-4. С. 166
- Александр Ожиганов.** Неопубликованные стихи из книги «Стрекоза. 1974». *Публикация, подготовка текста, предисловие Светланы Варкан-Ожигановой.* № 9-10. С. 160

NON-FICTION

Григорий Беневич. Страницы семейной истории. № 7-8. С. 161

Ева Лисина. Стучат родные гены, или Суета вольных толкований. № 5-6. С. 216

Герман Лукомников. Анекдот и два воспоминания, последнее из которых пока не окончено. № 11-12. С. 146

ИСТОРИЯ. ПЕРСОНАЖИ И СЮЖЕТЫ

Сергей Солоух. Спасибо не скажет никто. № 1-2. С. 184

В СВОЕМ ФОРМАТЕ

Сергей Боровиков. Запятая–34. В русском жанре–94. № 3-4. С. 170

Николай Болдырев. Художник или святой? . № 5-6. С. 230

Николай Болдырев. Между адом и раем. № 11-12. С. 165

Юрий Китаев. О монументальном искусстве. № 11-12. С. 180

АРХИВ

Юрий Неводов. Память сердца. Книга о Борисе Семеновиче Неводове. Публикация Натальи Неводовой. № 7-8. С. 192

ДИАЛОГ

Данила Давыдов, Сергей Кудрявцев. Разговор о Крученых. № 9-10. С. 204

ИНТЕРВЬЮ

Владимир Коркунов: «Культура немыслима без ходьбы по грани». Беседовал Борис Кутенков. № 3-4. С. 175

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ

Михаил Нисенбаум. Кампанелла и лекарство для романтиков. № 9-10. С. 214

ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА

Об Анне Альчук. Материал подготовила Татьяна Данильянц. № 7-8. С. 216

Валерий Горюнов. Скелет воды. О кн.: Гала Узрютова. Выбор воды. № 1-2. С. 212

Татьяна Зверева, Александр Марков. Две квадраты. № 9-10. С. 223

Александр Марков, Оксана Штайн. Против эклектики: перечитывая «Ларец и ключ» Беллы Ахмадулиной. № 3-4. С. 86

Александр Марков, Оксана Штайн. Последний питерский денди: стихи, смерть и рок-н-ролл. Памяти Анатолия Джорджа Гуницкого. № 7-8. С. 230

Александр Марков, Оксана Штайн. Полимерный век: химический синтез 1980–1990-х. № 11-12. С. 184

Сергей Морейно. Куда идем мы с пятачком. № 11-12. С. 190

Кирилл Ямщиков. Квартал немот (огонь, клистир и сунсы). О кн.: Борис Дышленко. Жернов и общественные процессы. № 5-6. С. 243

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ольга Балла-Гертман. Мыслить Дарреллом. О кн.: Горан Маркович. *Белградское трио: роман.* № 3-4. С. 191; Понять логику любви и смерти. О кн.: Надя Делаланд. *Фигуры и тропы.* № 5-6. С. 248

Михаил Вистгоф. Ластик архитектора. О кн.: Софья Дубровская. *Смирненные ласточки: стихи.* № 3-4. С. 194

Елена Генерозова. Старт-слово. О кн.: Геннадий Каневский. *Нечетная сторона.* № 5-6. С. 246

Владимир Коркунов. Мандельштам Шрёдингера. О кн.: Кот Мандельштам. *Публикатор Наталия Азарова.* № 9-10. С. 235

Борис Кутенков. Всматриваться в другого. О кн.: Владимир Козлов. *Русская поэзия начала XXI века: поколения, жанры, фигуры.* № 5-6. С. 254

Александр Марков. Гадательный круг жанров. О кн.: Юлия Долгановских. *Иллюзия обратного вращения: сборник стихотворений.* № 3-4. С. 196; Постлирический проект: собачки минус лай плюс нежность. О кн.: Юлия Закаблукоская. *И маленькие гладкие собачки.* № 7-8. С. 236; *Cicatrice de la plénitude: О невозможной материальности текста.* О кн.: Александр Уланов. *Разбирая огонь.* № 9-10. С. 231; *Анатомия идет лесом, или о растущих стихах и картинках.* О кн.: Пётр Кочетков, Ника Третьяк, Кирилл Шубин. *Лес растёт: Книга стихов и картинок.* № 11-12. С. 204

Светлана Михеева. В ожидании гения. О кн.: Борис Кутенков. *Критик за правым плечом. Избранные заметки о классиках, современниках, литературном быте.* № 9-10. С. 239

Александр Москвин. Убийственная сладость. О кн.: Алексей Колмогоров. *Сахар.* № 1-2. С. 215

Алексей Мошков. За «Черным квадратом» Малевича, или Что будет после конца истории. О кн.: Евгений Волков. *Натюрморт.* № 1-2. С. 216

Ирина Муравьева. Чужое свое. О кн.: Ирина Машинская. *И я подумала о Скотте.* . № 5-6. С. 250; «Нельзя не жить...» О кн.: Владимир Гандельсман. *От фонаря.* № 11-12. С. 202

Елена Наливаева. Ворота времени. О кн.: Алексей Ильичёв. *Праздник проигравших.* № 7-8. С. 235

Илья Склярский. Что позволено Нептуну, не позволено быку. О кн.: Антон Секисов. *Курорт.* № 1-2. С. 218

Александр Степанов. Событие в литературоведении: на выход книги П. Казарновского о поэзии Леонида Аронзона. О кн. Петр Казарновский. *«Изображение рая»: Поэтика созерцания Леонида Аронзона.* № 11-12. С. 196

Кирилл Ямщиков. Ночь эрудита. О кн.: Рома Декабрёв. *Под синим солнцем.* № 5-6. С. 252

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

Николай Аржанов. Записка Николая Гущина – Михаилу Аржанову. № 1-2. С. 209

Контакты:

Анна Сафронова (*гл. редактор, проза*): safronova-volga21@yandex.ru

Алексей Александров (*зам. гл. редактора, поэзия, критика*): alexandrov-volga21@yandex.ru

Олег Рогов (*архивные публикации, критика*): rgv@mail.ru

Сайт журнала: <http://volga-magazine.ru/>

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:
<http://magazines.gorky.media/volga>

Подписано в печать 8 декабря 2025 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.